





СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

ВЫПУСК 27

ИЗДАТЕЛЬСТВО •ЗНАНИЕ•
МОСКВА 1982

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Э. А. Араб-оглы
И. В. Бестужев-Лада
Д. А. Биленкин
Е. Л. Войскунский
Вл. Гаков
Г. М. Гречко
В. П. Демьянов
М. Б. Новиков
Е. И. Парнов

С23

Сборник научной фантастики. Вып. 27. Сост.
Михайлова С. Н.— М.: Знание, 1982.— 240 с.

1 р.

100 000 экз.

В сборнике научной фантастики представлены произведения известных советских фантастов (Г. Гора, Р. Леонидова, В. Михайлова), начинающих авторов (М. Веллера, И. Пидоренко, Б. Руденко), рассказы зарубежных фантастов (Курта Воннегута, Джона Риза, Генри Каттнера), а также статья критика Вл. Гакова

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

С $\frac{4701000000-072}{073[02]-82}$ 15—82

ББК 84
С6 1

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАШЕЙ ЭПОХИ (ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

Сейчас, на пороге третьего тысячелетия всемирной истории, человечество столкнулось с исключительно сложными и крайне настоящими проблемами, которые еще сравнительно недавно сочли бы фантастическими, а ныне общепринято называть вполне реальными глобальными проблемами нашей эпохи. Предотвращение мировой термоядерной войны и создание мирных условий для социального прогресса всех народов; преодоление возрастающего контраста в экономическом и научно-техническом уровне между развитыми и развивающимися странами; прекращение «демографического взрыва» в Азии, Африке и Латинской Америке, а также резкого падения рождаемости на капиталистическом Западе; обеспечение экономического развития человечества необходимыми для этого природными ресурсами, включая продовольствие, сырье и энергию; устранение опасности экологического кризиса и предупреждение отрицательных последствий научно-технической революции, в особенности злоупотребления ее достижениями в своекорыстных и реакционных целях,— таков далеко не полный перечень проблем, так или иначе затрагивающих все человечество. От их своевременного и дальновидного решения в конечном счете зависит весь дальнейший общественный прогресс на земном шаре.

Хотя все эти проблемы стали ныне общепризнанными и их актуальность осознается мировым общественным мнением, тем не менее в их освещении и в предлагаемых для них решениях нет единодушия ни среди ученых, ни среди политических деятелей. Между марксистами и буржуазными идеологами имеются серьезные принципиальные расхождения в самом подходе к глобальным проблемам, в том, какую из них считать первоочередной, а также в оптимистической либо пессимистической оценке возможностей их решения человечеством. В отличие от многих буржуазных ученых и политических деятелей, выводящих эти проблемы из «агрессивной и хищнической биологической природы человека», марксисты выявляют их социальную природу, связанную с антагонистическими общественными отношениями и стихийностью экономического развития при капитализме.

Вопреки попыткам буржуазных идеологов выдвинуть на первое место среди этих проблем «демографический взрыв», «экологический кризис» либо контраст между «бедными и богатыми нациями» (передовым Севером и отсталым Югом — в противовес социалистическому Востоку и капиталистическому Западу) марксисты и все прогрессивные деятели справедливо считают самой настоятельной и первоочередной проблемой устранение угрозы мировой термоядерной войны, прекращение гонки вооружений и обеспечение международной безопасности. При этом они исходят не только из того самоочевидного обстоятельства, что эта угроза по своим потенциальным катастрофическим последствиям затмила бы все остальные глобальные проблемы, вместе взятые, но и из того вполне практического соображения, что решение этой проблемы высвободило бы необходимые материальные ресурсы для успешного решения остальных проблем в обозримом будущем. «Отстаивая мир, мы работаем не только для ныне живущих людей, не только для наших детей и внуков; мы работаем для счастья десятков будущих поколений,— подчеркивалось на XXVI съезде КПСС.— Если будет мир, творческая энергия народов, опираясь на достижения науки и техники, наверняка решит те проблемы, которые сейчас волнуют людей. Конечно, тогда перед нашими потомками возникнут новые, еще более высокие задачи. ...Такова диалектика прогресса, диалектика жизни».

Противоположность прогрессивного и реакционного мировоззрений по отношению к глобальным проблемам наиболее красноречиво выявляется в противостоянии социального оптимизма и исторического пессимизма. В настоящее время на Западе широкое распространение приобрели различные концепции, проповедующие бессилие человечества перед лицом осаждающих его глобальных проблем, которые якобы невозможно решить и которые ставят пределы для дальнейшего социального прогресса, делают неосуществимыми демократические и гуманистические идеалы народов. Следует отметить, что подобная «идеология пределов» получила хождение на Западе не только в научной фантастике, но и в серьезных научных трудах, в том числе в ряде докладов так называемому «Римскому клубу», неофициальной международной организации, объединяющей узкий круг интеллектуальной элиты и представителей многонациональных монополистических корпораций.

Еще недавно поборники таких пессимистических концепций усматривали непреодолимую преграду для социального и экономического прогресса главным образом во внешних по отношению к человеку «физических пределах» — в ограниченности природных ресурсов, неспособности биосферы противостоять загрязнению среды и т. п. Теперь же они все больше акцентируют внимание на «внут-

ренных пределах», на психической, интеллектуальной и культурной ограниченности человека, который дескать не способен выдержать возрастающих требований дальнейшего научно-технического прогресса, задыхается под бременем моральной ответственности и захлебывается в огромном потоке информации.

За последние годы у нас в стране опубликован целый ряд серьезных научно-исследовательских работ, посвященных анализу глобальных проблем современности в целом, а также отдельным из них. Не проходит мимо этой исключительно важной познавательной и идеологической темы и художественная литература, в том числе научная фантастика, которая нередко первой привлекала внимание общественности к различным аспектам этой темы, в особенности к опасности катастрофического загрязнения окружающей среды отходами экономической деятельности человека. Экологическая проблема нашла свое отражение в специальном выпуске сборников научной фантастики издательства «Знание» (№ 21 за 1979 г.). Читатель вправе ожидать, что в последующем такого же внимания будут удостоены и другие глобальные проблемы нашей эпохи.

Конечно, задачи научной фантастики в освещении этих проблем не следует рассматривать примитивно. Никто, разумеется, не предполагает, что авторы научно-фантастических произведений сумеют разработать такой план всемирного разоружения, который окажется общеприемлемым для всех государств и будет немедленно осуществлен в силу своей самоочевидности, как об этом, например, повествуется в романе Флетчера Нибела «Исчезнувший» (М., Молодая гвардия, 1971).

Никто не рассчитывает и на то, что энергетическая проблема человечества будет успешно решена благодаря открытию героем какого-нибудь научно-фантастического романа нового источника энергии, о котором пока не подозревают самые проникательные ученые. Научная фантастика — это один из жанров художественной литературы. И призвание писателей-фантастов состоит отнюдь не в том, чтобы подменять собой политических деятелей, дипломатов и ученых. Вместе с тем, если эти писатели не хотят уподобиться описанному в повести Геннадия Гора своему коллеге Черноморцеву-Острозитянину и поставлять «трамвайное чтение» для непритязательных читателей, то они должны способствовать правильному освещению и решению глобальных проблем человечества, убедительно и художественно ярко опровергая идеологию всякого рода как «внешних», так и «внутренних» пределов для социального прогресса, культивируя убеждение в безграничной способности человека к интеллектуальному и физическому, социальному и моральному самоусовершенствованию.

Речь идет не о сочинении всякого рода фантастических святочных рассказов и романов с космическими, экологическими и футурологическими «хеппиэндами». Предостережение о возможных опасностях на пути социального и научно-технического прогресса столь же правомерно для научной фантастики, как драматические сюжеты для художественной литературы вообще. Навряд ли было бы утверждать, что вообще не существует никаких пределов для экономического роста или роста населения на земном шаре. Конечно, абстрактные, формальные пределы количественного экспоненциального роста существовали и существуют для любого физического и биологического процесса. Однако эти пределы — не тупики развития, как их изображают буржуазные идеологи, а, напротив, предпосылки для нового качественного скачка в поступательном движении истории. Иначе говоря, хотя имеются определенные количественные пределы для экстенсивного роста, для интенсивного, качественного развития таких пределов нет. Больше того, если бы не было пределов роста, то не могло бы быть и развития. Именно потому, что есть пределы для размножения любого биологического вида, происходил естественный отбор и имела место биологическая эволюция. Если бы не было пределов для охоты и собирательства, человечество не смогло бы перейти к земледелию и скотоводству. Именно наличие определенных количественных пределов для человеческой памяти и непосредственного речевого общения между людьми стимулировало изобретение письменности и книгопечатания, создание компьютеров и современных средств массовой коммуникации. Вся история человечества — это преодоление подобных «внешних» и «внутренних» пределов. И в освещении этой увлекательной темы состоит важнейшая функция научной фантастики.

Основоположники марксизма-ленинизма всегда подчеркивали, что человек является не только главной производительной силой общества, но и его основным богатством. «Чем иным является богатство, — восклицал К. Маркс, — как не абсолютным выявлением творческих дарований человека, без каких-либо других предпосылок, кроме предшествовавшего исторического развития, делающего самоцелью эту целостность развития, т. е. развития всех человеческих сил как таковых, безотносительно к какому бы то ни было заранее установленному масштабу».

Предлагаемый вниманию читателей очередной сборник научной фантастики не посвящен специально глобальным проблемам современной эпохи. Но вместе с тем его содержание в целом может служить убедительным подтверждением тому, как средствами научной фантастики может быть сделан определенный творческий вклад в освещение и решение некоторых из этих проблем.

Так, повесть «Минотавр» Геннадия Гора, известного советского писателя-фантаста старшего поколения, — весьма многоплановое произведение. Автор лишь крайне бегло касается вопроса о «слиянии человека с природой», которая ныне стала одной из важнейших тем экологического воспитания населения. В основном же эта повесть, впервые опубликованная пятнадцать лет назад, посвящена проблеме общения с внеземными цивилизациями. Повторная публикация этой повести оправдана именно сейчас, когда некоторые ученые, в прошлом энтузиасты поисков таких контактов с разумными существами во Вселенной, ныне бросаются в противоположную крайность и разочарованно утверждают, будто жизнь и разум уникальны и ограничены, существуя как космическое исключение лишь на нашей планете.

Этой же теме посвящен и оригинальный по сюжету рассказ «Ложный вызов» рижского писателя В. Михайлова, уже приобретшего популярность среди читателей такими своими произведениями, как «Сторож брату своему», «Дверь с той стороны» и др. Как Г. Гор, так и В. Михайлов избегают трафаретного изложения этой темы, когда люди оказываются в положении полубогов среди подобных им по облику, исторически примитивных разумных существ на далеких планетах, либо, наоборот, выпрашивают у обогнавших их в своем социальном и интеллектуальном развитии цивилизаций рецепты для решения своих земных проблем. И Г. Гор, и В. Михайлов усматривают в теме гипотетического контакта с внеземными цивилизациями в первую очередь стремление человечества глубже осмыслить свою собственную земную цивилизацию, тесную связь между ее прошлым, настоящим и будущим благодаря преемственности поколений. Оба эти произведения проникнуты гуманизмом и социальным оптимизмом, отвергающим какие-либо пределы познанию человечеством природы как на Земле, так и в Космосе.

Два других произведения, включенных в сборник, — повесть Р. Леонидова «Шесть бумажных крестов» и рассказ Б. Руденко «Убежище» — непосредственно затрагивают глобальную проблему войны и мира. Оригинальная по сюжету и содержанию повесть Романа Леонидова из Краснодара, казалось бы, обращена к недавнему и не столь уж фантастичному прошлому — изощренному искажению истории человечества в фашистской Германии с целью масажирования расистских и милитаристских предрассудков среди населения. Актуальность этой повести придает, однако, не столько ее эпизод, сколько то вполне реальное обстоятельство, что злоупотребление достижениями научно-технического прогресса для манипуляции сознанием и поведением масс приобрело ныне на Западе поистине колоссальные масштабы и широко используется в психологической войне, которая может стать своего рода прелюдией к войне термоядерной.

Ярким примером вполне реальной опасности, которую представляет для человечества манипуляция сознанием и поведением масс, может служить массовое самоубийство (вернее убийство) почти тысячи членов американской религиозной общины «Пиплз темпл» в 1979 году в Гайане — событие, которое потрясло мировую общественность и которое (не произойди оно в действительности) можно было бы считать лишь кошмарным фантастическим сюжетом...

Рассказ Бориса Руденко «Убежище» в свою очередь описывает, пусть в несколько «камерных масштабах», возможные катастрофические последствия термоядерной войны, угрожающей подорвать самые основы современной цивилизации. При этом автор обращает свое внимание не столько на материальные разрушения в результате войны, сколько на колоссальный моральный и интеллектуальный ущерб, который она наносит пережившим ее людям, отказывающимся даже поверить, что еще существует хотя бы клочок мирной Земли, где они могут возродить цивилизацию. Сейчас, когда агрессивные империалистические круги нагнетают международную напряженность и развязывают новый виток гонки вооружений, об актуальности подобного предостережения не приходится распространяться.

Наряду с москвичом Б. Руденко в ставшем уже традиционным разделе сборника «Слово молодым» публикуются также рассказы И. Пидоренко из Ставрополя и М. Веллера из Таллина. «Все вещи мира» Пидоренко — это своего рода фантастический памфлет, направленный против мещанской психологии потребительства, которая превращает своего носителя-индивидуалиста в самого хищного зверя на Земле с неутолимым аппетитом. Впервые опубликованный в краевой молодежной газете «Юный ленинец», этот рассказ был отмечен как лучший из фантастических произведений за 1979 год. И читатель сборника, надо полагать, убедится в том, что эта оценка не была преувеличенной. В отличие от этой фантастической сатиры на обывателя и расточителя рассказ эстонского журналиста М. Веллера «Теперь он успеет» — скорее, фантастическая ирония, содержащая протест против бесконечной гонки со временем, присущей современной цивилизации.

Зарубежная фантастика представлена в сборнике рассказами Курта Воннегута, Генри Каттнера и Джона Риза. Каждый из этих рассказов не только остроумен и увлекателен по сюжету, но и содержит в себе определенную критическую социальную направленность. Рассказ Воннегута «Гаррисон Берджерон», в свое время опубликованный в «Неделе», обличает мелкобуржуазные радикальные концепции всеобщей уравнительности, получившие широкое хождение среди американской интеллигенции и студенчества в конце 60-х — начале 70-х годов. Следует отметить, что полемика вокруг

этих концепций продолжается в США с неослабевающей остротой и поныне как в социологической литературе, так и в прессе, ибо капиталистическое общество, по своей природе не способное осуществить идеал равенства, предлагает вместо него всякого рода суррогаты.

«Психи-хологическая война» Г. Каттнера — это заключительный рассказ из цикла рассказов о любопытной семейке мутантов Хогбенов; предшествующие рассказы уже были опубликованы в русском переводе и обратили на себя внимание как своеобразным юмором, так и сатирическим изображением американских нравов. В самом названии рассказа содержится прямой намек на «психологическую войну», которую развязали правящие круги США против реального социализма и мирового освободительного движения. Проводя ироническую параллель между «психи-хологической» и «психологической» войнами, автор уподобляет последнюю эпидемической болезни, которая, однако, грозит человечеству не легким насморком, как первая, а гибелью цивилизации. Возбудителями же этой социальной болезни являются не выродившиеся микроскопические существа, а гигантский военно-промышленный комплекс, крупнейшие монополистические корпорации.

Рассказ «Дождеолог» Дж. Риза также вызовет интерес читателя оригинальным сочетанием фантастического и лирического сюжетов.

Осенью 1982 года, когда выйдет в свет данный сборник, исполнится 25 лет со времени запуска первого советского спутника в космос. Это всемирно-историческое событие, положившее начало космической эре, было вместе с тем воплощением в жизнь вековых мечтаний и чаяний человечества о полетах на другие планеты и миры. Об этой увлекательной теме в истории общественной мысли обстоятельно и ярко, с привлечением большого научно-познавательного материала рассказывается в публицистическом очерке Вл. Гакова «Рассвет космической эры».

Современная эпоха со всеми ее беспрецедентно сложными глобальными проблемами предъявляет колоссальные требования к человеческому интеллекту и тем самым стимулирует его на новые научные открытия и технические изобретения. Окружающий человека мир меняется стремительными темпами и не позволяет мышлению людей замыкаться в повседневности, оставаться в плену обыденного сознания. Творческая фантазия — одно из важнейших интеллектуальных качеств, необходимых каждому человеку, особенно в нашу эпоху. Именно это качество стремится пробуждать и культивировать научная фантастика.

Э. А. АРАБ-ОГЛЫ,
доктор философских наук

■ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ГЕННАДИЙ ГОР

Минотавр

В январе 1981 года ушел из жизни Геннадий Гор.

Двадцать лет своей долгой жизни писатель отдал научной фантастике; двадцать лет, воплотившиеся в десятке книг.

Подлинно вдумчивый читатель, ищущий в литературе не приятного отдохновения, а глубоких философских размышлений об окружающем нас мире и месте человека в нем, раз открыв для себя Геннадия Гора, никогда не прекращал заочной дружбы с писателем.

Геннадий Гор был одним из тех, кто начинал фантастику в издательстве «Знание». Уже в первом выпуске сборника «НФ» была напечатана его повесть «Уэра». Затем писатель выступал на страницах сборников дважды: с рассказом «Ольга Нсу» и с повестью «Минотавр», которую многие считают одним из лучших произведений Гора.

Эту повесть мы и перепечатаем с небольшими сокращениями, отдавая дань памяти большому писателю.

Редколлегия сборников «НФ»

1

Кто он? Книгоноша или гот, кого уполномочила сама неизвестность?

Появлялся он в вагоне пригородной электрички словно ниоткуда и исчезал будто в никуда, неся пачку залежавшихся книг и журналов.

Иногда он продавал и лотерейные билеты, крутя ручку, тасуя в круглом стеклянном ящике, в этом тесном убежище случая, чужое и всем доступное счастье.

Он был похож на кого-то из классиков, на одного из тех, кто смотрит на вас из другого века с дагеротипа или с портрета, написанного маслом.

Брет-Герт, Стивенсон? Нет, пожалуй, все-таки Диккенс. Вот кого он напомнил мне.

Гибкий и стройный, похожий на героя и одновременно на автора старинных книг, он всем своим обликом утверждал чувство собст-

венного достоинства. Он не навязывал свой интеллигентный товар, а только тихо предлагал его.

Нет, он продавал довольно скучную и уцененную продукцию, то, что не удалось сбыть киоскам и книжным магазинам. Но каждый раз я смотрел на его узкое старомодное лицо, на его красивую бороду с легким удивлением и ожиданием несбыточного, противоречащего всем законам обыденной жизни.

И однажды это случилось. Он подошел ко мне в вагоне и сказал тихо и вежливо чрезвычайно свежим, приятным голосом:

— Не хотите ли приобрести лотерейный билет?

— Нет, не хочу,— ответил я, пожалуй, излишне громко, привлекая к себе внимание окружающих.— Я никогда не выигрываю.

— А чего бы вы хотели? — спросил он, глядя на меня с живым и грустным интересом.

— Мне всегда хочется невозможного, того, чего нельзя хотеть. Например, мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь хотя бы на час вернул мне детство.

Почему, зачем я это сказал? Я пожалел об этом. Но он спросил так же тихо и грустно:

— Откуда вам известно, что мне доступно и невозможное!

Признаться, я принял это за шутливую оговорку, за проявление своеобразного юмора, тонкость которого я сумел оценить не сразу.

— Попытаюсь помочь вам,— сказал он.— Иногда это у меня получается. Если разрешите, я вам позвоню.

— Но вы же не знаете ни моего имени, ни номера телефона.

— Благодарю,— ответил он и пристально посмотрел на меня.— Теперь уже знаю.

Он улыбнулся, как улыбались, наверное, в эпоху дагеротипов. Соединил своей улыбкой два века и вышел.

Вышел? Нет, скорее исчез в никуда, словно за дверями электрички была не станция Парголово, а созвездие Лиры. Прошло недели две или три, и я уже почти забыл об этом странном разговоре, но обстоятельства напомнили мне о нем. На столе зазвенел телефон. Я снял трубку и крикнул:

— Слушаю!

Приятный вежливый голос произнес:

— Извините за беспокойство. С вами говорит Диккенс.

— Какой Диккенс!

— Мы с вами встречались в пригородной электричке.

— Разве вы Диккенс?

— Я на него похож.

— Родство или только случайное сходство?

— Не то и не другое. Но сейчас нет времени объяснять. Настоящее имя я скажу позже. А пока называйте Диккенсом.

— Как-то, знаете, неловко. Классик.

— Ничего. Ничего. Это только для удобства. На первое время.

А потом...

— Кто же вы такой на самом деле?

— Фауст, если вас устраивает.

— Исполнитель роли в опере Гуно?

— Как вам сказать? В мою роль входит слишком много и мало.

Продаю книги, лотерейные билеты, а в свободные часы пытаюсь связать два мира, мой и ваш.

— Два мира! Не понимаю. Вы шутите?

— Сейчас некогда шутить. К делу. Так вы действительно хотите увидеть свое детство?

— Хочу.

— Тогда поскорее включите телевизор.

2

Я включил телевизор с опозданием всего на несколько минут. Но я сразу узнал гору своего детства, прилежшую под моим окном, гору, похожую на большого усталого зверя.

Я увидел и себя в кругу тех, кого унесло с собой неумолимое время: дедушка, бабушка, мать.

Они были тут, на экране телевизора, тут, всего в двух шагах от меня, и бесконечно далеко, в безвозвратно минувшем прошлом.

Взрослые ушли. На экране остался только мальчик. Тот, кто был мной почти пятьдесят лет назад, — десятилетний школьник спросил, обращаясь ко мне с экрана:

— Почему вы смотрите на меня в окно? Зайдите сюда к нам.

— А разве существует дверь? Я только зритель. И смотрю не в окно, а на телеэкран.

— А как вас зовут? — спросил тот, кто был мною почти полвека назад.

Я назвал свое имя.

— Но ведь меня зовут так же, как вас. Мы однофамильцы и тезки?

— Нет, — ответил я. — Мы одно и то же. Я — это ты, но не сейчас, а через пятьдесят лет.

Мальчик, милый некрасивый мальчик, словно сошедший с одного из многочисленных фотографических снимков, хранящихся в старинном семейном альбоме, недоверчиво улыбнулся.

— Я буду таким, как вы, через пятьдесят лет? Но откуда вы знаете, что я буду точно таким, как вы? Это никому не известно.

— Я — это ты. Понимаешь? Ты, но через много-много лет.

Он улыбнулся еще раз.

— Вы, конечно, шутите. Я понимаю. Я не хочу быть таким, как вы. Уж лучше остаться навсегда мальчиком.

— Это тебе не удастся,— сказал я.— Время несет тебя с собой. И в один прекрасный день ты оглянешься назад и увидишь себя из будущего, как я сейчас вижу себя. Я — это ты!

— Тогда объясните,— сказал мальчик,— объясните мне. Я попал в будущее или вы в прошлое?

Вот этого я не мог объяснить ни ему, ни даже самому себе, и я стал рассказывать ему о том, что такое телевидение. Я объяснял медленно, логично, с ужасом думая о парадоксе, об алогичном и сумасшедшем происшествии, о нашей встрече, о необъяснимом появлении его на экране телевизора, о нашем разговоре зрителя с изображением.

— Теперь все понятно,— сказал мальчик, тот, кем я был давным-давно.— Мне нравится изобретение, которое дает возможность встретиться с самим собой. Но все-таки это изобретение не настоящее. Вам только кажется, что вы — это я. Мы смотрим друг на друга из окна. Сейчас вы откроете дверь, войдете и мы познакомимся.

Он сказал это тихо, еле слышно. Затем изображение исчезло. Когда я взглянул на экран, там уже сидел лектор-международник.

Я обрадовался его словам, солидному обыденному голосу, стереотипной фразе. Почему? Ведь просыпаясь и тем прерывая сновидение, мы радуемся не только возвращению в мир обычного, но и контакту с самим собой.

Может быть, я нечаянно уснул и видел свое детство во сне? Нет, то, что я видел, было слишком отчетливо и реально.

Зазвенел телефон.

— Слушаю,— крикнул я, сняв трубку.

Чрезвычайно приятный и светлый голос сказал:

— Это я, Диккенс. Ну, как вам понравилась передача?

— Какая передача?

— Детство.

— Какое детство?

— Ваше детство. Да, ваше. А не инсценировка повести фантаста Черноморцева-Островитянина, как обозначено в телевизионной программе.

— Но это же невозможно.

— Невозможно? Так вы что же, не верите самому себе, своим чувствам?

— Если вы способны совершать такие чудеса,— сказал я,— зачем же вы занимаетесь продажей уцененных книг и залежавшихся скучных журналов?

— Продажа книг — это серьезное, нужное дело.

— А чудеса?

— Пустячок. Шутка. Игра. Иногда позволишь себе, а потом жалеешь об этом. В наше строго научное время непозволительно так легкомысленно кустарничать. Я занимаюсь этим не часто. Любый волшебник и иллюзионист тоже...

Он сделал паузу.

— Волшебник и иллюзионист тоже? — переспросил я. — Что тоже? — Вы же не волшебник и не иллюзионист, а книгоноша.

— Это верно, не волшебник, а книгоноша. Извините. Звоню из автомата, а за мной уже стоит очередь. Всего хорошего.

3

Я не из тех, кто любит убивать время, смотря на голубой экран. Но теперь я подходил к телевизору с таким чувством, что это не пустая забава, а окно, за которым можно увидеть не только самого себя, но и свое прошлое.

Своим глазами я верил все же больше, чем программе, где сообщалось о теленинценировке научно-фантастической повести Черноморцева-Островитянина.

Черноморцев-Островитянин давно стяжал себе славу литератора, любившего подчеркивать свою интимную и в сущности немножко загадочную связь с будущим. Он любил выступать от лица будущего, выступать с таким видом, словно в настоящем он только гость, таинственный посланец... С телезрителями и читателями он держался так, словно где-то за городом в укромном месте его ждет космический корабль, прилетевший из другого мира. Так он держался со всеми, даже с редакторами своих книг. Книги его имели успех, но мне они казались всегда немножко растянутыми. Людей будущего Черноморцев-Островитянин нередко изображал склонными к полноте, к благодушию и занимавшимися главным образом удовлетворением своих возросших потребностей.

При всех человеческих недостатках сам он был, по-видимому, намного значительнее того, что он написал. На меня, как, впрочем, и на всех, производило сильное впечатление его мужественное, необычайно волевое лицо. Да, он был похож на прищельца. Тут ничего не скажешь...

Я расспрашивал о теленинценировке его повести у своих знакомых.

— Оригинально, — отвечали они. — Человек встречается с самим собой. Этот Островитянин не прочь поиграть с временем в кошки-мышки. Но хочется задать ему вопрос: «А где же логика, где здравый смысл?» Впрочем, забавный старик.

Многим нравились его статьи, написанные дерзкой рукой, как бы пытавшейся открыть завесу, скрывающую от людей тайну, великую тайну мироздания.

Несколько лет назад он страстно защищал гипотезу о существовании снежного человека и даже ездил со специально организованной им экспедицией в один из высокогорных районов Азии и чуть там не погиб, не раз подвергая свою жизнь риску ради истины.

Впрочем, у него были странные взаимоотношения с истиной, взаимоотношения, давшие повод известному карикатуристу изобразить его в новогоднем номере популярного литературного еженедельника в виде старого лозеласа, ухаживающего за чрезмерно гибкой жеманной красавицей, прячущей свое таинственное лицо истины за черной вуалью.

Седой, старый, но наполненный до краев юношеской романтикой и детской наивностью, он приходил на литературные вечера танцующей походкой, неся с собой многочисленные подтверждения и доказательства своей интимной связи с другими мирами,— осколки метеоритов, какую-то взвешенную пыль в стакане и кость мезозойского ящера, подаренную ему другом-палеонтологом на недавнем юбилее. На восьмом десятке он не побоялся лезть на ледяные вершины самых высоких гор в поисках снежного человека. Нет, он был достоин всяческого уважения, хотя и благодушествовал, заглядывая в будущее через замочную скважину.

Но эта телевизионная постановка поистине была загадкой. Каким чудом Черноморцеву-Островитянину удалось заглянуть в мое детство, инсценировав мои затаенные мысли? И как могли скреститься в одной точке мое прошлое, вымыслы фантаста и жизнь этого загадочного продавца потерянных билетов и уцененных книг?

В словах моих знакомых, не одобрявших инсценировку, скрылось что-то недоговоренное и даже двусмысленное. Их настороженные взгляды, украдкой устремленные на меня, говорили мне больше, чем их слова.

Куда более чистосердечным оказался парикмахер, бривший мне голову раз в неделю.

— Ловко вы сыграли,— сказал он,— ловко. Но одного не могу понять. Объясните. Когда вы играли самого себя, не прибегая к гриму, все было вполне ясно. Но как вам удалось уменьшиться в росте и в объеме и сыграть тут же мальчика, то есть тоже себя, но в детстве?

— Техника,— сказал я,— профессиональные навыки, умение преобразаться.

— Мальчик был точная копия. Я даже сначала подумал, что это ваш внук. Но оказалось что-то другое, более странное.

— Так полагается,— сказал я.— Инсценировка научно-фантастической повести. Понимаете? Сказка на строго научной основе.

— Пытаюсь понять. Чем освежить, тройным или цветочным?

Сжимая в ладони резиновую грушу пульверизатора, он коварно пустил в меня тугую душистую струю и усмехнулся:

— Помолодели. Конечно, не так, как в телевизоре. Тут лет на пятюк, а там сбросили полсотни. Приятно брить такого умелого человека.

4

Именно в эти дни в городе появились афиши, огромными буквами извещавшие о вечере космических проблем знаменитого писателя Черноморцева-Островитянина:

«ВСТРЕЧА С ПРИШЕЛЬЦЕМ. СНЕГА МАРСА. СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».

С афиши глядело на прохожих лицо фантаста, задумчивое и, пожалуй, чуточку грустное. Его выражение обещало даже больше, чем было написано в афише.

Мне с трудом удалось достать билет на «встречу с пришельцем», хотя для этого вечера был снят самый большой зал.

Зрители приветствовали маститого писателя аплодисментами. Он вышел на сцену, держа в руке сосуд с таинственно мерцавшей жидкостью, намекавшей своим видом на иное, возможно, даже инопланетное происхождение.

Он вышел не по летам легкий, почти танцующий, оглянулся и, вдруг встав на цыпочки, произнес неуместное к случаю слово, если учесть, что он только что появился и еще не собирался скрыться в безграничных далах.

— Прощайте,— сказал он негромко и зловещим голосом, вкладывая в произнесенное им слово какой-то совсем особый, знакомый смысл.

Затем он сделал паузу и спокойно, медлительно, деловито стал объяснять, что едва ли это жалкое словечко существует где-нибудь в другом месте, кроме грешной Земли. Он лично подозревает, что представители инопланетных цивилизаций никогда не прощаются ни с бытием, ни со своими знакомыми и родственниками, не желая поддаваться духовной слабости и признаваться в своей бречности.

Все слушали с таким чувством, словно мост между Землей и внеземным уже переброшен.

В голосе Черноморцева-Островитянина слышались нотки таинственной интимности и всепричастности фантаста к беспредельным сферам Вселенной, мысленно давно обжитой им и обследован-

ной его чувствами настолько добросовестно и тщательно, что он имел все основания поделиться своим внутренним опытом.

— Наше мышление, — продолжал он, — свидетельствует не только о мудрости землян, но и о некоторой ограниченности земного воображения. Имели ли право люди, создавая язык и обозначая звуковыми знаками все находящееся по эту сторону духовного горизонта, забыть о возможных встречах и контактах с представителями иного, внеземного опыта? Не говорит ли это об известной узости взгляда, о бытовой посюсторонности языка? Уже много лет назад я поставил перед собой задачу — создать язык, способный связать человечество с иным духовным объектом, с иной умственной средой. Я составил звездный словарь и подверг переоценке все наши земные человеческие понятия. Я взглянул на себя, на вас, на весь наш человеческий мир глазами звездного пришельца. Для этого мне пришлось создать новые понятия, новые, небывалые мысленные приемы. А что же дальше? С помощью нового мысленного аппарата, с помощью нового, небывалого языка я превратил себя в инопланетца. Чуткие читатели и читательницы давно обратили внимание на это, внимательно вчитываясь в мои романы и повести; мои произведения в сущности не только информация о неведомом — это мост, переброшенный мною между читателем, моими чувствами и тем, что находится далеко за пределами земной биосферы, но что мне удалось угадать благодаря новой, созданной мною логике. Я хочу познакомить вас с ней, но после короткого перерыва. Объявляю антракт.

Проталкиваясь сквозь густую толпу к буфету, я увидел стол с книгами, с многочисленными изданиями и переизданиями романов и повестей Черноморцева-Островитянина. И продавал их не кто иной, как тот самый человек, который походил на Диккенса.

— Расстались с электричкой? — спросил я.

— Куда пошлют, там и торгую.

— Старое, залежавшееся барахло?

— Нет. Зачем? Есть и новинки.

Он протянул мне книгу в чрезмерно яркой обложке, название которой поразило меня — «Звездный словарь. Логика мышления разумных существ планеты Ин».

— Разве есть такая планета?

— В бесконечной Вселенной с ее законами вероятности все может быть.

— Роман или философский труд?

— Гибрид философии и беллетристического азарта.

— Советуете купить?

— Я никому никогда не даю советов.

— Почему же!

— Чтобы советовать, нужно иметь опыт.

— Разве у вас нет опыта?

— Мой опыт особый. Так покупаете?

— Покупаю.

— Вам эта книжонка пригодится. Это ведь не просто книга, а нечто большее.

— Уж не сама ли жизнь?

Я посмотрел на продавца. Но он уже не замечал меня. Он занялся другим покупателем.

5

Книга лежала передо мной на столе, и я читал ее. Читал ли? У меня такое чувство, что не столько я читал книгу, сколько она читала меня. Это слишком живая и активная книга, чтобы спокойно, степенно и обстоятельно информировать читателя, осведомлять его и просвещать. Нет, она была похожа на крайне странного собеседника — телепата, гипнотизера, тонкого психолога и аналитика, незаметно и подспудно выпрашивающего читателя. У меня было такое ощущение, что в комнате находится кто-то невидимый, спрятавший себя между страниц книги, сливший себя с ее текстом.

Вопросительная и вопрошающая интонация черноморцевского повествования, по мере того как я читал книгу, становилась все ощутимее, все навязчивее и навязчивее. Казалось мне, что рядом сидит сам Черноморцев-Островитянин, держа сосуд с мерцающей жидкостью, и экзаменует меня, выясняя мои способности общения с представителями внеземного Разума.

В книге была глава, состоящая только из одних вопросов, которые должен задать представитель далекой цивилизации нам, земным и обыкновенным людям. Иллюстратор скупыми графическими средствами изобразил этого строгого и иронического экзаменатора, дав ему самую неземную и не располагающую к себе внешность. Мне стало жутковато, словно я остался один на один с этим строгим экзаменатором, готовым провалить не только меня, но заодно и все человечество.

О чем спрашивал меня и все человечество поликомный представитель внеземного Разума?

На первый взгляд эти вопросы казались странными, вздорными, неожиданными, случайными, как опечатка, сделанная машинисткой.

Почему я двуног?

Почему в генетической информации, закодированной в наследственных молекулах, предусмотрено не три уха и не два носе?

Я мысленно дал уклончивый ответ, сославшись на законы целесообразности и красоты.

Перевернув страницу, я нашел там свой ответ, насмешливо комментируемый Черноморцевым-Островитянином, словно он заранее знал мои мысли, свидетельство стереотипного мышления, своего рода человеческого клише, отпечатанного незадачливой историей.

Внеземной экзаменатор со страниц книги пытался поставить меня лицом к лицу с проблемами, мимо которых прошли ученые и мыслители из-за своей земной ограниченности и субъективизма.

Под конец мне стало неудобно с этой книгой. Я закрыл ее и поставил на полку. Но что-то магическое, по-видимому, было в этой книге, как в портрете, описанном Гоголем. Меня неудержимо тянуло к полке. Я снова взял книгу и раскрыл ее. На той странице, которая случайно раскрылась, была иллюстрация. На рисунке изображен был я. Но я был не один. Рядом стоял мальчик, в котором я тоже узнал себя. Этот мальчик тоже был я.

То, что я прочел под рисунком, имело отношение не ко мне, а к структуре времени, физическая и психическая реальность которого была разгадана представителями внеземного Разума. Удивительно, что книга на моем личном примере иллюстрировала нечто вневичное.

Овладев структурой времени, жители планеты Ин жили, как бы проектируя свое бытие во все концы личной жизни. Ребенок не предшествовал юноше, юноша — взрослому, взрослый — старику, а пребывали в несливающейся одновременной разновременности.

Книга пыталась мне объяснить сущность явления, не поддающегося тем логическим средствам, которыми я располагал. Казалось, текст играл со мною в жмурки. Рисунок смотрел на меня со страницы, повергая в изумление все мое существо, словно и моя жизнь тоже была вписана в текст этой более чем странной книги.

Как попало мое изображение на страницу, да еще в виде иллюстрации к идее разновременно-одновременного бытия? Разве книга была написана только для меня? Нет, сколько мне помнится, на столе тогда лежало много экземпляров. Я взглянул на последнюю страницу: тираж сто пятнадцать тысяч. Фамилии редактора и двух корректоров. Сведения о том, когда книга была сдана в набор и подписана к печати.

Мне стало не по себе.

Надев пальто и шляпу, я отправился на Большой проспект в книжный магазин, где оставляла для меня дефицитные новинки знакомая пожилая седоволосая продавщица Мария Степановна.

За прилавком вместо седоволосой Марии Степановны я увидел его, Диккенса.

— Разве вы здесь работаете? — спросил я.

— Да. Мария Степановна ушла на пенсию. И меня направили сюда. Надоело, знаете, ходить по вагонам электричек.

Он говорил спокойно, обыденным и ленивым голосом. И при этом улыбался ласково, чуть-чуть двусмысленно, одновременно как бы одобряя и осуждая меня. Он, конечно, уже знал, зачем я пришел в магазин.

Подошла старушка-покупательница, и Диккенс, услужливый и расторопный, стал ей показывать новинки.

Старушку смущали цены.

— Нет, это для меня дороговато,— повторяла она.— Это мне не по карману.

— Вот уцененная,— сказал Диккенс, показывая ей какую-то книгу.— Видите, старая цена перечеркнута, а здесь обозначена новая. Эта книжка даже школьника не разорит.

Все еще полная сомнений старушка стала просматривать иллюстрации. Одна из них привлекла ее внимание.

Я ощутил на себе взгляд продавца. В нем было что-то насто-роженное и в то же время игривое. Взгляд указывал мне на рас-крытую старухой страницу.

Взглянув, я увидел на странице самого себя. Старушка вздох-нула, закрыла книгу, сказала продавцу:

— Заверните. Беру.

Странное, дикое ощущение охватило меня, когда она протя-нула продавцу чек и взяла покупку. Мне казалось, что она унесет сейчас с собой часть меня самого. Что-то во мне словно оторва-лось. Старушка пошла тихими негнузданными подагрическими шагами.

Диккенс наклонился и шепнул:

— Догоняйте. Унесет. Там ваше прошлое и будущее.

Я кинулся вслед за старухой, толкнув в дверях девочку, и да-же не оглянулся.

Дурной сон. Нелепая сцена в плохой кинодраме. Все мелькало, спешило, торопилось, как я сам. Я вырвал у нее из рук книгу. Она вскрикнула. Я отпрянул. Несколько прохожих кинулось за мной.

В сквере я остановился и перевел дыхание.

Мой профессорский облик, казалось, спорил с очевидным фак-том. Но подошли дружинники, чтобы быть арбитрами в этом споре нелепости с действительностью.

— Кто вы такой? — спросил один из дружинников.

Я назвал свою ученую степень.

— А по мне хоть бы и академик. Вы что-то вырвали из рук пожилой гражданки и пытались скрыться. Предъявите документ.

Я протянул ему паспорт. С замедленной и углубленной внима-тельностью он стал изучать мою фотографическую карточку, при-клеенную к обложке паспорта, потом перевел настороженный взгляд на меня. На карточке я был без бороды и усов, в других очках, а главное, моложе себя на пятнадцать лет.

- Это ваш документ?
- Мой.
- Идемте.
- Куда?
- Рядом. Там разберутся.

Меня взяли под руки два великодушных, наполненных до краев здоровьем и сытой упругой жизнью парня. На их лицах играло убеждение, что они поймали крупного рецидивиста с международной репутацией, работавшего с чужими документами и выдававшего себя за доктора исторических наук.

Они вели меня, пробиваясь сквозь густую толпу.

— Интеллигент, — сказал густой голос, — а стащил мелочь. Стоит ли вести? Дать ему звонка, чтоб в голове загудело. И так будет помнить.

— Тут не рынок, папаша, — ответил дружинник, — чтобы самосуд устраивать. Да и не мелкий жулик, а крупный авантюрист. Понятно?

6

Просмотрев мои документы и записав все, что он услышал от дружинников, дежурный, лейтенант с синими глазами и черными усиками, торжественно раскрыл книгу — вещественное доказательство моего противозаконного поступка.

Он посмотрел на цену, обозначенную на обложке, и сказал, насмешливо обращаясь к моей совести и здравому смыслу:

— Что вас, гражданин, соблазнило? Ведь книгу за ее неходкость уценили. Новая цена всего тридцать копеек.

Затем он быстро перелистал книгу и вдруг заинтересовался иллюстрацией.

По-видимому, иллюстрация ему показалась еще более подозрительной, чем мое фотографическое изображение на паспорте. Он посмотрел своими синими глазами на меня, потом снова на иллюстрацию.

— А вы как попали в эту книгу?

— Не знаю.

— Отнекиваться будем после. А сейчас скажите, вы это или не вы?

Я взглянул и увидел себя на странице, себя и мальчика — тоже себя.

— Вы это или не вы?

— Это действительно я.

— Ну а как вы попали в книгу из инопланетной жизни? Насколько я представляю, это научно-фантастический роман?

— Роман.

— Отлично. Курите?

— Благодарю. Некурящий.

— Если хотите знать, этот роман даже больше удостоверяет вашу личность, чем паспорт. На паспорте фотоснимок не совсем совпадает с вашей личностью.

— Может, это и есть мой действительный документ?

— Шутить позже будем. А сейчас нужно выяснить вашу личность. И объяснить, каким путем попала к вам в руки книга. Молчать дома будем. А здесь надо отвечать на вопросы.

Я с выжидающим видом промолчал.

— Допускаю, книга оказалась в вашей руке нечаянно. Чего не бывает при спешке. Но зачем же вы побежали? В вашем возрасте бегать очень вредно, особенно без причины.

— Я остановился почти сразу.

— Допускаю. Но книга-то ваша или пожилой гражданки?

Я не ответил.

— Вы не знали, что в пакете книга,— продолжал лейтенант, и синие глаза его стали еще светлее, еще прозрачнее,— да к тому же еще удешевленная. Вы подозревали, что это ценная вещь. Так или не так?

— А не находите ли вы,— ответил я,— что существеннее другое.

— А именно?

— Каким образом в книге оказалось мое изображение?

Лейтенант нахмурился.

— Это не ваше изображение.

— А чье?

— Не ваше. Вероятно, того, кто описан в романе. Какого-нибудь героя!

— А вы раскройте книгу и посмотрите.

Лейтенант стал листать, но рисунка не было. Он куда-то исчез.

Да, теперь я не сомневался, что он исчез. Я чувствовал это по себе. У меня было такое чувство, что ищут не мое изображение, а меня самого.

— Что за ерунда,— сказал тихо дежурный.— Ведь оно же было, это изображение, или его не было?

Лицо его вдруг стало утомленным, словно после бессонной ночи.

— Вам все-таки надлежит,— сказал он, сердито отчеканивая каждое слово,— удостоверить свою личность.

— Позвоните в институт, где я работаю.

— Успею. А вы мне объясните, зачем вы присвоили чужую книгу, а сейчас пытаетесь присвоить чужое изображение? За героя романа себя выдать хотите?

— Но роман ведь фантастический,— сказал я.

Лейтенант усмехнулся.

— Даже очень фантастический. Больше чем надо. Но объяснение найти я все-таки должен. Наличие, а потом исчезновение рисунка. Это раз. Почему вы, хорошо обеспеченный человек, соблазнились удешевленной книгой? Это два. Почему уклоняетесь от прямых ответов и хотите спрятать себя в этот роман? Это три.

— Не я хочу спрятать себя в эту книгу, а кто-то...

— А кто именно? Прошу уточнить.

— Диккенс.

— Диккенс? Допускаю. Рассказывайте все по порядку.

Я терпеливо и не вдаваясь в излишние подробности рассказал все, что со мной было, начиная со знакомства со странным продавцом и кончая встречей с покупательницей-старушкой.

— Допускаю и это, — сказал дежурный. — Но зачем было вырывать из чужих рук не принадлежащую вам вещь? Знаете, как это называется?

— Знаю.

Он снова стал листать книгу. Листал медленно, сосредоточенно, подолгу держа и рассматривая каждый перевернутый лист. Я смотрел на его пальцы с надеждой, что рисунок вернется на свое место. Дежурный перевернул последнюю страницу и громко вздохнул.

— Путаница. Беспорядочек. Ничего нельзя объяснить ни начальнику, ни даже себе самому.

Я вспомнил содержание книги и подумал: дежурный милиционер — это представитель земной логики, которая сейчас в тупике перед загадочным феноменом.

Лейтенант, словно угадав мою мысль, спросил:

— Вы знаете содержание книги?

— Знаком, — ответил я. — Эта книга своего рода экзамен.

— Всякая книга — экзамен. Если, конечно, она идейная и ставит воспитательную цель.

— У этой книги цель особая, — сказал я.

— Какая?

— Провалить на экзамене вас, меня и все человечество.

Дежурный рассмеялся.

— Это вы, наверное, ставите всем одни двойки. А книга добрая. Злую книгу не пропустит редактор.

— Злые книги тоже нужны.

— Смотря кому. Нарушителям порядка! Вернемся к делу. Не убедили вы меня.

— Перелистайте и убедитесь.

— Нет времени читать. Не имею права. Я на работе.

— Интересно, — сказал я, — есть ли там та иллюстрация?

— Какая иллюстрация?

— Ну та, которая только что была здесь и вдруг исчезла.

Лейтенант посмотрел на меня, и лицо его снова стало усталым и подозрительным.

— В конечном счете я начинаю сомневаться, что она была.

— А что я здесь, вы еще не сомневаетесь!

— Пока не сомневаюсь.

Он снова стал перелистывать книгу. Вдруг радостное изумление мелькнуло на его лице.

— Смотрите! Нашлась. Вот она, на месте!

И он показал мне иллюстрацию.

— Страницы слиплись. Вот и вся загадка.

Лейтенант был очень доволен, словно уже распутал дело. Я тоже был рад, что рисунок нашелся. Правда, у меня не было уверенности, что он опять не исчезнет. Дежурный тоже, по-видимому, этого опасался и теперь уже не закрывал книгу, держа на раскрытой странице тяжелую ладонь. Он внимательно рассматривал изображение, сличая его со мной.

— Сходство, конечно, есть, — сказал он, — но это несущественно. Художнику понравилась ваша физиономия, и он срисовал вас украдкой, а потом использовал набросок, иллюстрируя это произведение. Так или не так?

Его мысль ему явно понравилась своей строгой логичностью и последовательностью, и, хотя меня она не убедила, я не стал возражать.

— Ну, что ж, — сказал лейтенант, — подведем итоги. Вряд ли такого крупного ученого можно заподозрить в злом умысле. Можете идти. Книжку я оставляю у себя на тот случай, если за ней придет потерпевшая.

Он улыбнулся, все еще не спуская ладони с раскрытого листа, словно боясь, что рисунок снова исчезнет.

— Идите домой. И не повторяйте поступков, которые трудно объяснить. Поймите и наше положение.

7

Придя домой, я взял с полки книгу, чтобы узнать, на месте ли рисунок. Я с нетерпением раскрыл тот самый экземпляр, который приобрел на лекции Черноморцева-Островитянина. Рисунок был на месте.

Со страницы смотрело на меня мое изображение, загадочным образом попавшее в роман, повествующий о далекой планете Ин.

Лейтенант милиции выдвинул интересную гипотезу, чтобы объ-

яснить, как мое изображение оказалось в чужой книге. Опираясь на свою безукоризненно последовательную логику, он пришел к выводу, что художник, иллюстрировавший роман, где-то незаметно для меня набросал мое лицо и фигуру в альбом для зарисовок, а затем коварно воспользовался этим рисунком в своей работе над оформлением книги, выполняя поручение издательства.

Трезвый ум сотрудника милиции пытался очистить пока еще загадочный факт от всего сомнительного, противоречившего той логике, которую создало человечество почти за миллион лет своего существования. И мне очень хотелось положиться на трезвость и строгую последовательность лейтенанта, избавив себя от всяких сомнений и тревог.

Но ведь я не был до конца откровенен с дежурным. Я не рассказал ему, какие дерзкие идеи выдвигал Черноморцев-Островитянин, и о том, что я непонятным образом обнаружил себя привлеченным им для доказательства этих идей то на экране телевизора, то на страницах книги, только что изданной, но почему-то оказавшейся уже уцененной. Всего этого не знал лейтенант, рассуждавший трезво, здраво, с завидной последовательностью и не старавшийся быть педантично-мелочным в исполнении закона. Он отпустил меня домой, когда с помощью логики расставил все на свои места.

Да, он расставил все на свои места, но меня это не успокоило. Смутное тревожное чувство заставило меня мысленно глядеть в одну точку. Ведь кто-то неизвестный, состоявший в явном противоречии со здравым смыслом, играл со мной посредством загадочного рисунка в книге, которая лежала сейчас открытой на моем письменном столе.

На минуту отвлекшись от своих мыслей, я пошел на кухню, зажег газ, поджарил яичницу из трех яиц, сварил кофе.

Я всегда варил кофе сам, и приходящая домработница Настя, веселая, беззаботная вдова, обижалась на меня, словно я не доверял ее искусству. Но сейчас Насти не было. Она, по-видимому, пошла поболтать на угол к приятельнице, продававшей газеты, и стоит у киоска спиной к очереди нарочно досаждая нетерпеливым и слишком нервным покупателям.

После завтрака, сытый и несколько успокоенный, я вернулся в кабинет и углубился в чтение фантастического романа, странного, двусмысленного и живого, как организм, добытый со дна инопланетного океана.

Я оказался наедине с представителем планеты Ин, сумевшим войти в интимный и загадочный контакт со мной. Я сразу пожалел, что не был философом, чтобы вести мысленную дискуссию и притом не попасть впросак.

С высоты своего духовного и социального опыта некий внеземной экзаменатор обращался ко мне с вопросами, как бы вопрошая не только меня, но и законы человеческого мышления.

— Время, говорите вы? — почти кричал он на меня. — Соизвольте объяснить, что это такое!

Я ведь не Гегель и не Спиноза, чтобы объять словами такие глубины. Я бормотал что-то о необратимости времени, о том, что настоящее по отношению к будущему всегда является прошлым.

Но ему, овладевшему законами времени, казалось все, что я говорил, наивным и смешным, как рассуждение неандертальца о сущности квантовой механики.

Жизнь творит порядок из беспорядка. Кто станет это оспаривать! Но жизнь индивида всегда зависела от времени, от его немумолимых рамок, заключенных между началом и концом. Жители планеты Ин, управляя законами природы, научились обходить прямолинейную направленность времени. Взрослый при желании мог вести диалог с юношей или ребенком, узнавая в нем себя, располагая собой во времени, как в пространстве.

Мои математические познания были не настолько сильны, чтобы понять принцип превращения времени в пространство, особое пространство, текучее, динамическое, но все же не однонаправленное, а собирающее в одном фокусе все соотношения разновременного.

У меня уже начала побаливать голова от затраченных мною усилий, от страстного желания понять то, что противоречило законам земной человеческой логики, как вдруг страница кончилась, а на другой я прочел эпизод, имеющий прямое отношение к моему детству.

Со страниц этой удивительной книги окликнул меня школьный учитель Николай Александрович. Далекое прошлое поманило меня. Учитель назвал мое имя, и я подошел к географической карте, к той карте, какой она была в 1919 году. А за окном весна, деревья и небо моего детства, и солнце большое и яркое, совсем не такое, как сейчас.

С непостижимым мастерством была протянута нить между мной и тем, что исчезло бесследно. Я стоял в классе возле географической карты, и сердце мое билось, и в ушах гудело от тысячи мыслей и желаний, воскресших во мне вместе с детством и учителем, смотревшим на меня с бесконечным любопытством человека, как бы прозревавшего в ребенке его будущее.

Я молчал. А Николай Александрович говорил и говорил, обращаясь не ко мне, а к моему будущему.

Страница кончилась, и видение исчезло. И я сидел, пораженный тем, что Черноморцев-Островитянин сумел приобщить мое прошлое,

мое далекое детство к своему вымыслу. Откуда он мог знать то, что знал я один.

Я закрыл книгу с таким чувством, словно закрываю дверь в свое детство.

Меня потянуло на улицу. Выйдя на Большой проспект, я остановился. Возле раскладного столика с книгами толпились прохожие. Я сразу узнал продавца.

— Как идет торговля? — спросил я.

— Сегодня не слишком бойко. Все требуют Черноморцева-Островитянина, а ничего не осталось.

— Ничего? И даже для меня?

Понизив голос, он ответил, переходя в шепот:

— Приберег один экземпляр. Только для вас. Я знаю, какая книга вас интересует.

— А иллюстрация есть?

— Какая иллюстрация?

— Та самая...

— Сейчас посмотрим.

Он достал книгу, раскрыл ее и стал искать рисунок. Но рисунка не было. Все это намекало на какую-то загадочную, алогичную связь продавца с книгой. Другого объяснения я не мог подыскать.

— Исчез, — сказал он. — Пропал.

— А чем вы это объясните?

— Плохой работой браковщицы в типографии. Пропустила дефектный экземпляр.

— Вполне логично, — сказал я.

— А вы чем это объясняете? — спросил он.

Он умел управлять выражением своего лица не хуже профессионального актера. На его узком интеллигентном лице отразился интерес, словно он действительно ждал, что я ему объясню этот необыкновенный случай.

— Кто-то на расстоянии заставляет меня видеть в книге то, чего там нет, превращая страницу в проекцию, в своего рода экран.

— Кто-то? — Он усмехнулся. — Я догадываюсь, кто.

— Кто?

— Я.

— Вы?

— А кто же? Не Черноморцев-Островитянин же.

— Понимаю. Но почему в таком случае вы не заседаете в Президиуме Академии наук, а стоите у столика и продаете книги?

— Мне легче найти общий язык со школьниками и домашними хозяевами, чем с академиками.

— Почему?

— Я вечный школьник. Меня интересует все, а ученых только предмет их специальности. На планете Ин...

— Планета Ин — это вымысел Черноморцева-Островитянина.

— Вы ошибаетесь. Черноморцев и сам не подозревает, что его талант — это мостик между двумя цивилизациями. Он не подозревает, что его фантастические романы во многом документальны.

— А откуда вам это известно?

— Я его соавтор. Его стиль, мои факты. Он, конечно, не Александр Грин, но строить сюжет умеет. Не станете же вы это отрицать?

— Стану! Он не художник!

— Он больше любого художника.

— Он или вы?

— Мы оба,— ответил он тихо и стал складывать книги.

Его движения были точны, быстры, легки и бережливы. К каждой книге он прикасался, как к драгоценности.

— Вы книголюб?

— Да.

— Значит, вы не случайно выбрали эту профессию?

— Нет. Книга — это самое человеческое из того, что создал человек. Я люблю людей.

— Но сами-то вы...— Я запнулся.— Сами-то... человек?

— Я хочу стать человеком. Стараюсь.

Подъехал крытый фургон Книготорга. Продавец сложил туда книги и поставил раскладной столик. Сел рядом с шофером и на прощание сказал:

— На днях будут новинки. Заходите.

8

Домработница Настя смотрела на меня с таким видом, словно я совершил подлог или соблазнил одну из самых юных своих учениц-студенток.

— К вам пришли из милиции,— сообщала она, смакуя каждое слово.

— По какому делу?

— Сказали, что вы сами знаете...

Я надел пиджак и вышел в переднюю. Там стоял лейтенант милиции, тот, что меня допрашивал.

Лицо у него было осунувшееся, строгое и на этот раз недоверчивое. Он стоял возле стены и пристально рассматривал репродукцию со знаменитой картины Ван Гога «Ночное кафе». Лейтенант не спускал с репродукции настороженно-любопытных глаз, словно его приход был связан с необычным, тревожным и трагическим содержанием этой картины.

Кивком головы он поздоровался со мной и сказал:

— Я насчет той книги. Книга со мной.— Он вынул из полевой сумки книгу, аккуратно обернутую в белый лист ватманской бумаги.

— Пройдем в кабинет,— сказал я.— Тут темновато.

Он снял шинель, обтер подошвы сапог о половики, прошел за мной.

— Я к вам насчет книги,— повторил он.

— Догадываюсь.

— Недобрая книга. Злая книга. Дотошная книга.

— А что случилось?

— Что? Ваш рисунок исчез. А на том месте появилось мое изображение.

— Но при чем тут я?

— Я не к этому. А чтобы разобраться. Должен я уяснить или не должен, прежде чем доложить вышестоящим?

— Почему вы должны докладывать?

— По-вашему, я должен скрыть этот факт от общественности?

— Не знаю. Ведь есть опасность ввести общественность в заблуждение. А вдруг вам показалось?

Он раскрыл книгу на той странице, где лежала закладка — автобусный билет, и показал мне иллюстрацию. Я увидел изображение мальчика с живым смеющимся лицом.

— Это же мальчик,— сказал я.

— Нет, это я. Но в детском возрасте. Дома на стене висит точно такая же фотокарточка.

— А не мог кто-нибудь приклеить ее в ваше отсутствие?

— Потрогайте. Она не приклеена.

— Да,— согласился я, внимательно рассматривая изображение.— Несомненно, напечатано в типографии вместе с книгой.

— Но ведь раньше ее не было. Она появилась потом, когда вы ушли.

— Может, все-таки была,— сказал я.— Страницы склеились, и мы не заметили?

— Хорошо,— согласился лейтенант.— Допускаю. Склеились листы. Но я-то как сюда попал, да еще в школьном возрасте? Объясните.

— Может, не стоит объяснять?

— Почему?

— Существуют и необъяснимые явления. Нужно ждать, пока их объяснит наука.

— Я не могу ждать. Это раз. Мне работать надо. Два. Моя работа не терпит путаницы. Три. Не терпит беспорядка.

— Помилуйте, какой же здесь беспорядок? Книга. Роман с иллюстрациями. Обыкновенное дело. Ну, вкралась опечатка. Это тоже случается. Ваше изображение попало случайно в текст... Снимок-то висит на стене или исчез?

— Висит.

— А среди ваших соседей по квартире нет случайно печатников?

— Соседка работает в типографии.

— А отношения с ней какие?

— Всякие.

— Ну вот и нашли объяснение,— сказал я.— Она или само чудо? Скорей всего она.

— Этому трудно поверить,— возразил лейтенант.— Сначала ваше изображение. Потом мое. Я должен распутать этот узелок. Из-за этой задачки не спал ночь. Рассчитывал на вас. А вы уклоняетесь, хотя вам что-то известно.

— Я не уклоняюсь. Но, поверьте, знаю немного больше вас. Думаю, разгадку нужно искать в содержании самой книги. Вы ее читали?

— Два раза подряд.

— Содержание вам не показалось странным?

— Ничего странного не нашел. Ведь это фантастика. Разве только науки слишком много. Трудновато написана.

— Науки? Но ведь не нашей, не земной, а инопланетной.

— Я не о романе пришел с вами говорить. А об этом изображении, которое...— он махнул рукой.— Извините, если помешал отдыху или работе.

— Ничего! Ничего! Вопрос действительно важный. Такое чувство, что кто-то с нами играет в непослушную игру.

— Кто-то? Нет, я хочу знать, кто?

— Я тоже хочу!

— Вы с писателем разговаривали? С этим Черноморцевым-Островитянином!

— Постараюсь повидаться. Если что-нибудь узнаю, извещу.

Лейтенант попрощался, но прежде чем уйти, долго стоял в передней перед репродукцией «Ночного кафе», где безумствовали и неистовствовали взбунтовавшиеся вещи.

— Беспорядок,— сказал лейтенант,— беспокойство. Это раз. Время теряю. Два. До следующей встречи.

Придя в гости к старому, еще университетских лет, приятелю, я и не подозревал, что опять войду в соприкосновение с загадкой, мучившей меня вот уже несколько дней.

— Как вы относитесь к творчеству Черноморцева-Островитянина? — спросила меня дочь приятеля, студентка филологического факультета.

Я ответил тихо, чтобы не привлечь внимания других гостей, сидящих за столом:

— Фантастику я читаю только в трамвае. Предпочитаю что-нибудь простое, доступное чувствам человека, мечтающего о спокойном существовании. И кроме того, Черноморцев-Островитянин... Кто ему дал право выступать посредником между нами и будущим?

— Талант.

— А что такое талант? — спросил я студентку.

На ее лице я заметил тень замешательства, недоумения, словно ее ловят на экзамене.

— Талант, — продолжал я, — это яркие, играющие радостью способности. Но в произведениях вашего Островитянина я не вижу ничего радостного. О чем он хочет осведомить нас с вами? О несообразных существах с других планет? Он изображает их такими, что мне с ними страшно. А я хочу представлять их себе милыми, простыми, похожими на вас. Я хочу, чтобы между мною и ими был контакт, может, еще больший, чем между мной и вон той дамой, которая сейчас увлеченно рассказывает, как ей неудачно вырвали зуб.

— Контакт? Чего же прощ? Черноморцев-Островитянин обещал быть у нас. Мы его ждем. Ведь я пишу о нем дипломную работу.

— Любопытно, — сказал я, — значит, вы знаток его творчества и, вероятно, биографии тоже? Где же он родился?

— В Томске.

— Разве на планете Ин тоже есть Томск?

Гертруда улыбнулась. Но я не был уверен, что она поняла мою шутку. Черноморцева-Островитянина она принимала всерьез.

— Разве на планете Ин тоже есть Томск? — повторил я.

Мои слова прервал приход гостя. Это был он, Черноморцев-Островитянин.

— Приветик, — сказал он и театрально поднял руку, затем приложил ее к тому месту, где сердце.

Кто-то рассказывал мне, что у Черноморцева-Островитянина сердце не с левой, а с правой стороны. Но он приложил руку к левой, а не к правой.

— Приветик, — он нивал всем, и всем улыбался, и кланялся.

Дама, у которой недавно вырвали зуб, повеселела. Впрочем, повеселели все. И особенно Гертруда, дочка моего приятеля.

Гертруда представила меня фантасту.

— Ваш читатель, — сказал я, — и... почитатель.

Я покраснел, как мальчишка. Ведь я не был его почитателем, наоборот. Все, что он писал, мне казалось вульгарным. Но он уже смотрел на меня сверху снисходительным взглядом, как на одну миллионную часть, как на своего читателя, попавшего в расставленные им сети, в сущности, сотканые из очень банальных образов и слов и временами просто из штампов. Нет, он не был хорошим стилистом.

Да, он смотрел на меня сверху вниз и усмехался. Мне почему-то очень захотелось сбить с него спесь, или, как в этом году выражались, немножко «ущучить». И я спросил тихо и выразительно:

— А как поживает Диккенс?

На какую-то часть секунды лицо его стало вопрошающе-изумленным и даже озабоченным, но он моментально нашелся:

— Диккенс? Уж если на то пошло, я предпочитаю По или Жюль Верна, но в силу объективных законов времени я не могу передать вам от них привет. Они там, у себя, в прошлом, а мы здесь, за этим милым столом.

За словом в карман он не лез, и мысль его работала четко и быстро. Но ведь я тоже не собирался отступать.

— Не тот Диккенс, который написал «Домби и сыны», а тот... Но Черноморцев уже перебил меня своей скороговоркой:

— Сейчас молодые люди любят стилизовать себя под прошлое. А покопавшись — обычный скучный парень, не пьет, не курит и висит на доске Почета.

— На доске Почета!

— А почему бы нет? Выполняет и перевыполняет план. Умеет работать с книгой.

— А все же... Кто он?

— Кто он? Кто я? Кто вы?

Фантаст оглянулся и обратился ласково к Гертруде:

— У вас, Гертрудочка, я бы никогда не спрашивал: кто вы? Вы милое, доброе существо. При вас все становится на свое место, все делается добрым, ясным и понятным, даже непонятное и загадочное.

Пряча истину за шуткой, он покинул нас и подсел к той даме, у которой недавно вырвали зуб.

Социологи предсказывают: через тысячу лет все население планеты будет состоять из одних ученых. Хорошо это или плохо? Не знаю...

За много лет своей работы я привык оценивать людей по тому, что и как они знают. Я приучил себя смотреть на жизнь, словно

и она стоит у дверей и ждет своей очереди держать у меня экзаме́н.

Мысль о том, что все население планеты будет состоять из одних ученых, меня смущает. Пусть больше половины из них будут талантливыми исследователями. Больше половины, но не все.

Однажды я спросил своего аспиранта Серегина, любит ли он заниматься самонаблюдением?

— Самонаблюдением? — Он усмехнулся. — Я считаю, что Огюст Конт был прав, когда отрицал его возможность. Конт высмеивал самонаблюдение как нелепую попытку человека заглянуть в окно, чтобы увидеть, как он сам проходит по улице.

— Но ведь Конт ошибался, — сказал я. — Он был типичный метафизик.

— Как бы мне хотелось увидеть себя в окне.

— Но ведь это невозможно.

— Мне почему-то всегда хочется невозможного.

Я посмотрел в окно. И вздрогнул. За окном по улице шел он, словно со мной здесь рядом пребывал кто-то другой.

— Смотрите, — взволнованно сказал я. — Это ведь тоже вы за окном, на тротуаре! Жалко, нет здесь Конта, мы бы его заставили взять свои слова обратно.

— К сожалению, это не я, — ответил Серегин. — Доцент Сидельников. Много бы я дал, чтобы это был не он, а я.

— Вы страдаете, что у вас нет двойника или близнеца-брата?

— Нет. Я страдаю от того, что человек не может переступить границ возможного. Я, например, знаю, что, если проживу даже девяносто лет, никогда не перекинусь словом с представителем другой логики, другого, внеземного опыта. Слишком велико и бездонно расстояние.

— Не понимаю вашей тоски, — сказал я. — Мне вполне хватает и земных, обыденных собеседников. А когда приходит желание поговорить с кем-нибудь, с кем-нибудь очень умным, я раскрываю том Пушкина, Гегеля или Гете.

— Мне этого маловато, — сказал Серегин.

— Маловато. Как вам не стыдно! Ведь это боги. Ими всегда будет гордиться человечество.

— Вы меня не поняли. Логика Пушкина, Гете и даже Гегеля наша, земная. А мне хотелось бы встретиться с иным типом мышления, соответствующим иной среде. И сознание, что это невозможно, приводит меня то в отчаяние, то в ярость. Эволюция обманула нас, дав нам разум.

— Почему?

— Весь смысл земной, человеческой цивилизации заключается в том, чтобы состоялся диалог между нами и тем, кому мы можем сказать **вы**.— Он сделал паузу и продолжал:

— Я не может существовать без **ты**, мы без **вы**. Земной разум создан не для монолога, а для диалога. Земное человечество не может остаться вечным Робинзоном на своем крошечном планетном острове. Чтобы сказать **ты** и услышать **ты**, Робинзон обучил попугая. Вся наша человеческая культура без диалога с другим разумом — это только попугай, иллюзия, самообман. И я боюсь, что мы навсегда останемся Робинзоном, разговаривающим с самим собой и с попугаем.

— Мне не совсем понятна ваша мысль, Серегин. Ведь человечество — это миллиарды индивидуумов, непрерывно общающихся друг с другом. Как можно человечество сравнить с Робинзоном?

— Мы говорим о разных вещах. Законы логики, законы мышления объединяют одного и всех, делают одним коллективным целым. Логика не может быть индивидуальной. Только она и делает всех людей такими похожими друг на друга.

— Вы думаете, что может существовать другая логика, не имеющая ничего общего с нашей?

— А почему бы нет?

И он замолчал. Молчал и я. Вероятно, мы оба думали об одном и том же — о логике иного типа.

Потом я спросил Серегина, не потому ли он так интересуется теорией информации, семиотикой, а также эмоциональным мышлением древних и первобытных народов. Он ответил:

— Да.

Коротко, категорично и чуточку сердито. Впрочем, на что он сердился? На земную, слишком привычную логику или только на меня?

Я всегда плохо понимал людей моложе себя на двадцать или тридцать лет. Даже самые примитивные из них ставили меня в тупик. Но Серегин, этот энтузиаст семиотики, влюбленный в египетские иероглифы, в древнейшие идеографические формы клинописных знаков, мечтавший о встрече с представителем иной логики, казался мне чем-то вроде нового Фауста. Ведь Фауст вместе со своим создателем, Гете, тоже мечтал о невозможном.

Если общество через тысячу лет будет состоять из таких, как Серегин, я, пожалуй, сочту возможным примириться с предсказанием социологов.

У меня бедное воображение. Когда я пытаюсь представить себе население планеты, состоящее из докторов наук и член-кор-

ров, я мысленно вижу Академический городок в Комарове, увеличенный до сверхземных размеров.

Но стоит мне взглянуть на Серегина, как все это исчезает. Серегин несет с собой возможность иного мира, иной среды, иного измерения.

11

Я открываю дверь. Входит Серегин. В руке у него книга. А на лице насмешливо-изумленное выражение, словно ему только что довелось быть свидетелем чего-то необычайного.

— Ну, что? — спросил я. — Увидели самого себя, глядя в окно?

— Не себя, а вас.

— Где?

— В книге, не имеющей к вам никакого отношения. В фантастическом романе Черноморцева-Островитянина.

— А где вы приобрели эту новинку?

— В книжном магазине на Большом, у красивого элегантно-старомодного продавца, чем-то похожего на Диккенса.

— Тогда все понятно, — пробормотал я.

— Если вам понятно, то вы великий детерминист. А меня, признаюсь, это ошеломило. Причем тут вы? В книге ваше изображение.

Мы прошли в кабинет и сели на большой кожаный диван, и Серегин раскрыл книгу в том месте, где была закладка.

— Что такое? Куда он исчез? Может, не там положил закладку?

Он стал перелистывать книгу, разыскивая рисунок, а я терпеливо ждал, зная, что он его найдет, но не сразу.

— Не спешите, — сказал я. — Страницы слиплись. Найдется. Не сомневаюсь. Но чем вы объясните эту недепость — хулиганством, непозволительной дерзостью художника?

— Об этом я пришел спросить вас. Вам что-нибудь известно?

— Известно.

— Что?

— Я не более чем знак, буква, иероглиф. Мое изображение — это символ, с помощью которого представитель внеземного мышления пожелал войти в логический контакт с вами. Вы мечтали о таком собеседнике. И вот он начал с вами беседу.

— Вы шутите?

— Я абсолютно серьезен.

— А где же он, этот собеседник?

— Недалеко отсюда!

— В нескольких десятках световых лет?

— Да нет! Рядом. На Большом, в том самом магазине, где вы купили книгу.

— Уж не этот ли продавец, кокетничающий своим нелепым и случайным сходством с Диккенсом?

— Не думаю, чтоб сходство было случайное. Там, откуда он к нам явился, слишком большой порядок, чтобы дать свободу случаю для его игры.

— Значит, он актер, загримированный под Диккенса?

— Актер? Нет, скорее гениальный режиссер или бог, создавший самого себя, а заодно и своего земного напарника Черноморцева-Островитянина. Впрочем, вам лучше все это узнать из первоисточника. Внеземной разум вошел в контакт с вами с помощью этой иллюстрации. Понизите, может, уже нашлась?

Серегин снова раскрыл книгу, и лицо его побледнело. Он едва произнес:

— Смотрите, ведь это, кажется, я!

Да, это был он, словно вдруг раздвоился. Он был здесь, рядом со мной и там, на странице книги, но не иллюстрация, а живой, уменьшенный в несколько сот раз.

Мы оба с ужасом глядели на этот странный феномен. Минута длилась, длилась, как будто уже наступила вечность. Затем произошла метаморфоза. Уменьшенный дубликат Серегина превратился в иллюстрацию, слившись со страницей.

— Мираж! Галлюцинация! Обман зрения! — сказал Серегин, обращаясь не столько ко мне, сколько к самому себе.

— Не только, — возразил я. — Это нечто иное, большее.

— А что именно?

— Задайте этот вопрос тому, у кого вы купили книгу. До Большого проспекта, где этот магазин, десять минут ходьбы. Сейчас четверть восьмого. Магазин закрывается в восемь. Торопитесь. Если он не очень занят, вы успеете получить ответ.

Серегин схватил книгу, сорвался с места и побежал.

— После разговора заходите ко мне, — крикнул я ему, закрывая за ним дверь. — Мне тоже интересно.

Я ждал его, поглядывая на часы. Ждать пришлось недолго — минут двадцать, не больше. Серегин был по-прежнему бледен. Рука его судорожно сжимала книгу.

— Ну, что он сказал вам? — спросил я.

— Я его не застал. Магазин уже закрыт. Мы забыли, что перед выходным днем он закрывается на час раньше.

— Будем ждать еще сутки.

— Мне предстоит бессонная ночь. Разве смогу я уснуть после всего, что видел сегодня?

— Ерунда,— успокаивал я.— Не взвинчивайте себе нервы. Все придет в норму. Я уже не первый раз встречаюсь с этим феноменом. Да и чего волноваться? Представитель веземного разума продает книги, состоит в профсоюзе, платит членские взносы, несомненно, он прописан и имеет адрес. У него есть паспорт, стаж, все есть, что полагается... Магазин открывают в одиннадцать. Покупателей в этот час немного. Отзовите его в сторонку, словно хотите узнать о поступлении дефицитной книги. Он к этому привык. А вы назовите свое имя, специальность и смело спрашивайте. Он человек скромный, деликатный, интеллигентный. Если сочтет нужным, ответит.

— А если не сочтет?

— Отложит свой ответ.

— Надолго?

— Не навсегда. Не для того же он начал свой разговор с вами, чтобы потом играть в молчанку.

— Вы думаете, что он только со мной начал эту странную, нелепую игру?

— Нет. Я этого не думаю.

— Ну ладно. До послезавтра,— внезапно оборвал разговор Серегин.— Я и без того много отнял у вас времени.

И он ушел.

Увидел его я только через три дня. Он похудел, очевидно, от бессонницы.

— Ну, как? — спросил я.— Видели? Разговаривали? Получили ответ?

Серегин усмехнулся.

— Чепуха! Неразбериха. Алогизм. Разговаривать-то разговаривал, но с ним ли?

— Разве его трудно узнать?

— Трудно.

— Он похож на Диккенса.

— На Диккенса? Сейчас он вылитый Чехов. Бородка клинышком. Старомодное пенсне со шнурком. И даже рост другой.

— Для чего? Почему?

— А я откуда знаю? Любезен. Сердечен. Но держит каждого покупателя на расстоянии. Я все время чувствовал, что между нами прилавок и еще что-то невидимое, но прочное разделяет нас.

— Что он ответил вам?

— Сказал, что не пишет книг, тем более фантастических, а только продает их. Насчет содержания советовал навести справки у Черноморцева-Островитянина, а насчет оформления в издательстве.

— Так бюрократично ответил? Так формально?

— Да. И попросил извинить его. Он на работе. И не имеет ни времени, ни права вести посторонние разговоры. Я еще несколько раз заходил, делал вид, что интересуюсь новинками. Но он так посмотрел на меня, что мне стыдно стало. Может, он действительно не имеет отношения к тому феномену? Может, это особое свойство черноморцевского таланта?

— Что вы имеете в виду?

— В магию я, конечно, не верю. В волшебство. Но может, он телепат и гипнотизер? Гипнотизирует своим стилем?

— Но мы же не читали, а просто смотрели, когда произошел этот странный феномен.

— Да.

— Говорите, похож стал на Чехова?

— Копия. Дубликат.

— После обеда выберу время, схожу, посмотрю сам. Ведь у Чехова совсем другая внешность, чем у Диккенса. Как это ему удалось?

Мои слова не понравились Серегину. Очень не понравились. Его лицо вдруг стало обиженным и даже настороженным. Уж не заподозрил ли он меня в тайном слове с загадочным продавцом книг?

— Извините,— пробормотал Серегин.— Я побегу.

И исчез.

Я зашел в книжный магазин незадолго до закрытия. Продавец стоял на с. сем месте. Действительно, его наружность изменилась.

— Здравствуйте, Диккенс,— сказал я тихо и значительно.

— Разве я еще похож на Диккенса?— спросил он меня.

— Да нет. Сейчас вы, пожалуй, больше походите на Чехова. А для чего? Зачем? С какой целью?

— И это очень бросается в глаза?

— Не очень. Но все-таки заметно. И выражение лица другое. Задумчиво-интеллигентное. В духе девяностых годов прошлого века.

— В самом деле? Значит, сказалось. Последнее время я очень вчитывался в Чехова. Пытался понять сущность его художественного мышления, его обыденных героев. И вот под впечатлением... В отличие от вас, землян, мы слишком впечатлительны, как дети. Но это ничего. Пройдет. На будущей неделе буду читать поэтов: Есенина, Блока, Маяковского.

— Остерегайтесь,— посоветовал я.— Могут обратить внимание сослуживцы, покупатели. Кому-то может это и не понравиться.

— Так советуете не читать? Есенина и Блока?

— Пока я на вашем месте воздержался бы. Очень впечатляющие, сильные поэты.

— Благодарю за совет. Извините. Сейчас будем закрывать магазин. Заходите. Ждем на днях контейнер.

Кто-то из современных историков сказал про письменность, что это особое искусство, которое обогатило человечество сознанием философской одновременности всех поколений. И действительно, письменность сохранила и сохраняет человеческую мысль и соединяет людей прошлого, настоящего и будущего.

История письменности — это моя специальность. И все же я никогда не испытывал того волнения, той страсти от духовного соприкосновения с чужой жизнью через знаки и письмена, какое испытывал Серегин. Он был как бы создан для того, чтобы одновременно пребывать в настоящем и прошлом, слушать голос веков и поколений, с помощью иероглифов и еще более древних знаков приобщаться к тому, что связывает людей в гибкое непреходящее единство истории и жизни.

Философская одновременность всех поколений ведь, казалось бы, полная победа над временем. Нет, не полная. Знаки и письмена открывают дверь в прошлое, но дверь в будущее все же остается закрытой. Она откроется только тогда, когда человечество войдет в контакт с инопланетным разумом. Не раньше.

Эта мысль не давала покоя Серегину, особенно теперь, когда инопланетный разум вдруг заговорил, избрав посредником продавца книг в магазине на Большом проспекте Петроградской стороны.

Чудо почти свершилось, но Серегин не верил, да и я тоже верил в сущности только в те минуты, когда, закрывая с моими человеческими чувствами, появлялось и исчезало изображение на страницах черноморцевского романа.

Прошел месяц, потом еще два, и все шло своим обычным земным порядком. Раскрывая книги, я видел в них только то, что в них было напечатано, не больше. Серегин тоже раскрывал книгоновинки уже без страха, но и без надежды познать нечто, противоречившее здравому смыслу. Время от времени и он и я заходили в магазин на Большом проспекте посмотреть на продавца, все еще чуточку похожего на Чехова, да и на Диккенса тоже.

Каждый раз мы делали вид, что нас привело в магазин обычное желание не пропустить какую-нибудь интересную новинку. И мы, действительно, проявляли чрезмерный интерес ко всему, что лежало на книжном прилавке. А что лежит на книжном прилавке, вам известно. Брошюры, толстые пыльные книги и пособия для педагогов с интригующим названием «Где граница озорства».

Да, он умел работать с книгой, ничего не скажешь. У него покупали. Он выполнял и перевыполнял свой план.

В душевные жаркие дни он стоял у раскладного столика на улице, окруженный наэлектризованной толпой, у которой он умел

возбудить интерес, разжечь искру благородного любопытства, словно за каждой книжной обложкой было спрятано чудо, тайна всего мироздания и каждой отдельной личности, появляющейся на малютке Земле с тем, чтобы, не задерживаясь, уступить очередь следующей для участия в бесконечно разворачивающемся мировом процессе.

— Не кажется ли вам,— сказал мне тихо Серегин, показывая взглядом на продавца,— что в нем живет дух информации, дух письменности и печати, живое олицетворение связи поколений?

— Нет, не кажется,— ответил я.

Серегин вопросительно посмотрел на меня.

— Ведь он призван,— продолжал я,— соединить не поколения, а два разума, две логики: нашу и ту, что уполномочила его.

— Бросьте,— перебил меня Серегин,— не верю. Да и вы не верите в то, что говорите. Он гипнотизер, телепат, талантливый фокусник, умеющий ловко играть на чужом восприятии.

— Тогда почему он продает книги, а не выступает с психологическими сеансами, за которые хорошо платят?

— Любит книгу,— сказал Серегин.— Сейчас таких много, помешанных на книге. Особый сорт людей. Такие раньше уходили в монастырь, запирались в кельи ради разговора наедине с богом. Сейчас богом стала книга. Она заменила веру. Прибежище суровых, аскетичных душ.

— Вы думаете, он аскет!

— На продаже книг не оттрастишь себе брюшко, не построишь дачу в Зеленогорске.

Продавец увидел нас и поманил к себе взглядом.

Мы подошли.

— Найдется кое-что и для вас,— сказал он тихо.— Интересная новинка. Перевод с английского. Вы оба, кажется, интересуетесь семиотикой, знаками? Это как раз на интересующую вас тему.

И он протянул нам книгу, которая называлась «История знаков и символов».

— К сожалению, один экземпляр. Книга дефицитная. Не знаю, кому и дать, хоть рви пополам.

Я уступил ее Серегину, сделав вид, что книга мне знакома.

13

Серегина я увидел несколько дней спустя. Он пришел ко мне вечером с рассеянным, почти отсутствующим выражением лица.

— Где вы пропадали? — спросил я.

— Если я вам скажу, где я пребывал, вы не поверите.

— Где?

— В прошлом. Но не в своем прошлом, а в прошлом этого продавца книг. Он подключил меня к своей памяти, дал возможность взглянуть на мир его глазами. Мне и сейчас кажется, что он и я — это одно лицо. Я слишком много знаю. Меня гнетет одна и та же мысль.

— Какая мысль?

— Невозможность слить эти два мира, которые сейчас одновременно живут в моем сознании.

— Успокойтесь. Расскажите все по порядку.

— Хорошо, — сказал он. — С чего начать? В моем сознании перемешались все концы и начала. Не перебивайте. Дайте прийти к себе... Я преодолел этот барьер, это невидимое нечто, которое все время стояло между ним и мною. Он пригласил меня к себе. Обычный дом. Лестница. Дверь. Ящик для газет и писем... Он повернул ключ, и мы оказались в комнате, похожей на тысячу других.

— Кто вы? — спросил я.

— Сергей Тихонович Спиридонов, — ответил он. — Да, у меня есть имя, отчество и фамилия, как у каждого, кто живет в этом городе. Но у меня есть нечто такое, чего нет ни у кого из моих соседей... Мое знание жизни, мой опыт, — он усмехнулся, — мой личный опыт, помноженный на опыт нашей цивилизации...

— Бросьте, — перебил я его, — признайтесь, что вас заставляет играть эту нелепую роль «пришельца». Это неостроумно и пошло, а главное, рассчитано на интеллект подростка, начитавшегося Черноморцева-Островитянина и ему подобных.

— Ладно, — сказал он. — Называйте меня Сережа. А я вас, если позволите, буду называть Валя. Сережа не может быть выходцем из другого измерения. Выпьем. Закусим. Поговорим по душам.

Он достал из орехового шкафика бутылку коньяку и несколько конфеток, как в забегаловке, и мы выпили.

— Люблю обыкновенное, постороннее. Впрочем, это и классики тоже ценили, особенно Чехов. Все, что вокруг нас, все эти предметы. Иногда ругаю себя за то, что пошел торговать книгами, куда обыденнее было бы торговать мылом, зубными щетками или пуговицами. Выпьем за обыденность, Валя. Вас-то, знаю, влечет сверхобычное — египетские иероглифы, слоговая японская письменность, начертания острова Пасхи. К черту! Людям нужна обыденность, вокзальная скука в знойное лето, разговоры обывателей за чаем и сам чаек. Не веришь!

Мы выпили коньяку, и я охмелел.

— Брось ты свои иероглифы, историю письменности. Чепуха. Человечество было счастливее, когда оно не умело ни читать, ни писать. Прекрасна библейская старозаветная легенда о древе

познания добра и зла. Ты не веришь мне? Не верь. Я сам себе не верю. Мне хочется стать человеком, понимаешь? А человека делает человеком не квантовая механика, не биофизика, а обыденность, привычки. Лиши человека привычек — и он станет абстракцией, иксом или игреком. А ты не догадываешься, почему я тоскую по обыденности?

— Не догадываюсь.

— Потому, что я из другого мира. Тебе не смешно? Ведь нелепо звучат эти слова, правда? Но это так. Я, в сущности, знак, керо-лиф. Я создан для связи. Не веришь? Не веришь, но через полчаса ты согласишься мне, когда я приобщу тебя к природе. Сначала к нашей, земной, которую ты, да и вы все, не исключая поэтов и художников, не умеете видеть, а потом я познакомлю тебя с моим детским миром, подключу тебя к своему сознанию.

Он раскрыл ящик письменного стола, достал небольшой аппарат, похожий на электрическую бритву, и включил его.

Я ощутил то, что ощущал в юности и детстве, когда, раздевшись, с разбегу падал в студеную реку, захлебываясь от ветра, ныряя, вдыхая в себя запах тины, рассекая плечом волну.

Затем меня охватил простор. Все во мне тянулось, ширилось, блаженно освобождалось.

— Ты река, — услышал я голос, — теки, несись, шуми.

Я уже чувствовал себя рекой, и берега были далеко-далеко. И меня несло, несло. Я видел свое свободное прозрачное тело.

Мы привыкаем к своему существованию и почти не чувствуем его. Ощущение всей остроты и стихийной силы бытия рождает в нас внезапные перемены.

Я ширился и рос и освобождался от всего, чем я был. Действительно ли я превратился в реку, как в «Метаморфозах» Овидия, как в древнем эпосе, как в волшебной детской сказке? Но мои глаза и мой слух подтвердили то, что ощущало мое тело, вдруг протянувшееся на сотни километров, пребывавшее здесь и далеко, там и тут одновременно.

В синеве холодных струй, в ряби волн, в текущей, бегущей, охватывающей свободный простор речного русла стихии я испытывал странное единство вечности и мгновения.

Я видел и берега с холмами, лесами, дорогами, и облака, которые отражались в моей прозрачной синеве, неторопливо плыли, подтверждая мысль, что мне теперь некуда спешить.

Человек чувствует себя поэмой в редкие минуты вдохновения, когда слова прилетают живые, как птицы, и поют, соединяясь в стихи и строфы. Не стал ли и я строфой, вписанной в леса и поля, обтекаемая их красотой и сливаясь с далью?

В сиянии летнего неба, опрокинутого на меня, я видел ласточку, охмелевшую от простора, на маленьких и сильных крылышках метавшую себя туда и сюда, игравшую с пространством, падающую и не могущую упасть, поддержанную пружинистой прозрачной синью.

А я освобождался, и не было ни конца, ни начала моему освобождению, все тянулось во мне, как после пробуждения утром рано в детстве.

Мир обновлялся. Он был свежий и первоначальный, как эта лиственница на берегу. Она отразилась в воде и вытянулась, прихорашиваясь, с изумлением наблюдая себя со стороны, свои темные, почти черные ветви, пахнущие смолой и еще чем-то, смесью угарной летней жары и горькой, почти леденящей прохлады.

Уж не принимала ли она меня за зеркало, эта одинокая кокетка, заглянувшая в глубь синевы и обомлевшая от собственного бытия, наглядность которого становилась все отчетливей в соприкосновении с речной гладью?

Но прощай, лиственница, прощай и здравствуй. Я буду долго-долго возле тебя и вдали, вдали и рядом: ведь я — река, и тысячелетия и миг сливаются для меня в одну песню, в один звук. Моя сущность мимолетна и вечна, я здесь и там, начиная с узенького ручейка и кончая заливом, преддверием моря.

До свидания, лиственница, и здравствуй!

Для нее я был зеркалом, как и для лесов, медленно тянувшихся по берегам, чья сень была прохладна. По одну сторону березы, по другую ели и сосны, а мое стремительное, несущее себя, катящее свою водную мощь тело объединяло и разъединяло леса и рощи, как непрерывная, начатая кем-то и неоконченная песня.

Мое детство было при мне — журчанье ручейка, мое начало и мой конец в морском заливе. Но это было особое начало, оно никогда не кончалось, и это был особый конец, который снова и снова начинался.

Рекой ли я стал? Я мыслил и чувствовал, наполнен был радостью и печалью.

Я нес рыбацьи лодки и пароходы, полные пассажиров, качая как колыбель, качая и укачивая. А берега — они раздвигались все шире и шире, играя с простором в какую-то особую, захватывающую дух игру, подобную детским санкам, несущимся с горы, разрывая ширь и раздвигая предметы.

— Посмотри, какая река, — сказал пассажир на палубе стоящей рядом с ним девушке.

— Говори тише, — сказала девушка, — она понимает.

Он рассмеялся.

— Если понимает, то посочувствует.

Голоса ушли вдаль вместе с моим движением. А потом за-
светились окна в домах на берегу. Наступила тишина.

14

— Ты не спал, Валя. Не обманывай себя,— сказал он, тот, кто называл себя Сергеем Спиридоновым.— Ты видел мир так, как видят его у нас. Когда-то и у нас в далекие времена эпоса, мифов и сказок человек был слит с вещами, спаян с лесами и озерами. А потом цивилизация перерезала эту пуповину... Наша цивилизация в отличие от вашей приобретала, ничего не теряя. Наше чувство развивалось вместе с разумом и не было, как игрушка, отдано детям, дикарям и поэтам. Ты не был рекой. Река была тобою. Она влилась в твои чувства и понесла тебя с собой. Ты жалеешь?

— Жалею, что слишком скоро проснулся.

— Хотел остаться рекой навсегда? Но и реки тоже смертны. Их отравляют химическими отходами. Да и ты не был рекой, не воображай. Ты слился с рекой в момент познания. Я приобщил тебя к нашему видению, к нашей логике. Ведь ты мечтал о встрече с иным типом мышления. Но ты оказался слишком наивным. Ты отождествил себя с объектом, о котором мыслил. Но не будем философствовать, это нас далеко заведет.

— Кто же все-таки ты?

— Посланец. Посредник, выбравший из нескольких миллиардов именно тебя, чтобы вступить в диалог. Сотни тысяч лет ваш земной разум в сущности беседовал сам с собой, не зная иной логики, чем та, которая объединяла миллионы в один себе подобный организм, называвшийся человечеством. Но сейчас ты, представитель Земли, разговариваешь со мной. В контакт наконец вступили две логики, земная и инопланетная. Не веришь?

— Нет, почему же? Приятно поверить. Но ведь ты не с первым заговорил со мной? Ведь ты же не первый день на Земле. У тебя даже есть земная профессия. Прописка. И даже кой-какой стаж. Продавая книги, разве ты не имел возможности перекинуться словом с покупателями?

— Это совсем другое дело, Валя. Я же говорил с ними на их языке. Отвечал на самые элементарные вопросы. А наш диалог начался с тобой, когда ты почувствовал простор речного движения, когда ты слился с тем, что в теле жило в раннем детстве, но угасло.

— Диалог? Ты это так называешь? Но ведь ты молчал. Молчал и я. Разговаривала одна природа.

— Ты ошибаешься, это был наш разговор с тобой о том, что

44

тебя окружает. Мысль вплела нас в движение, в ход самой природы.

— А рисунок в книге, мое изображение, которое то появлялось, то исчезало?

— Это была шутка, Валя. Не сердись. Способ напомнить о том, что существуют и другие методы информации и связи, кроме тех, что известны на Земле. Но не думай, что я злоупотреблял этой игрой, продавая книги. Я искал человека, подходящего для беседы. И я догадался, что ты внутренне подготовлен для этого диалога, который, наконец, начался.

— Почему же ты выбрал не какую-нибудь знаменитость, не какого-нибудь академика, члена-корреспондента или лауреата, а простого, никому не известного аспиранта?

— Я присматривался к тебе, к твоим духовным интересам. Я видел, как ты, раскрывая книгу, хмелел от ее содержания, заманившего тебя своей тайной... Кто-то из ваших земных ученых сказал, что философия — это расшифровка мира. Я тебе помогу расшифровать такое, о чем не мечтали ваши победители земных загадок и тайн.

— Выпьем, — сказал я. — Правда, у тебя нечем закусить, как в забегаловке — одни дешевые конфетки. Ну, ладно, выпьем, дольем твой коньячок.

— Не могу. Извини. Завтра на работу. А работа хлопотливая. В магазине переучет. Какой-то недоброжелатель-пенсционер подал заявление, что я прячу для знакомых дефицитные новинки и даже спекулирую редкими изданиями. Но господь с ним, с этим гражданином пенсионного возраста. Ему некуда деть свое время, и он всех в чем-нибудь подозревает. Если бы он знал, кто я такой, он бы умер от подозрений. Но никто не знает, кроме тебя, твоего научного руководителя да этого несчастного фантаста Черноморцева-Островитянина, которому я иногда помогаю вытаскивать каштаны из огня будущего.

— Зачем ты это делаешь?

— Как зачем? Хочу помочь. Да и он нуждается в такого рода помощи. На его скромность можно положиться. Не в его интересах разглашать тайну своего не известного никому соавтора. Это все равно, что рубить сук, на котором сидишь. А он на мне сидит уже много лет. С тех пор, как я появился здесь, на Земле. Иногда он просто печатает под мою диктовку. Печатает быстрее любой самой квалифицированной машинистки. А потом читает вслух текст, словно написал сам.

— Тебе это вряд ли должно импонировать. Читал я его романы.

— И как?

— Замнем этот разговор, Сережа.

— Почему?

— Замнем.

— Нет, ты не увиливай. Я хочу знать правду. Все как сумасшедшие расхваливают книги Черноморцева-Островитянина, написанные по моей подсказке. А ты говоришь, «замнем». Так ли уж это плохо?

Его голос изменился, стал почти просящим:

— Не совсем же безнадежно? Верно, Валя? Другие же пишут куда хуже, но им прощают. Только моему Черноморцеву-Островитянину... Особенно литературные критики...

— Черноморцеву-Островитянину, не тебе.

— Это почти мне. Я же его консультирую. Нет, не хитри, Валя. Выкладывай правду-матку...

— Я тебя не понимаю, Сережа. Ты почти как бог. Ты мог превратить меня в реку и убедить, что это не в самом деле, а только метафора. Но, диктуя этому семидесятилетнему простаку, разве ты не мог подсказать что-нибудь оригинальное, не похожее на других? Разве ты...

— Я старался не выделяться, быть похожим... Это называется скромностью, Валя.

— Дешевка и банальность — это еще не скромность.

Он обиделся на меня. В нем заговорило литераторское самолюбие, в конце концов он был соавтор.

— А гонораром делится с тобой этот облагодетельствованный тобой автор?

— За кого ты меня принимаешь? Мне вполне хватает и той зарплаты, которую я получаю в магазине. Частенько премируют.

— А все-таки, кто ты?

Он рассмеялся.

— Довольно.— Он зевнул и потянулся.— Хочу спать.

— До завтра,— сказал я, вставая.

— До завтра? Нет. Надо повременить несколько днейков. Что-бы ты, Валя, мог себя подготовить.

— К чему?

— К чему? Лучше замнем, употребляя твое милое словечко.

— А все-таки, Сережа?

— Мало ли к чему? К встрече с тем, что на вашей неторопливой и погруженной в обыденность планетке считается невозможным.

Серегин продолжал свой рассказ.

— И эта встреча состоялась. Он, как и в прошлый раз, открыл ящик письменного стола, достал аппаратик, похожий на электрическую бритву, и посмотрел на меня испытующим взглядом исследователя или врача.

— Ничего, Валя,— сказал он.— Ничего. Пустяк. Нечто вроде затянувшегося сеанса двухсерийной картины по сценарию Черноморцева-Островитянина. Выдержишь?

Он рассмеялся.

— Если быть точным, это больше похоже на просмотр материала на киностудии... Но давай приступим к делу.

Грусть охватила меня. Все, что я знал и любил, вдруг отдалилось на тысячу световых лет. Между мной и родиной бездна. Как это бывает только во сне, когда к твоей жизни присоединяется чья-то чужая; я вспоминал с тоской... Там, бесконечно далеко, остались жена и двое детей. И мне никогда не увидиться с ними. Слишком велико и бездонно расстояние.

Доносится музыка. Симфонию исполняет невидимый оркестр: голоса птиц и грохот водопада.

Молодая женщина подходит ко мне.

— Как ты похудел, милый,— говорит она.— Взгляни в зеркало.

Она протягивает мне крошечное ручное зеркало. Оно живое и прозрачное. Маленькое лесное озеро, охваченное рамкой из металла.

Я смотрю, и лицо мое колеблется, отраженное в синей воде этого странного живого зеркала, на дне которого плавают рыбы.

— Кто ты? — спрашиваю я.

— Твоя жена Недригана. А кем стал ты, милый? И как ты умудрился за эти несколько дней забыть меня?

— Я никогда не был женат.

— Вот как? А двое детей, которых ты решил оставить на дне безмерных пространств, собираясь в эту экспедицию, ты о них забыл? Догадываюсь, ты приучаешь себя к мысли, что у тебя нет семьи. Расстояние должно ее отобрать у тебя.

— Я никогда не был женат.

— Значит, ты приучаешь себя к мысли, что ты не вернешься?

— Нет,— ответил я.— Я вернусь.

— Ты вернешься, дорогой. Мы будем ждать тебя годы и десятилетия. Ты должен вернуться.

Я встал и пошел за ней.

На стене висела картина. Я задержался возле нее. Это был кусок живой природы, кусок мира, вставленного в рамку. В раме

шумела роща, бушевали зеленые ветви, охваченные ветром. Я сначала подумал, что смотрю в окно. Но окно дало бы ощущение дали, вырезанной в стене и в живом пространстве природы. А рядом было совсем другое. Роща была здесь, во мне, и рядом, вставленная в раму, как то лесное озеро, в которое я только что смотрелся.

— Ты прощаешься с вещами, милый. Я понимаю. Но почему у тебя нет для меня слов, которые мне захочется вспоминать, когда ты будешь далеко? Ну, скажи что-нибудь!

Я молчал. Сознание безумной утраты охватило меня, словно за возможность участия в экспедиции я расплачивался всем, что было дорого мне, — семьей, обществом, историей, наконец, всей биосферой планеты.

Вот она, биосфера, в раме картины, роща, которую я не смогу захватить с собой.

— Милый, — услышал я, — все эти дни ты был занят подготовкой к исчезновению. Извини, что я так называю экспедицию на далекую планету, где есть нечто сходное с нами и где, по предположениям наших ученых, действительность разумна и разум действителен. Но я почему-то боюсь этого разума, хотя есть и нечто пострашнее — это безмерные пространства, которые поглотят тебя. Дорогой, в нашем распоряжении были годы, но они ушли, и сейчас остались считанные минуты. Хочешь, остановим время, замедлим его течение, чтобы обмануть напряженные чувства? Лучше не надо? Но что же ты молчишь?

Я молчал не от сознания всей драматичности этих минут перед разлукой, которая должна продлиться слишком долго, а от другого — от нелепого сознания, что я здесь посторонний и меня принимают за кого-то.

Потом все это кончилось, оборвалось. Я снова был рядом с Сережей возле стола, где стояла бутылка с коньяком.

— Это было со мной? — спросил я.

— Нет, это было со мной, а не с тобой, Валя.

— А где это было?

— Замнем, Валя. На время замнем. Представь себе, что ты просматривал материалы.

— Фильма?

— Нет, Валя, не фильма, а кусок моей жизни.

Я верил и не верил. И когда Серегин ушел от меня, я почувствовал ревность. Это была нелепая ревность, нелогичная, абсурдная, К кому, к чему я ревновал своего аспиранта? К тому, что его,

а не меня выбрала иная действительность для интимного контакта. Меня же она только поманила, играя изображением, то исчезающим, то появляющимся снова. Меня да еще лейтенанта милиции.

Он оказался легок на помине. Я услышал звонок, а затем голос, что-то объяснявший домработнице Насте.

Настя вызвала меня.

— К вам,— сказала она, и лицо ее выражало уж слишком много чувств.

— Кто?

— Этот,— ответила она.— Из милиции.

Лейтенант стоял в прихожей и опять рассматривал репродукцию с картины Ван Гога «Ночное кафе».

— Любите живопись? — спросил я.

— Интересуюсь.

Я попросил лейтенанта пройти в кабинет, где еще висело облако дыма, оставленное только что ушедшим и беспрерывно курившим Серегиным.

— Извините, если помешал,— сказал лейтенант.— Я все насчет того же. Насчет нарушителя порядка.

— Порядок, насколько понимаю, нарушил я?

— Вы? Нет. Сомневаюсь. Я насчет случая с рисунком. Было это или не было?

— А вы как хотели бы? Было или не было?

— Жизнь не всегда считается с нашими желаниями. Но не в этом дело. Я доложил начальству. А вышло плохо. Не поверили. И направляют на освидетельствование к невропатологу. Ясно? «Переутомился ты, Азденчев», предполагают. Нелишне было бы с вашей стороны подтвердить факт.

— Вам не поверили. Почему, думаете, мне поверят?

— Вы «крупный ученый. Специалист. А мой начальник очень уважает ученых. Это раз. Крупных специалистов. Это два. В-третьих...

— Чего же вы хотите от меня?

— Хочу, чтобы вы зашли к начальнику нашего отделения майору Евграфову Павлу Николаевичу и подтвердили насчет этого рисунка.

— Вы ставите меня в нелегкое положение. Современные люди верят только неопровержимым фактам. А Павел Николаевич и по своему положению не может быть слишком доверчивым.

— Это точно. Но все-таки был хотя бы отчасти этот факт или совсем не был?

— В том-то и дело. Может, ничего не было. Может, нам с вами показалось?

— Допускаю. А дальше что? Значит, мне надо идти к невропатологу?

— А почему бы вам не сходить? Невропатологи самые деликатные из врачей. Самые внимательные...

— А что я ему скажу?

— Расскажите все, как было.

— А если не поверит?

— Дайте ему номер моего телефона.

— А чем это поможет? Одно из двух — он заподозрит, что мы оба больные, или придет к выводу, что это обман. Для меня и то и другое плохо. Я же был на дежурстве. Это раз. Вел дознание. Два.

Я подивился безукоризненной логике лейтенанта милиции Авденчева. Это была логика, опирающаяся на весь земной человеческий опыт. Но кроме земной, существовала и другая логика, о которой лейтенант Авденчев, к сожалению, ничего не знал, впрочем, так же, как и строгий его начальник.

Должен ли я был сообщить майору Евграфову свои сведения? В конечном счете, да. Но не сейчас, а после того, как свяжусь с Президиумом Академии наук. Факт, если это действительно был факт, скорее подведомствен отечественной науке, чем пока еще недостаточно компетентному в естествознании и философии начальнику отделения милиции.

Что же мне сказать Авденчеву, который сидит напротив меня, по ту сторону длинного, типично профессорского стола и ожидает моего ответа.

— Вас не снимут с должности, — спросил я, — не уволят?

— Вполне могут уволить. Врач напишет: либо я больной, либо злой симулянт, обманщик. Одно другого не лучше.

— Врач напишет? Будем надеяться, не напишет.

— Напишет. Что же делать?

— Денька два повременить. Я попытаюсь заинтересовать этим случаем крупных отечественных специалистов, войти в контакт с Академией наук.

— Денька два можно и повременить. Но не больше, — сказал Авденчев, вставая. — Денька два, — повторил он. — Значит, забегу к вам на будущей неделе.

В передней он задержался, о чем-то сосредоточенно думая, и сказал с явным сомнением:

— Денька два. Много за это время воды убежит. И нервы себе испортишь... Ну, до свиданья.

Денька два... Не успеешь оглянуться, а они уже канули в вечность. Тут нужно не денька два, а годика два, а может, и два десятилетия. Ведь речь идет о самом крупном и парадоксальном событии за всю историю человеческого познания.

Обо всем этом подумал я, как только закрылась дверь за лейтенантом милиции Авденчевым. Затем на смену этой мысли пришла другая, мысль о самом Авденчеве. Есть ли у него жена, дети? И как скверно получится, если его уволят, обвинив в симуляции, в злостном обмане.

Казалось бы, эти две мысли были несоизмеримы по своему значению. С одной стороны, интересы всего человечества, интересы отечественной науки, а с другой — судьба лейтенанта милиции, одного из многих.

Но в эту минуту судьба лейтенанта заслонила в моем потревоженном сознании интересы человечества. Я ощутил всю свою вину перед лейтенантом, который отпустил меня, задержанного дружинниками, отпустил, доверившись своей безукоризненной логике, чувству здравого смысла и доводам своего доброго сердца.

Я позвонил Серегину. На мое счастье, он оказался дома. Я попросил его немедленно зайти ко мне и пока ни о чем не спрашивать. Через полчаса Серегин сидел в моем кабинете, окутанный папиросным дымом, и слушал меня.

По выражению его лица, ставшего вдруг настороженно-насмешливым, я понял, что на безукоризненно точных весах своего рассудка он уже все взвесил и знал, что, как ни жаль лейтенанта милиции Авденчева, интересы отечественной науки и человечества все же дороже.

— А что будет с лейтенантом? — спросил я.

— Уволят в запас. Не пропадет. Устроится на другую работу, только и всего.

— Со справкой о психической неполноценности?

— Ну, не устроится здесь, поедет на периферию. Можем ли мы из-за какого-то лейтенанта рисковать контактом земного человечества с представителем иной биосферы, иного Разума?

— Отчего же непременно рисковать? Не понимаю. Разве это помешает контакту, если майор Евграфов, старый опытный работник, узнает, что продавец книжного магазина на Большом Сергей Спиридонов совмещает со своей основной профессией и другое пока не совсем привычное для него дело, но дело честное, отданное разуму и прогрессу? Ведь этот Спиридонов не уголовный преступник, не пьяница, не хулиган. Майор Евграфов разберется и не станет ставить преград.

— Разберется? Вы за это ручаетесь? А сам факт, что, не будучи действительно Спиридоновым и вообще родившись не на Земле, он пока скрывает... И все прочее? Об этом вы подумали?

— Ну, что ж, подумаем вместе с майором Евграфовым. Он современный человек, наверное, поймет и уважит мотивы...

— А если не уважит? Нет, подумайте пока один. А лейтенанту скажите что-нибудь насчет неразгаданных явлений природы. Неразгаданные явления теперь все уважают. С ними посчитаются и в милиции.

— Дело не только в лейтенанте. Не могу же я от всех скрывать этот факт. Интересы общества, интересы отечественной науки.

— Ну, что ж,— сказал Серегин, усмехаясь.— Закажите разговор с Москвой. Свяжитесь с президентом Академии наук или с кем-либо из его заместителей.

— А что? Может, и свяжусь. Это мой гражданский долг.

— Обождите со своим долгом. Можете все испортить. Сережа уже мне много раз говорил, что ему хочется побыть обычным рядовым человеком, поторговать книгами. И что с этим, ну, с контактом, успеется. Не убежит. Он, Сережа, должен себя подготовить и сейчас еще не готов.

— Вы смотрите его глазами. А интересы науки, техники, общества?

— С передовицами вы к нему не суйтесь. С готовыми штампованными словами. Высмеет. Да еще кан!

— Но ему же доверили, поручили. А он себе легкомысленно торгует то лотерейными билетами, то книгами. С точки зрения его к нам пославших, поручивших ему...

— А откуда вы знаете их точку зрения? У них совсем другие понятия, другой порядок. Они, по-видимому, не торопятся. Не спешат. И рез послали, наверное, доверяют.

18

Телефонный звонок прервал наш разговор.

Сняв трубку и назвав свое имя, я услышал необычайно любезный, даже чуточку акрадчивый голос:

— Ради бога, извините. Поистине глобальные обстоятельства вынудили меня прервать этим телефонным звонком ваши глубокие размышления, а может, и исследования в области семиотики и истории знаковых систем. Да, обстоятельства воистину глобальные...

— Кто говорит со мной? — прервал я могучий поток слов.

— Черноморцев-Островитянин.

— Чем обязан? — спросил я.

— Обстоятельствам глобального масштаба. Только весьма серь-

езные причины могли вынудить меня прорваться сквозь ваши размышления, бесцеремненно нарушить ваш покой.

— В чем же, собственно, дело?

— Мне необходимо с вами повидаться.

— Ну, что ж. Заходите вечером. Я буду дома.

Я не сказал Серегину, кто мне звонил. Но он, по-видимому, догадался.

— У Сережи в последнее время неважное настроение,— сказал он.

— Это почему?

— Конфликт с научным фантастом, С Черноморцевым-Островитянином. А он, Сережа, к такого рода размолкам не привык. Не то что у них там, на их планете нет никаких конфликтов. Сколько угодно. Но там все не так. И размолки там другие. Это не Черноморцев-Островитянин вам сейчас звонил?

— Как вы догадались?

— Скорее интуитивно. Я как раз в эту минуту о нем думал. Я немножко побаиваюсь его.

— А что он может вам сделать?

— Не мне. Сереже. Намекает ему, что больше не может скрывать от общественности и науки такой глобальный факт. Глобальный... Это любимое его слово.

— А какая ему выгода? Ведь этот... Диккенс... Ну, не Диккенс, Сережа ему помогает. Не то консультирует, не то даже соавторствует...

— Отказался. Категорически отказался. И у Черноморцева-Островитянина сразу же начался творческий застой, неудачи...

— Почему же отказался?

— Я его убедил.

— Не следовало этого делать... Вмешиваться в чужие дела. И вот теперь расхлебывайте. Тут дело посерьезнее, чем с лейтенантом Авденчевым.

— Теперь уже поздно об этом говорить. Дело сделано.

— А нельзя ли как-нибудь выправить положение? Уговорить Сережу, убедить его, что не время входить в конфликт с фантастом, что нужно повременить.

— Да разве он согласится! У него совсем другой внутренний мир, совсем другая логика. Он не признает никаких компромиссов не только со своей совестью, но даже с желаниями. Он поступает так, как подсказывает ему его логика.

— Но раньше-то он помогал Островитянину, консультировал его?

— Раньше. Но не теперь. Теперь он не хочет.

— Скажите, вы имеете на него какое-нибудь влияние?

— Мы с ним друзья. Настоящие большие друзья. И, кроме того, нас связывает вместе нечто особое и, если употребить любимое словечко этого красноречивого фантаста, нечто глобальное. При Сереже я так не сказал бы. Сережа терпеть не может громких слов. Его девиз — скромность.

— Скромность? Ну, что же, это не так уж плохо. Скромного, тихого человека всегда легче убедить или переубедить. Убедить его, что Черноморцева-Островитянина нельзя бросать в беде. Черноморцев делает полезное дело, прививает юношеству любовь к знаниям, к полету фантазии и мечты.

— Бросьте. Ваш Черноморцев-Островитянин заурядный беллетрист. Для него самое важное — тиражи. Из-за тиражей он и занимается фантастикой.

— Поверьте, это несправедливо. Он любит свое дело. Любит. И нельзя его винить, что он нуждается в консультации, нельзя оставлять его без консультанта.

— Пусть консультируется у кого-нибудь из ученых.

— Это не то. Его преимущество и состоит в том, что он консультировался у Сережи. А Сережа на самом деле не Сережа, а тот... Я вполне понимаю страдания Черноморцева. Даже Уэллс и тот не имел возможности посоветоваться с кем-нибудь вроде Сережи.

— Ну, и что? Уэллс все равно писал лучше, чем этот Черноморцев-Островитянин. Но будет о нем. Непонятно. Мне надо идти. Меня Сережа ждет. Мы с ним условились.

И Серегин исчез, даже не простившись.

19

Придя вечером ко мне, Черноморцев-Островитянин сразу же заявил, что он приехал на такси и такси его ожидает у ворот дома.

— Что ж, — сказал я, — я вас не задержу.

— Зато я вас задержу, — сказал фантаст. — У меня к вам глобальных масштабов дело.

— Так сначала отпустите такси.

— Нет, не отпущу. Пусть ждет. Это моя привычка. Я люблю, чтобы меня ждали. Одно сознание, что меня никто нигде не ожидает, может привести меня в полное отчаяние. Я всегда опаздываю. Хочу, чтобы меня везде ждали. Но сам я не люблю ждать. И потому пришел к вам.

— Не понимаю.

— Сейчас объясню. У вас есть аспирант по фамилии Серегин?

— Есть. Он только что был у меня и ушел незадолго до вашего прихода.

— Отлично. Великолепно. Этот ваш аспирант занимается семиотикой, изучением знаков?

— Да. На будущий год будет защищать диссертацию.

— Отрадно. Превосходно. Значит, вы его научный руководитель?

— Да.

— Отлично. Но вам не мешало бы знать о некоторых весьма существенных особенностях вашего подопечного.

— Какие же это особенности?

— Не очень отрадные, скажем прямо.

— Точнее?

— Он авантюрист.

— Осторожнее. Я не люблю, когда о моих знакомых...

— Понимаю. Но он не только авантюрист, он еще и глупец. Легковерная личность. Представьте, он поверил в совершенно невероятную, нелепую, невозможную вещь, что Сергей Спиридонов, продавец в книжном магазине на Петроградской стороне, ни больше ни меньше как пришелец... Представитель инопланетного Разума. Не смешно ли, а?

— До смеха ли тут. А на самом деле кто он?

— Мой воспитанник. Я взял его из детского дома. Возился с ним. Учил его языкам. Хорошим манерам. Потом он заболел, сразу после того, как кончил школу. Редкий случай. Представьте, вообразил себя представителем инопланетной цивилизации. Необыкновенно мощное воображение. Феноменальные телепатические способности. Ясновидение. И, кроме того, глобальное умение внушать себе и другим.

— А вы не пробовали эксплуатировать эти глобальные способности.

— Эксплуатировать? Ну, зачем же так прямолинейно и несправедливо? Иногда советовался. Разве это возбраняется? Почти сын. Воспитанник. Ужасно любит книги. Но вернемся к вашему аспиранту. У него есть какие-то свои цели. Пока о них можно только гадать. Но он настраивает Сережу против меня. Поверьте, я этого не потерплю. На моей стороне право...

— А чтобы вы хотели от меня?

— Хотел, чтобы вы немедленно вмешались, пресекли.

— Но он же аспирант, не школьник, поймите. Через год кандидат наук. Как я могу вмешиваться в его личные отношения с этим Сережей?

— Тогда я буду вынужден обратиться за защитой к прессе. У меня мировая известность. Думаю, ни вам, ни вашему подопечному не будет кстати фельетон... Громкая огласка. Вашего интригана выведут на чистую воду.

— За что? За то, что ему не очень нравятся ваши романы? Никак не могу понять, в чем его преступление?

— Фельетонист это сумеет объяснить лучше меня. Извините.— Он посмотрел на часы.— Меня ждет такси.

В голосе его опять слышались приятные мягкие нотки.

— Извините. Только поистине глобальные обстоятельства вынудили меня оторвать вас от ваших дел. Надеюсь, вы объясните вашему легковерному аспиранту, что он ошибается. Сережа родился от земных родителей. От зем-ных. Понимаете? Даже слишком земных, как выяснилось в детдоме, когда я брал его на воспитание.

— А что его заставило внушить себе...

— Что?

Собравшийся уже уходить писатель снова сел в кресло.

— Буду до конца откровенен с вами, хотя не знаю, заслуживаете ли вы моей откровенности. На Сережино сознание очень подействовала обстановка моего дома. Духовная атмосфера. Все эти мысленные соприкосновения с космосом, с Вселенной. И, конечно, мои книги, к которым он пристрастился, учась в школе.

— Может, вам не следовало брать его из детдома?

— Этот вопрос я не намерен обсуждать с вами. Он вас не касается.

Гость поднялся с кресла.

— Извините. Убегаю. Убегаю с надеждой, что вы разъясните вашему аспиранту. Мой приемный сын Сережа болен... Выражаясь словами поэта «прекрасно болен». Его болезнь позволяет ему творить почти чудеса. Но все же это болезнь, хоть и прекрасная болезнь. Разве можно об этом забывать? Я вам позвоню. Непременно позвоню.

Он оглянулся, усмехаясь:

— А вы ждите, ждите моего звонка. А? Теперь будете ждать? Волноваться? Я знаю. Так уж устроен у людей внутренний механизм. И не теряйте, пожалуйста, из-под ног реальную почву, как ваш склонный к внушению аспирант. Сережа зем-ной человек, хотя и похож чем-то на князя Мышкина. Но он зем-ной. Понимаете? Зем-ной. И родился где-то здесь, на Петроградской стороне. Рядом с вами.

Рассказывая Серегину о визите фантаста, я попытался передать и черноморцеско-островитянскую интонацию, всю ту энергию и страсть, которые вкладывал в слово зем-ной этот любитель всего потустороннего и внеземного.

Я следил за выражением лица своего аспиранта. Оно менялось, становилось все мрачнее. И было так неожиданно, когда он вдруг весело рассмеялся.

— И вы поверили ему? — спросил он. — Поверили?

— Очень бы хотелось не верить. Очень! Но, согласитесь, на его стороне все-таки здравый смысл. Я ведь все время боролся с собой. Я сомневался даже в те минуты, когда изображение, играя с моей логикой в nepзпозволительную игру, то появлялось, то исчезало на страницах черноморцевской книги. А он все объяснил.

— Все? Все объяснил? А он не рассказывал вам, почему у него сейчас творческий кризис?

— Нет, о кризисе он не упоминал. Да и согласитесь сами, кризис со всяким может случиться. А Черноморцев на восьмом десятке. Он и на отдых право имеет.

— Ну, хорошо. Допустим, я соглашусь с вами, а заодно и с ним. Сережа действительно внушил себе, а теперь внушает нам. Но откуда у него такие огромные знания? Откуда он знает то, чего не знает земной опыт, современная наука? Что же, по-вашему, он ловкий фокусник, немножко ясновидец, немножко гипнотизер?

— Все же в это поверить легче, чем в то, в другое, во что верят только дети, начитавшиеся фантастических романов. Да и Черноморцеву-Островитянину какой смысл скрывать?

— Какой смысл. Да самый простой. Превыше всего на свете он ценит себя и свои собственные сочинения. Сережа для него клад, истинный клад. Представьте себе Уэллса, получившего возможность консультироваться с марсианином...

— Представляю, хотя и с трудом. И что же, Уэллс, войдя в сомнительную сделку с инопланетцем, стал бы скрывать...

— Но ведь это же не Уэллс. Это Черноморцев-Островитянин. Большая разница.

— Кое-какая разница, конечно, есть. Но все равно поверить в то, что Сережа ясновидец и телепат, а не инопланетец, в тысячу раз легче. Ведь преодолеть тысячи световых лет...

— Ну, и что ж, — перебил меня Серегин, — ведь не вы преодолели и не ваша слишком любознательная домработница, а Сережа. Понимаете, Се-ре-жа! Говорите, фантаст запугивает фельетоном? Не боюсь я фельетона. С одной стороны, фельетом, а с другой... Он вдруг замолчал, словно забыв обо мне.

— А с другой? — спросил я.

— Вы сами знаете, что с другой.

— А доказательства где?

— Доказательства? А разве их было мало? А то, что я был рекой, а вы видели свое детство?

— Это не доказательства.

— Ладно. Поговорим лучше о чем-нибудь другом. Ну, как дела у вашего лейтенанта милиции?

— У Авдеичева? Все в порядке. Невропатолог посоветовал взять отпуск и отдохнуть где-нибудь в деревне. Майор отпустил. Был милостив. Дал совет не читать фантастических романов, особенно тех, которые действуют на нервную систему. И Авдеичев укатил к сестре в колхоз. Вчера приходил прощаться. Вам бы тоже следовало взять пример с этого лейтенанта, немножко отдохнуть, подлечить нервы.

Забегая вперед, я должен сказать, что Серегин послушался моего совета, уехал в Пушкинские горы вместе с Сережей, взявшим отпуск. Очень уж хотелось Сереже побывать в пушкинских местах, а тут подвернулась возможность.

Но в тот раз мой аспирант не показал и виду, что у него нервы не в порядке. И даже обиделся на мое предложение. Ушел как провалившийся на экзамене.

В дверях обернулся и сказал:

— Не ожидал я этого от вас.

Признаюсь, его слова меня смутили. Естественно, я был склонен, как и каждый человек, скорее поверить в факт, в обыденный и легко согласующийся с логикой факт, чем в чудо. И все-таки что-то во мне боролось, сопротивляясь очевидности. Минут сорок я ходил по комнате взад и вперед из угла в угол. Затем надел пальто и вышел на улицу. Что-то тянуло меня туда, в книжный магазин на Большой проспект.

В книжном магазине в этот час было много посетителей. Я остановился недалеко от кассы в углу и оглянулся. Сережа, как всегда, был на своем месте за прилавком. Он сбрил бороду и усы и теперь был похож уже не на Диккенса и не на Чехова, а на обычного современного молодого человека из интеллигентной семьи.

Я смотрел на него, словно надеясь сквозь его теперь уже обычную внешность разглядеть нечто несбыточное, не имеющее корней на этой привычной для наших чувств планете. Но что-то мешало мне. Не хватало остроты восприятия, как после бессонной ночи, когда смотришь в окно и пытаешься соединить куски вдруг распавшегося на части мира. Я видел Сережины руки, завертывающие книгу, его длинное узкое интеллигентное лицо, необычайно помолодевшее без бороды, его плечи и на этот раз подстриженную нулевой голову, но я не мог собрать в целое эти части распавшегося образа.

Я стоял и смотрел. Он поднял голову и увидел меня. И вдруг его образ, образ современного молодого человека, слился с тем

представлением о нем, которое было в моем сознании до беседы с фантастом. Всю обыденность повседневного словно сдуло ветром.

Это был уже не Сережа Спиридонов, а тот, другой, которого послало сюда Неведомое.

21

Черноморцев-Островитянин хотя и заставил ожидать себя, но все же позвонил. Он позвонил в два часа ночи, словно обстоятельства требовали этого ночного звонка.

Нет, обстоятельства не требовали.

— А вы знаете, — сказал он, — а вы знаете, куда уехал Сережа?

— Знаю. В Пушкинские горы. Вместе со своим приятелем, моим аспирантом. Я получил от него довольно милую открытку.

— А почему именно в Пушкинские горы? Почему?

— Красивые места, связанные с памятью великого поэта...

— Оставьте ваши банальности. Красивые места... Оставьте!

В голосе фантаста слышалось сильное раздражение. Очевидно, Пушкинские горы его устраивали еще меньше, чем всякое другое место.

— А фельетончик в работе, — услышал я. — Фельетончик. Злая, остроумная статейка. Внешний и внутренний портрет вашего аспирантика. Портрет, имеющий разительное сходство с оригиналом. Он должен появиться в «Вечерке» не позже, чем в конце будущей недели. Вряд ли он доставит большое удовольствие вам и администрации вашего института. Вряд ли.

Я повесил трубку.

Снова раздался нетерпеливый звонок. Я снял трубку и снова повесил.

Снова раздался звонок. Я снова снял трубку, но уже не стал вешать.

— Извините, — услышал я. — Нас разъединили. Ужасное чувство. Между тобой и собеседником кто-то уже поставил глухую стену. Вы слышите меня? Вы слышите? Не принимайте мои слова слишком близко к сердцу. Фельетона не будет. Я пошутил. Но поймите меня, поймите. У меня отбирают сына. Поймите... Поставьте себя на мое место.

— Я не пишу фантастических романов.

— Это не важно. Вы занимаетесь тоже не совсем обычным делом. Вы пытаетесь отделить от человека его язык и посмотреть со стороны. Что такое семиотика? Изучение коммуникаций с помощью знаков? Мой Сережа, соединяя себя с собеседником, может обходиться без знаков. Ему не нужны коммуникации. Он сливает свое я с любым ты без помощи языка. Его телепатические возможности

безграничны. Да, он феномен. Зем-ной феномен. Зем-ной. Хорошо-енько вдумайтесь в его необыкновенные способности. Для них не существует ни времени, ни пространства. Не подумайте, что я кантианец, считающий пространство и время субъективными категориями. Я материалист! Материалист. Диалектик! Но мы очень мало знаем о времени, а еще меньше о телепатической связи. Может, Сережа и действительно имеет контакт с иной цивилизацией. Но он зем-ной. Я не уступлю! Я его воспитал! Здесь, на Земле, в этом городе. У него есть адрес и паспорт. Он прописан. Но не только пропиской и паспортом он связан с Землей. Не только. Поймите! Теперь он уехал. Ваш аспирантик увез его в Пушкинские горы. Это неспроста.

— Не понимаю,— перебил я фантаста,— какую опасность могут представлять Пушкинские горы для человека, который продает книги?

— Он слишком впечатлителен! И кроме того... Нет, я кое-что должен утаить. Еще не пришло время. До свиданья! Еще не пришло!

Теперь не я, а он повесил трубку. И я был этому рад.

Наступила тишина, покой. И я был рад этой тишине, покою. Я писал для толстого журнала статью о Жане Франсуа Шампольоне, дешифровавшем древнеегипетскую письменность.

Перед моим мысленным взором возник человек, заставивший говорить онемевшее прошлое.

Я писал о том, как приоткрылась завеса и мы смогли почувствовать во всем трепете живой конкретности давно уже мертвый мир.

В глухих застывших знаках было спрятано величие и страсть: «Я дивлюсь тебе. Я простираю власть твою и ужас перед тобой на все страны, страх перед тобой до пределов небес».

22

Письмо из Пушкинских гор от моего аспиранта Серегина — это обрывок сновидения, подклеенный к куску киноленты.

Валя писал о своем друге Сереже так невнятно и загадочно, что я с трудом пробирался сквозь чащу слов к смыслу, к странной, незнакомой, веземной логике, которая снова затеяла игру с Серегиним, а через него и со мной.

По словам моего аспиранта, Сережа сетовал, что он опоздал. Ему необходимо было встретиться с Пушкиным или с Хлебниковым. Но когда он прилетел на Землю, ни того, ни другого уже не было в живых. Ошибка в подсчетах, крошечная неточность, мимолетная задержка, а тут, на Земле, уже время утекло и одна эпоха

сменила другую. Какая ему теперь разница — опоздал ли на час или на целое столетие. Время утекло, и то, что утрачено, почти не поддается возвращению.

Почему с Пушкиным и почему с Хлебниковым? Почему не с Ламарком, не с Винером, не с Эйнштейном?

Сережа объяснил своему приятелю Вале, а сейчас Валя, мой аспирант, объяснял мне, посвятив этому три страницы своего пространного письма.

Мне объяснили то, что я не способен был понять.

Я напрягал все душевные силы, чтобы почувствовать смысл того явления, о котором писал мне Валя. Он писал, что Хлебников был голосом рек и лесов, что посредством него с нами разговаривала сама природа.

Но ведь это было только красивое выражение, только метафора. Так думал я, но Валя и Сережа представляли это иначе.

Меня удивляло и другое — то, что Валя научился думать так, как мыслил его удивительный приятель.

Но вернемся к письму, которое сейчас лежит передо мной на письменном столе и манит в глубину невятного и нерасшифрованного, не переведенного на язык нашей, земной логики.

В письме были пропуски, по-видимому, Валя не мог или не хотел сказать всего, чего требовала беспощадная ясность мысли.

«— О чем бы ты стал беседовать с Пушкиным, если бы не опоздал на сто тридцать лет!

Сережа не ответил на мой вопрос.

Тогда я сказал ему, что Пушкин, несмотря на свой гигантский ум, не был подготовлен к разговору с представителем внеземной биосферы. Ведь он жил в первой половине XIX столетия, когда не было космических ракет и бешенство ядерной энергии пребывало в покое, как джинн в закупоренной бутылке.

Он снова промолчал, словно не слышал моего замечания.

Да, между нами стояла глухая стена, и я уже стал жалеть, что приехал с ним в эти края.

Сережа ходил погруженный в себя и вдруг прислушивался к чему-то не слышному мне, долетавшему до его обостренного слуха.

В тот день, о котором идет речь, мы вышли на прогулку.

Сережа всматривался с таким видом, словно он уже бывал здесь когда-то. Он тихо и задумчиво читал:

Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.

Когда мы возвратились, он вдруг спросил меня:

— Хочешь почувствовать это?

- Что? — спросил я.
- На лице его играла усмешка.
- Не спрашивай, что. Хочешь?
- Хочу, — ответил я тихо.

А потом вдруг и сразу я почувствовал себя берегом реки и березовой рощей, и Пушкин был тут, рядом. Я слышал его шаги и голос, повторявший:

Шла, шла. И вдруг перед собою
С холма господский видит дом,
Селенье, рощу под холмом
И сад над светлою рекою.

Он был тут, и мгновенье струилось, как воды.

Его шаги на тропе, и прикосновение легкой пушкинской руки к березовому стволу, и я уже не думал о том, кто я — роща или слова поэмы, вобравшей в себя лето и окрестности и небо над водой вместе с синим облаком и речной рябью, или крыло ласточки.

Прикосновение легкой пушкинской руки — и шаги стали удаляться. А потом все вдруг оборвалось...

— Ты слышал его? — спросил тихо Сережа.

— Слышал.

— Ты слышал не его. Да и как ты мог его слышать? Это заговорила роща.

— Не все ли равно, — сказал я.

23

«Всякий раз, говоря о Пушкине, Сережа вдруг переходил на шепот, словно поэт был рядом и мог услышать, что о нем говорят.

Ощущение, что далекое прошлое тут, рядом с нами, пьянило меня, как глубины океана, и я погружался в это удивительное состояние, не чувствуя под ногами дна. Вокруг меня и во мне, как в море, шумело время, то убегая вперед, то возвращаясь...

Догадка мелькнула, на мгновение ярко осветив этот мрак неизвестного, но это было только предположение, которое я пока ничем не могу подтвердить.

Человек обладает памятью, хранящей личное прошлое, прошитое, опыт. Сережа не человек. Он завершение иной эволюции, другой, не земной, неведомой нам биосферы. Эволюция дала ему загадочную и чудесную способность проникать сквозь волны времени.

Я пытался узнать хоть что-то об этом особом видении у самого

Сереежи, но он всякий раз начинал шутить и смеяться и говорить о том, что каждый поэт и художник обладает этой способностью.

Я напоминал ему, что наш диалог начался, мы посредники и что за все существование Земли, возможно, не было более значительного разговора, чем наш. Тогда он начинал смеяться еще громче и дурачиться, как школьник во время перемены. И он делал это неспроста, желая посеять во мне сомнение. Он хотел, чтобы я думал, что он заурядный сотрудник Книготорга в Ждановском районе, самый обычный гражданин, как нельзя больше довольный своей земной биографией и своей работой, мечтающий только об одном — благополучно дожить до пенсионного возраста...

Удалось ли ему посеять во мне сомнение? Разумеется, нет. Чем больше он дурачился, чем больше прятался за спину своей земной профессии, тем больше убеждался я в его вневременном прошлом.

Никто не догадывался, что тот, кого я называл Сереежей, был достоин внимания не меньше, чем любой знаменитый артист. Все считали его самым заурядным парнем на свете, и особенно туристы и туристки, прибывшие в Пушкинские горы, подчиняясь спортивному азарту и желанию умножить свои впечатления.

Никто из них не догадывался, что Сереежа тоже был своего рода рекордсмен, но рекордсмен до беспредельности скромный, не рассказывающий никому о своем затяжном прыжке, вобравшем в свою орбиту сначала солнечную систему, а затем и эти во всех отношениях замечательные места, где некогда жил великий поэт.

Но даже и такому существу, как Сереежа, казалось бы, лишеному начисто наших земных недостатков, не чуждо было нечто человеческое. И вот, поддавшись соблазну, он совершил поистине легкомысленный поступок, не достойный той великой миссии, которую он здесь выполнял. Сереежа помог одной обремененной скукой туристке, не слишком молодой, но чрезвычайно молодящейся и жаждущей сильных ощущений, превратиться в облако, немножко повисеть над полями и рекой, а потом благополучно спуститься с неба на землю, уже окутанную вечерним сумраком, спуститься, словно на парашюте.

Факт не удалось скрыть от наблюдательных глаз. Многие нашли странным облако, имевшее вполне определенную фигуру довольно объемистой женщины.

Зачем это сделал неосторожный Сереежа? Туристка, сначала немножко поскромничав, в конце концов призналась, что это была она. Вот нам и приходится спешно сматывать удочки, чтобы избежать вопросов, на которые трудно ответить».

Я только успел дочитать письмо своего аспиранта, как раздался телефонный звонок.

Голос Черноморцева-Островитянина на этот раз был необычайно мягок и даже лиричен. Волна теплоты и ласки хлынула на меня из телефонной трубки.

— Коллега,— назвал он меня.

— Просните,— прервал я его,— я не пишу фантастических романов и не намерен и впредь...

— Коллега,— повторил он,— не будем вдаваться в ненужные тонкости. Я тоже не всегда писал романы и не всегда буду их писать. Сейчас я мечтаю об отдыхе. Хочу собрать материал для одной небольшой вещицы на тему, близкую к теории знаковых систем, к семиотике. В душе рассчитываю на ваше любезное содействие, на скромную помощь, на небольшую консультацию.

— У вас же есть консультант.

— Кто?

— Сережа.

— Этот невежда? Бывший продавец лотерейных билетов? Да вы смеетесь? К тому же он занимается непозволительным делом. Волшебничает. Разводит разные суеверия и мрак. Это в наш-то век! Рано или поздно его привлекут к ответственности. Его и его покровителей из Книготорга. Доверить такой духовно незрелой личности работу с книгой. Вы молчите? Молчите? Выскажите свое мнение! Желая знать ваше кредо.

Я повесил трубку.

— Нас разъединили, коллега,— услышал я.— И это не первый раз.

Я снова повесил трубку и вышел на кухню сварить кофе.

Телефон продолжал трещать.

Настырность фантаста, его напористость оказались сильнее меня. И вот, забегая на несколько дней вперед, я должен признать, что взял на себя неблагоприятную роль и стал консультировать человека, который не внушал мне особой симпатии. У меня не хватило характера отказать, а может, и ввело в соблазн чувство, сомнительное, впрочем, чувство, сознание, что я должен заменить Сережу, самого необычного из всех советников и консультантов, какие когда-либо существовали на Земле.

Черноморцев-Островитянин в благодарность подарил мне все написанные им книги. И вот я сижу и читаю их, пытаюсь найти следы Сережиного участия.

Увы, все эти многочисленные романы, повести и рассказы не стали мостом, соединяющим земную и хорошо известную нам действительность с той сферой, которую хранила Сережина память. В чем дело? Я не мог себе этого объяснить и не сумею объяснить вам. Это тоже было своего рода загадкой. Может, слишком земным, а следовательно, и приземленным был талант нашего знаме-

нитого фантаста, не сумевшего слить свой слишком здешний и знакомый всем голос с тем нездешним и незнакомым, чьим представителем является субъект, спрятавший свое сверхобычное существо за обыденной внешностью сотрудника Ленкингторга.

Нельзя сказать, чтобы фантаст не делал никаких попыток объять своей земной мыслью нечто особенное и выходящее за сферу нашего обыденного опыта. Наоборот, он все время уносился мыслью далеко за пределы нашей солнечной системы, но только одной мыслью, сердцем же и всеми своими земными чувствами оставался дома, в своей комфортабельной квартире, с ее привычным и давно обжитым миром. Короче говоря, в Черноморцеве-Островитянине было слишком много от бойкого беллетриста и слишком мало от подлинного художника. Традиционная и во многом обветшавшая система наивного приключенческого романа не в состоянии была схватить и передать сложную сущность зрелого Сережиного опыта, голосом которого с нами пыталась заговорить биосфера и история загадочной планеты, чья цивилизация сумела доставить Сережу сюда, развременив время и развещество пространство, сжав до отказа главную пружину бытия.

Передо мной был пустой сосуд, раскрывшаяся ладонь, которая держала нечто, но не сумела удержать. Книги Черноморцева-Островитянина напоминали капкан, из которого только убежала добыча, не тронув приманку.

И я закрыл эти книги с досадой и положил их на полку...

24

Серегин был чем-то встревожен. Он сидел напротив меня у окна, нервно курил и сосредоточенно о чем-то думал.

— Расстроили угрозы фантаста? — спросил я. — Думаете, он в самом деле подымает шум?

— Нет, он, как тот, про кого сказал Толстой. Пугает, а нам не страшно. Я тревожусь за Сережу.

— А что с ним? Болен?

— Да. Притом странная болезнь. Изменился, пополнел, стал как будто ниже ростом. Так переменялся, что не может даже пойти на работу.

— Неважно себя чувствует?

— Наоборот. Чувствует себя отлично.

— Отлично? Так почему же он не может пойти на работу?

— Пойти-то он может. Служивцы не узнают. Директор. Покупатели. Я же говорю, он сильно изменился.

— Постарел?

— Нет, просто стал совсем другим человеком. Боюсь, что это даже не признают за болезнь. Не дадут бюллетень. Не положат в больницу. Не окажут необходимой помощи.

— А что, собственно, произошло?

— Почти ничего. Пустяк.

— А все-таки?

— Вы видели когда-нибудь портрет знаменитого французского писателя Ги де Мопассана?

— Видел!

— Так вот он теперь вылитый Мопассан. Черные усы. Густая речь. Румянец. Понимаете? Теперь он Мопассан.

— Как же быть? — спросил я.

— Вот я и пришел к вам посоветоваться. Такая проблемка мне одному не по плечу.

— Но почему, как это случилось?

— Не знаю.

— А сам Сережа? Сам-то он чем-нибудь объясняет?

— Сережа? Да ведь его нет. Ведь он сейчас не он, а Ги де Мопассан, знаменитый французский писатель.

— Вообразил себя?

— Не вообразил, а превратился. Румянец. Усы. Южные манеры. И полное сознание, что он в девятнадцатом веке. Все это было бы полбеды, если бы вокруг в самом деле был девятнадцатый век. Просто не знаю, как быть. Его невозможно одного пустить на улицу. А главное, никому ничего невозможно объяснить — ни соседям, ни управхозу, ни даже вам.

— А как он будет жить?

— Откуда я знаю? Надеюсь, что он снова превратится в Сережу.

— Не надо никому ничего говорить. Давайте держать в секрете.

— Нельзя скрыть от всех человека, да еще такого экспансивного, полного жизни. Я сейчас боюсь, чтоб он не вышел на улицу. Он обожает гребной спорт. Мечтает покататься на лодке.

— Ну и пусть катается. Это полезно. А главное, несложно. Недалеко от вас Острова. Сведите на Елагин. Там много лодочных станций.

Серегин с сомнением посмотрел на меня.

— В залог оставляют паспорт.

— А разве у Сережи нет паспорта?

— Есть. Разумеется, есть. Но там на фотокарточке Сережа, а не Ги де Мопассан.

— Совсем нет никакого сходства?

— Ни малейшего.

— Да,— согласился я.— Действительно неразрешимая проблема. А нельзя ли как-нибудь изменить наружность. Побрить усы? Соответствующим образом одеться? Прибегнуть к гриму?

— Попробуйте-ка его убедить. Не хочет. Не видит причин, почему он должен скрывать от всех свое честное имя.

— А вы не пытались ему внушить, что он не Мопассан, что это ошибка, недоразумение?

— Пытался. Не получается. Поверили бы вы мне, если бы я стал вам толковать, что вы не вы, а кто-то другой?

— Но я не другой. Я это я.

— У него тоже нет никаких причин думать, что он не Мопассан. Даже зеркало и то это подтверждает. Иногда я и сам думаю, что он Мопассан, что произошел какой-то сдвиг в ходе времени и что Сережа попал в девятнадцатый век, а поменявшийся с ним комнатой Мопассан оказался здесь, на его месте. Эта догадка мелькнула у меня вчера, когда знаменитый французский писатель стал рассказывать мне о фантастической новелле, которую собирается писать... Путаница, алогизм, беспорядок похуже, чем с тем рисунком, который то появлялся, то исчезал. Есть еще одна гипотеза, которая вам может показаться сумасшедшей.

— Какая? Выкладывайте.

— Иногда я думаю, что Сережа продолжает беседу, найдя для этого способ, который нам кажется странным. Но что мы знаем о способах их информации? Наши человеческие символы и знаки, слова, буквы — это модель бытия, способ его отражения. Законы их мышления, по-видимому, слишком своеобразны. Может, потому Сережа и не спешит войти в контакт с земным человечеством, может, он ищет пути, играя таким образом со мной, с вами?

— А с ним это случилось раньше?

— Что?

— Превращался ли он до этого в кого-нибудь?

— Да. Всего один раз. Черноморцев-Островитянин достал ему путевку и отправил в санаторий. Там отдыхали научные работники, философы. И он не нашел ничего лучшего, взял и превратился в Спинозу.

— В Спинозу?

— Да, в Спинозу.

— Это я еще могу понять. Ведь вокруг были научные работники, философы. И никто из них не протестовал?

— Были и протесты. Но фантаст все уладил.

— А для чего он стал Мопассаном?

— Не знаю.

— Почему именно Мопассаном? Почему не Виктором Гюго, не Александром Дюма, не Тургеневым или Флобером?

— Не знаю. Ничего не знаю. Знаю только одно, что это было бы ничем не лучше. Вчера во второй половине дня, когда я отлучился в булочную и задержался, из книжного магазина, где работает Сережа, пришла девушка-продащица справиться о его самочувствии. Звонит, стучится, дверь открывает Мопассан, знаменитый французский писатель. Увидев классика, узнав его, девушка растерялась.

Встретив меня возле дома, она спросила, кто ей открывал дверь и где Сережа? Когда я ей сказал, что дверь открывал сосед, на ее лице появилась недоверчивая улыбка. «Вылитый Мопассан, — сказала она, — как на портрете». Боюсь, как бы девушка не влюбилась в него. Жизнерадостен и обаятелен. Все это, конечно, пустяки. Но как быть дальше?

Я не сумел найти ответ на этот вопрос. Впрочем, на него ответила сама жизнь.

25

Как же ответила жизнь на вопрос моего аспиранта? А очень просто. К Ги де Мопассану, знаменитому французскому писателю, все стали понемножку привыкать. Соседи. Прохожие. Работники лодочной станции на Елагином острове. Контролерши в кинотеатрах «Молния» и «Свет», куда Мопассан зачастил, желая ликвидировать свое отставание. Только в Эрмитаже на него немножко косились после того, как он заявил, что знал лично многих французских художников, живших в XIX веке и согласно земным законам сменивших временное бытие на долговечную отлучку.

Все очень полюбили знаменитого писателя. Правда, большинство предполагало, что это только случайное сходство, подарок оговорившейся природы.

Мопассану тоже все и все нравилось. Особенно Елагин остров, куда он ежедневно уходил заниматься гребным спортом.

Продолжалось это не больше двух недель. А потом знаменитый французский писатель исчез, вернулся в свое собственное, отведенное ему судьбой столетие, а на его месте снова оказался Сережа.

Мой аспирант немедленно меня об этом уведомил по телефону.

Телефон был не в полной исправности. Плохая слышимость мешала мне понять, как произошла эта подмена, в присутствии ли аспиранта или в те часы, которые он проводил в публичной библиотеке, делая выписки для будущей диссертации.

Вечером Серегин пришел ко мне, и я смог узнать подробности.

— Как же это все-таки произошло?

— Сам не отдаю себе отчета. Мопассан вышел в ванную принять душ. Минут двадцать не было, сорок. Я стал беспокоиться и заглянул. Смотрю, вместо него стоит Сережа и растирает себе спину махровым полотенцем.

«А где Мопассан,— спрашиваю я его,— где знаменитый французский писатель!» — «Как где? — удивился Сережа.— У себя во Франции, в своем XIX веке». — «Нет этого ничего,— говорю.— Был XIX век, да давно кончился». А Сережа уже иронически прищурился. Смотрит на меня, как студент физмата, пытающийся объяснить какому-то болвану сущность броуновского движения. «Деятнадцатый век кончился? То есть как это кончился? Совсем? Исчез? Ладно, хватит этих басен». Я ему: «Но объективные законы времени...» Он мне: «Что вы знаете о времени и его законах, вы, вы, жители неолита?» Меня это даже удивило и расстроило. Раньше, до этого прискорбного случая с Мопассаном, он был скромнее и никогда не смотрел свысока на наш земной опыт, на нашу науку. А тут он обидел всю нашу современную цивилизацию. Обозвал нас неолитом! Как вам это нравится?

— А что он теперь собирается делать? — спросил я у Серегина.

— Кто? Мопассан? Откуда я знаю. Мопассана нет. Все меня спрашивают о нем. Интересуются. Все его полюбили. Соседи. Жильцы из дома напротив. В гастрономе, в булочной, в парикмахерской. Такой приятный и сердечный человек.

— Я спрашиваю не о Мопассане, а о Сереже.

— О Сереже что спрашивать? Принял душ, побрился и пошел на работу.

Вот что услышал я от своего аспиранта.

Когда он кончил свой рассказ, изображая себя, Ги де Мопассана и Сережу в лицах, я спросил его:

— Ну, а как подвигается диссертация? Смотрите, сроки подходят. Не подведите меня, своего научного руководителя.

— Не подведу. А если немножко и задержусь, есть уважительная причина.

— Какая?

— Ги де Мопассан, знаменитый французский писатель. Не мог же я его оставить одного в коммунальной квартире. На улицах неуютно. Троллейбусы, автобусы, машины. Ни одной лошади. Ни одного извозчика. И эти светофоры. Они его очень раздражали. Однажды он чуть не угодил под машину.

— А что тогда было бы?

— Не знаю. Не хочу думать. Ведь все сошло благополучно. Сейчас он там, у себя, в своем тихом застенчивом веке. Отдыхает.

Катается на лодке... Но я задержал вас. До свиданья. Бегу в публичку.

На другой день утром я зашел в книжный магазин на Большом проспекте. Сережа стоял на своем обычном месте.

— Здравствуйте,— сказал я.

— Приветик,— ответил он.

— Что нового?

— Да ничего особенного. Однотомник великого французского писателя Мопассана. Отличное издание. С иллюстрациями Рудакова. И с портретом автора на веленовой бумаге. Может, хотите посмотреть?

— Покажите.

Он достал книгу с полки, раскрыл ее и показал портрет.

Я почувствовал что-то вроде легкого головокружения. Земля поплыла из-под ног. Это был Ги де Мопассан и в то же время не был. Какое-то неуловимое сходство с Сережей напоминало о том, что рассказывал мне вчера мой аспирант.

Я взглянул еще раз, и мне показалось, что знаменитый писатель подмигивает мне с портрета.

— Это не Мопассан,— сказал я.

— Вы думаете?

Сережа закрыл книгу и поставил ее на полку.

— Вам бы следовало остепениться,— сказал я.

— Вы думаете? — спросил он.

— Непозволительно. Легкомысленно. Глупо.

— Вы находите?

— Стыдно! — сказала я и, хлопнув дверью, вышел из магазина.

26

С диссертацией у Серегина не очень-то ладилось. Отрывок, который он мне показал, привел меня в тихий ужас.

Вместо того чтобы ограничиться довольно обширным материалом, взятым из истории культуры и теории знаков, он стал рассказывать о планете Ин.

Я живо представил себе выражение лиц будущих оппонентов и отзыв, начинающийся примерно такими словами: «Вероятно, произошла ошибка по вине ли машинистки или самого соискателя степени кандидата наук. В диссертацию случайно вклеился кусок из научно-фантастического романа...»

— Это не научная работа,— сказал я Серегину.

— А что?

— Вымысел. Беляетристика. Нелепая сказка.

— Какой же это вымысел? Ведь за основу взяты строго проверенные факты.

— А кто их проверял? Лейтенант милиции Авдеев? Та дамочка, которую ваш Сережа якобы превратил в облако и поднял над лесом? И кто вам поверит?

— Поверят не мне, а Сереже.

— Сереже? А кто такой Сережа? Бывший продавец лотерейных билетов, нынешний сотрудник Ленкинготорга?

— Не только. Кроме того, он...

— Допустим. Даже вопреки здравому смыслу. Но при чем тут вы и ваша диссертация?

— Посредством моей диссертации он и хочет вступить в контакт с человеческой цивилизацией, начать, наконец, диалог двух Разумов, земного и инопланетного. Это не моя идея, эта идея принадлежит самому Сереже. И он настаивает. Категорически настаивает.

— Это для чего же? Уж не для того ли, чтобы помочь вам стать кандидатом наук? Но если Сережа действительно посланец оттуда, то вас и академиком сделать будет мало.

— Вы, кажется, смеетесь?

— Хотел бы последовать совету Спинозы — не смеяться, не плакать, а только понимать. Но разум отказывает, чувства. Вы что же защиту кандидатской диссертации хотите превратить в мировое событие? А о результатах вы подумали?

— Обо всем думал. И сто раз говорил «нет». Но Сережа настаивает. Это его мысль. И он не хочет от нее отказаться.

— Не понимаю. Ни вас, ни его. Вам же это в конечном счете невыгодно. Все члены ученого совета воспримут это как полное отсутствие скромности, как ловкий трюк и погоню за сенсацией. Накидают черных шариков.

— Помилуйте, какая же это сенсация? Это событие. Переворот в науке. Небывалый в истории планеты обмен информацией. Плохого же вы мнения о своих коллегах. Вы заблуждаетесь.

— Нисколько. Поставьте себя на мое место. Мы живем не в мире чудес, а в мире обыденных академических фактов. Никто из членов ученого совета не подготовлен к восприятию этого странного феномена. Вас обвинят в лженаучной махинации, и вашего Сережу отправят на экспертизу. А потом в каком-нибудь научно-популярном журнале, вроде «Техника — молодежи» или «Знание — сила», начнется дискуссия, как о Розе Кулешовой. Одни будут говорить, что ваш Сережа телепат с уникальной психической организацией, а другие, что он шарлатан и фокусник...

— Но вы-то отлично знаете, что он не шарлатан, не фокусник и даже не телепат.

— В том-то и дело, что не знаю. Да и он сам не дает себя узнать. Ведет себя самым недопустимым образом.

— Что вы имеете в виду?

— Все... Сначала помогал этому фантасту Черноморцеву-Островитянину писать его космические романы, а сейчас помогает вам делать вашу диссертацию. Уж лучше бы остался при своем фантаста. Нет, я этого не могу допустить.

— Что не можете допустить?

— Чтобы в вашу диссертацию проникла вся эта сомнительная игра со здравым смыслом.

— Вы это окончательно? — спросил Серегин. — Или еще подумаете?

— Хорошо, — сказал я. — На неделю отложу свой ответ. Надеюсь, что вы сами взвесите все «за» и «против» и откажетесь от своего странного намерения.

Неделя прошла.

Она прошла в сомнениях, в бессоннице, в конфликте с самим собой. Я высоко ценил способности аспиранта Серегина, удивлялся его энтузиазму, энергии, оригинальному складу его характера и ума. Но всему есть границы. Чувство реальности, здравый смысл не позволяли мне согласиться на этот рискованный и нелепый эксперимент...

27

В этот раз Сережа торговал книгами под открытым небом на легком столике-раскладушке возле памятника Добролюбову.

— Мне надо с вами поговорить, — сказал я.

— Сейчас я на работе. И не имею права заниматься посторонними разговорами.

— Хорошо. Я обожду. Посижу в сквере.

Ждать мне пришлось около часа.

Сережа тихо подошел ко мне и сел рядом. Лицо его уже не казалось строгим и холодным, а приняло добродушно-обыденное выражение.

— Ну, что там у вас? Выкладывайте.

— Вы что ж? — спросил я. — Решили помочь моему аспиранту написать диссертацию?

— А почему бы и нет? — сказал Сережа и усмехнулся.

Я тоже усмехнулся и сказал:

— К сожалению, он хочет превратить защиту обычной кандидатской диссертации в мировое событие.

— Не он хочет, — поправил меня Сережа. — Я.

— И с какой целью?

- Дело тут не в цели, а скорее в характере.
- Я знаю характер своего аспиранта.
- Дело не в его характере, а в моем.
- Какое отношение ваш характер имеет к его диссертации?

Не понимаю.

— Сейчас объясню. Не могу же я прийти в Академию наук или в редакцию газеты и сказать, что я пришел поделиться с человечеством своим опытом.

— А что, собственно, вам мешает? Если вам есть что сказать человечеству, то как раз туда и следует обратиться.

— Я бы обратился, но как-то неловко. Боюсь шумихи. Глядишь, еще и почести окажут, как представителю внеземной цивилизации. А мне этого не надо. Я этого не люблю. А фотокорреспонденты способны навести на меня ужас.

— Этого не избежишь,— сказал я.

— А я все-таки постараюсь избежать. Фотокорреспонденты не ходят на защиту кандидатских диссертаций. Все это пройдет без шума, без огласки, как явление довольно обычное. Вы понимаете мою мысль?

— Признаюсь, не совсем.

— Я хочу остаться в тени, пожить, как живут рабочие, служащие, учителя, районные врачи. Мне нравятся эти люди. Я не выношу всяких сенсаций и не хочу выделяться.

— А ваша миссия? — спросил я.

— То-то и оно. Я и без того откладывал беседу с человечеством. Но сколько же можно тянуть? Время здесь у вас, на Земле, спешит так же, как у нас. Но есть и другая причина. Личная. Серегин мой друг. Я хочу ему помочь. Он этого, в конце концов, заслуживает. Вы, кажется, не согласны?

— Не согласен.

— Напрасно. Я постараюсь вас убедить. Ваш аспирант, как никто на Земле, ждал этого разговора, этого контакта. И он его дождался. Он будет посредником. Он этого достоин. А потом во всем этом деле мне нравится и другое.

— Что?

— Обыденность. Простота. Отсутствие всякой парадности. Защита кандидатской диссертации. А идея не совсем обычная, далекая от трафарета. Контакт между двумя цивилизациями — земной и внеземной. И не только гипотеза, а факт.

— Факт? — спросил я. — Но где ж?

— Здесь,— ответил он тихо.— Рядом с вами. На скамейке. Вам этого недостаточно?

— Дело ведь не только в моей придиричивости. Там будут и другие члены Ученого Совета. Среди них есть и мои недруги,

недоброжелатели моего аспиранта. Он немножко заносчив. Не умеет скрыть свою эрудицию. И насмешлив, насмешлив выше всякой меры. Предлагаю осложнения.

— Напрасно. Я ведь буду там и все улажу.

— При помощи телепатии и гипноза?

— Зачем? При помощи трезвых фактов, которые я им тут же предъявляю. Они поймут, кто я, откуда и с какой целью.

— Вы думаете, поймут?

— А вы?

— Я думаю, не все. Николаичев наверняка не поймет, а Хорошко... Есть у нас такой... Хотя и поймет, но притворится, что не понял.

— Перед очевидными фактами и им придется склонить голову.

— Не знаю. Не уверен. В свое время не склонили же головы перед генетикой, хотя у генетиков тоже были факты.

— Время было другое.

— Нет,— сказал я,— советую вам избрать более естественный путь для этого контакта. Не любите сенсации, шумиху? А я, думаете, люблю? Потому и не допущу, что это противоречит научной этике.

— Не будьте слишком категоричным.

— Вы называете это категоричностью?

— А что это?

— Принципиальность.

— Принципиальность? Вот не думал.

Сергея встал.

— Извините. Обеденный перерыв на исходе, а мне еще закусь надо, забежать в буфет. Если не возражаете, я к вам зайду. Продолжим наш разговор.

28

И разговор был продолжен.

— Я знаю,— сказал Сергей тихо,— вы не верите, что я оттуда.

— Не верю.

— Это хорошо, что вы не верите.

— А что же в этом хорошего?

— Все! Все хорошо. И я этим удовлетворен...

Сергей встал и задумчиво прошелся по кабинету.

— Я не похож на пришельца,— продолжал он,— а похож на обычного служащего, живущего на сто рублей в месяц и в коммунальной квартире. Потому-то вы и не верите.

— И не только потому...

74

— А почему?

— Жизнь — редкое явление во Вселенной, согласитесь, а разум еще реже. Как вы попали сюда?

— Не спешите. Все узнаете.

— Когда?

— Скоро. Когда ваш аспирант закончит свою диссертацию.

— А до того, как он закончит, нельзя узнать?

— Нельзя.

— Почему?

— Мы так условились. А я свое слово сдержу. На этот вопрос я пока не отвечаю. Но можете задавать другие.

— Расскажите что-нибудь о своей цивилизации, только так, чтобы это было похоже на правду, а не на романы Черноморцева-Островитянина.

— Но ведь наша правда может быть не похожей на вашу. И у меня нет гарантии, что вы мне поверите.

— Ладно,— сказал я.— Рассказывайте.

— А что, собственно, рассказывать? Почти все вы знаете из научно-фантастических романов. Ну, научились управлять гравитационными волнами. И давненько. Еще когда у вас на Земле был палеолит. Ну, заселили соседние планеты, предварительно создав там биосферу и наладив климат. Ну научились замедлять время... Установили контакт с кое-какими цивилизациями. Для этого пришлось искривить время и пространство, не думайте, это далось не легко. Чуть не перевернули вверх ногами Вселенную.

Он зевнул, стыдливо прикрыл рот ладонью.

— Все, что я вам рассказываю, такие зады, такая древняя история, что самому скучно, как историку в средней школе. А вы уже и уши развесили? Мы изобрели аппарат, воссоздающий бытие, вещи. И это тоже не новинка. Вот вы видите меня. А у вас не возникла мысль, что, может, меня здесь нет, что я там? Здесь же мое отражение, воссоздающее себя! Об этом, кажется, не писали ваши фантасты? Впрочем, может, и писали. Всего не перечитаешь. И вот я скажу по секрету, что я совсем не похож на того Сережу, что продает книги. Вы только видите меня таким.

— А на самом деле? — спросил я.

— Замнем. Может, я чудовище с рогом вместо носа? Или минотавр? Не верите? Мне ничего не стоит выбрать себе любую наружность. Но я не хочу вас пугать. Зачем? Я выбираю себе наружность тех, кого уже давно нет. Некоторые считают, что это нескромно. Но было ли бы скромнее, если бы я вдруг стал похож на вас? Каждый считает себя неповторимым. И сходство, слишком буквальное сходство с кем-то посторонним оскорбляет, ущемляет чувство собственного достоинства. Вам не наскучила моя лекция?

Не знаю, что еще вам поведать. Поймите, действительность, которая меня сюда послала, слишком пластична. История и прогресс сделали каждого из нас богом, который лепит себя и все окружающее. Потому-то мне так и хочется побыть в обыденности. Она еще сохранилась на Земле. Ее изображал милый Чехов, самый глубокий и скромный из земных писателей. Я перед ним в долгу, как перед учителем.

— А как вам удалось войти в контакт с Чеховым?

— Очень просто. Взял и прочел все, что он написал. Я понял, что обыденность в сущности великая вещь. И наша цивилизация, сделав нас богами, лишила нас существенного...

— Чего?

— Многого. А главное, простоты... Мне немножко надоело быть богом. Захотелось пожить в менее пластичном мире, в мире, где нет еще средств для искривления времени и пространства, для сжатия пружины бытия, для кодирования вещей и организмов, для умения воссоздавать ненужное и нужное, в том числе и себя самого. Я понимаю, это временная слабость, духовное недомогание, возможно, ошибка. Эту ошибку я исправлю во время защиты диссертации вашим аспирантом. А потом вернусь в свой мир. Закондируюсь и отправлю себя, как телеграмму.

Сереза грустно посмотрел на меня, словно уже прощался с Землей.

— Ну, как, верите или не верите?

— Верю. Да! Но не в такой степени, чтобы ввести это в диссертацию аспиранта. Нет, это не пройдет. Во всяком случае в нашем институте. Пусть попытается в другом месте. Может, что-нибудь и выйдет?

29

На этом не кончился наш несколько затянувшийся разговор.

Сереза еще несколько раз забежал ко мне, убеждал, просил, рассказывал разные подробности о пластичном мире своей цивилизации и каждый раз снова возвращался к любимой теме.

— Так у вас что же,— спросил я,— так ее начисто и нет, обыденности-то?

— Была когда-то, но кончилась. Не помню уж, в каком веке. В средней школе проходили, запоматывал.

— А как же без нее? Не совсем себе представляю. Ведь любовь к обыденности — это любовь к знакомому, к известному, к тому, что стало привычным. Вы что же, там у себя ни к чему не привыкаете, что ли?

— А к чему, собственно, привыкать? Все слишком подвижно, пластично. А главное, каждый все может. Каждый — бог.

— Бог?

— Да нет, не пугайтесь. Не бог, а вроде. Бога не существует, это я, разумеется, знаю. Даже кибернетического бога нет, того, который якобы придумал молекулярную запись, биологический код, зашифрованный и спрятанный от всех план.

— А откуда вам это известно?

— Откуда? Смешно. Я же книгами торговал. Распространял антирелигиозные издания. То, о чем я сейчас вам толкую, — только метафора.

— Ну, а скучно не бывало?

— Здесь у вас, на Петроградской стороне, или там?

— Там.

— Случалось что-то вроде. Но редко. Впрочем, не уверен. А что такое скука?

— Скука? Ну, чувство, что ли, такое, когда тебе начинает казаться, что тебе тысяча лет с гаком и что ты уже все на свете видел.

— Нет, этого не испытывал. Наоборот, мне всегда казалось, что я только что родился, хотя живу на свете... Ну да, завтра мне исполнится три годика...

— Три годика?

— Не три годика, а триста три. Детский возраст. Но в паспорте цифра куда скромнее, чтобы не пугать Татьяну Ивановну, нашу паспортистку, или девушку, которая согласится пойти со мной в загс... Впрочем, вряд ли. Кто захочет выйти за минотавра?

— А разве вы минотавр?

— Как говорит ваш Серегин, замнем. Я немножко проговорился. Ну, даже если и минотавр. Вам все равно не заметить. Важно, кем я тут являюсь, а сущность... Замнем.

— Там, я слышал от Серегина, остались жене и двое ребятшек?

— Остались. Ну, и что ж? Может, мне туда и не добраться. Дела здесь задержат. Обстоятельства.

— А почему вы говорите, что вы минотавр?

— Замнем. Не будем углубляться в дебри. Да и античная мифология мне нравится... Жалко, что не застал древних греков. Опоздал почти на три тысячи лет. Да, Впрочем, и сейчас у вас неплохо. Хочется пожить в менее пластичном мире, где еще не сняты с человека все заботы. Да, черт подери! Забыл за газ и за электричество уплатить. Какой уже день ношу в кармане счет.

Сережино лицо стало озабоченным.

— Пустяки, — сказал я. — Ну, пени несколько копеек удержат. Вы же не улетаете к себе?

— Характер покою не дает. Я немножко педант. Но рассеян. Минотавру всегда труднее.

— Почему?

— Половина — земная, половина — тамошняя. Два мира, два опыта в себе ношу. Два ноши на одной спине. Думаете, легко?

— Не думаю.

Сергея посмотрел на меня и вдруг, сконфузившись, спросил:

— Заслуживаете вы откровенности?

— Об этом не меня надо спрашивать.

— Ну, ладно расскажу. Дело в том, что Сергеев уговаривает меня поменаться...

— Чем?

— Ну, судьбой, что ли. Обстоятельствами жизни.

— Как это? Не понимаю.

— Очень просто. Хочет, чтобы я остался здесь, а его закодировал вместо себя и отправил туда.

— Зачем?

— Хочет побывать в пластичном мире.

— Этично ли это?

— А вам как кажется?

— Мне кажется, что это не совсем этично. У вас там семья. Да и вообще, что за обмен? И кроме того, если он собирается исчезнуть, и, вероятно, надолго, если не навсегда, то зачем хлопотать о своей диссертации, добиваться защиты? Там, наверное, не имеет существенного значения, кандидат ли он наук или обычный смертный.

— Дело тут тонкое, не простое. Самолюбив. Кроме того, он считает, что это своего рода экзамен. А если сказать всю правду, боится, что я так и не войду в контакт с человечеством.

— Почему?

— Характер такой. Излишняя скромность, временами переходящая в застенчивость. Нелюбовь к сенсациям, к газетной шумихе. Странная привычка быть всегда в тени.

— Ну, а сами вы как? Готовы поменаться с ним или нет?

— Еще не решил. Но вернемся к делу. Так поддержите вы Сергеева?

— Нет, — ответил я. — Пусть защищает в другом месте и с другим руководителем. Я в своих убеждениях тверд и научной этике не изменю.

Минотавр — один из образов критской мифологии. Это полу-человек-полубык, которого, согласно древней легенде, царь Минос заключил в лабиринт, построенный афинским художником Дедалом.

Но тут не афинский художник Дедал, а сама действительность построила что-то вроде лабиринта, в котором запутала меня и мою логику, мое врожденное чувство здравого смысла, связывающего мой опыт с опытом всего человечества.

Единственный выход из лабиринта — это остаться верным научной этике и не допустить защиту диссертации на соискание кандидатской степени, диссертация, которая вошла бы в противоречие с опытом всех поколений, живших до меня.

Верил ли я в то, что Сережа был посланцем неизвестного, но вполне реального, хотя и безмерно далекого мира?

И верил и не верил.

Между мной и аспирантом Серегиним произошел разрыв.

Я постарался забыть обо всем, что тревожило меня в течение этого странного года, и, когда проходил мимо книжного магазина на Большом проспекте, убыстрял шаги.

Чувство тоски по неведомому манило меня в этот магазин, но каждый раз я оказывался сильнее самого себя и проходил мимо.

Увлеченный работой (писал научно-популярную книгу «Культура и знаки»), я стал все реже и реже думать об удивительных обстоятельствах, игравших недавно со мной в сомнительную и загадочную игру. Но извещение на четвертой странице «Вечернего Ленинграда» вдруг толкнуло меня в лабиринт, из которого, как еще недавно казалось мне, я с трудом выбрался.

«28 мая,— прочел я,— на филологическом факультете Ленинградского университета В. В. Серегин защищает диссертацию на соискание степени кандидата наук «Языкознание космоса». Оппонентами выступают профессор Минотавр и доктор исторических наук Дедал».

Дочитав извещение, я испытал то же самое чувство, как когда увидел свое изображение на странице научно-фантастического романа. Газету я купил на Невском, когда собирался перейти Садовую подземным переходом.

«Необходимо повидаться с Сережей»,— подумал я. И в ту же минуту увидел его. Он сидел в подземном переходе за раскладным столиком и продавал книги и лотерейные билеты.

— Это же не лабиринт,— сказал я ему,— созданный афинским художником Дедалом, а подземный переход.

И показал объявление, напечатанное в «Вечерке».

— Придете на защиту? — спросил Сережа.

— Нет. Не приду.

— Купите лотерейный билет!

Я купил лотерейный билет и спросил:

— А что же дальше?

— Завтра в восемь часов вечера включите телевизор. И вы убедитесь, что на этот билет вы выиграли мир.

31

В тот самый час я включил телевизор.

Показывали обыденную сценку из академической жизни — защиту диссертации на соискание кандидатской степени.

Я уже хотел сменить программу, как вдруг узнал своего бывшего аспиранта Серегина. Он стоял на трибуне и негромко, но внушительно объяснял членам Ученого Совета и всем присутствующим:

— Их логика, их видение мира соответствуют их среде. Миф? В какой-то мере да. Но миф, созданный не воображением, не фантазией, а властью над законами природы... Мой уважаемый оппонент профессор Минотавр разрешил мне продемонстрировать фрагменты фильма, доставленные на Землю... Механик, потушите, пожалуйста, свет.

И в то же мгновение на экране телевизора возникло лицо женщины, глядящей в ручное зеркало. Охваченное круглой рамкой, в руке у женщины было прозрачное озеро с рыбами, плавающими на дне.

Затем возникла стена с картиной. В раме был живой лес, шумели деревья, колеблемые сильным ветром.

Голос не диктора, а Серегина продолжал:

— Мой уважаемый оппонент профессор Минотавр расскажет вам о биосфере этой удивительной планеты, о пластичности этого созданного заново мира, а я ограничусь кратким изложением темы, которой посвящена моя диссертация «Языкознание космоса».

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ

Карусель в подземелье

Свеча горела на столе, свеча горела. Или, скорее, лампа; но что-то горело, был мягкий, милый свет и теплые, уютные тени лежали в углах, сгустились под потолком, корешки книг мерцали за полированными стеклами, тишина неуловимо звенела за окном, живая тишина, полная дыхания спящих людей, сотен и тысяч, и мысли вязались, легко, без нажима, без усилия укладывались в коро-

бочки, склеенные из слов, в коробочки фраз; мысль со всех сторон обливалась словами, как начинка — шоколадной оболочкой. Планета Земля вращалась, кружилась балериной в прозрачной газовой накидке — и из всего этого сама собой, исподволь, возникала картина: кто-то, невыразимо прекрасный, шел навстречу, раскинув руки для объятия, солнце вставало у него за спиной, и роса вспыхивала искрами на тяжелых, налитых яблоках, а счастье радугой выгибалось в небе, тугое, чуть звенящее от напряжения; так или почти так должна была выглядеть предстоящая раньше или позже, но несомненно предстоящая встреча с иным Разумом, иным Добром, иным Счастьем — если только Разум, Добро и Счастье вообще могут быть иными: вода везде остается водой, и железо — везде железом, могут разниться примеси, но основа остается неизменной. Это будет прекрасно, но пока встреча эта не совершилась, даже думать, мечтать о ней и воображать ее было хорошо. Ах, как все было славно, как ладно: лампа на гибком чешуйчатом хоботке, белая до голубизны бумага, чистая — на столе слева, а исписанная — справа. Вот как было, и сейчас могло быть. Так за каким же чертом понадобилось...

— Нет, так мы никуда не придем, — сказал Савельев. Прерывая мысли спутника, голос его, налитый раздражением, мгновенно затух; стены, пол, потолок всосали его как воду — пересохшая губка, треснувшая земля, песчаный бархан. До Уварова звук дошел, как сквозь вату, и он протянул руку и коснулся Савельева, чтобы поверить, что соратник рядом, но тот понял движение иначе:

— Да нет, я не волнуюсь. Просто подумалось: идем ли мы? Или попали в какую-то фата-моргану?

Отчего ж не подумать и так; что угодно могло прийти в голову в путанице туннелей, коридоров, лазов, где каждую секунду казалось, что ты — в самом центре паутины, и во все стороны от тебя разбегаются ходы, вверх и вниз уходят колодцы, а по диагоналям, полого — уклоны; но проходила еще минута — и получалось, что вот он, настоящий центр, вокруг которого и завязан весь узел. Однако новый луч фонаря прямо вперед — уже маячил там. Проще было решить, что центр все время передвигается вместе с идущими; тут всякое могло почудиться.

— Долго идем? — среагировал Уваров на этот савельевский всплеск.

— Час сорок семь.

— Прошли километров пять, пять с половиной, — прикинул Уваров. — А углубились, как думаешь, насколько?

— Судя по уклону, метров на пятьсот.

— Через тринадцать минут остановимся, будем думать.

Так решил Уваров, потому что из двоих он был старшим и больше знающим.

Снова потекло беспокойное молчание. Говорить было трудно; рации отказали бесповоротно — стоило включить, и в телефонах раздавался скрежет, визг, курлыканье, вой разогнавшегося мотора, пронзительный голос сверчка, плач детей или крик весенних кошек, чье-то бесконечное «ау-ау-ау» и — через каждые две секунды — удовлетворенное басистое утробное «ух!». Магнитное поле расшались несмышленым ребенком, голос идущего рядом человека не доходил, увязал, рассыпался, частички его разлетались, и можно было лишь свирепеть, пытаясь найти и не находя свободной щелочки в стандартном наборе частот. Рации нет, рации были ни к чему.

Переговариваться, не открывая шлемов, не удавалось: прокладки костюмов гасили звук, костюмам не полагалось пропускать звук извне, и они честно не пропускали. Так что пришлось открыть шлемы и дышать через аварийный загубник, придуманный специально на случай разгерметизации: конструкторы-то были умны, весьма, весьма. Однако с загубником во рту не поболтаешь: вынь загубник, выговори, что успеешь, и хватай воздух снова, не мешкая. Фразы по этой причине порой звучали странно, начинались и кончались не там, где требовала мысль, а где позволяло дыхание.

Медленно проходили тринадцать минут, остававшиеся до двух ровно часов, когда решено все обдумать. Именно двух? Магия круглых чисел велика. Или просто так считать удобнее, и лишних сложностей мы не любим... Пусть так, но еще не успели рассосаться эти минуты, как впереди, в бесконечности лабиринта, стало вроде бы светлее; замерцало, словно вестник недалекого рассвета уже взлетел на розоватых перепончатых крыльях. Теплым было мерцание, зовущим, сулящим доброе. И оба невольно ускорили шаги, спеша туда, где хоть одной способностью человеческой, бесценной, незаменимой — зрением — можно будет napользоваться до отказа. И там, где, сменив мрак, как бы наступили розовые сумерки, люди остановились и принялись смотреть, чтобы понять, что же это было такое, чем они вот уже два часа пробирались, — после того, как спустились в узкую воронку, единственную, вызывавшую какие-то надежды; после того, как с великим трудом посадили и с тщанием укрепили свою капсулу в хоть сколько-то подходящем месте, нечаянно и странно возникшем среди первозданного, остервенелого хаоса, какой представляла собой поверхность планеты (откуда-то из этого района был получен вдруг сигнал «Омега» о помощи); после того, как капсула всласть покружилась над планетой в поисках корабля или его останков и не нашла ничего, кроме этого вот места, где хотя бы предположительно

могли уцелеть люди; после того, как капсула с двумя людьми стартовала с борта «Омикрона», корабля Дальней разведки, шедшего в паре с «Омегой» в этот район, где несколько раньше беспилотными зондами были перехвачены сигналы, которые при желании можно было интерпретировать и как сигналы Разума. Надежды такого рода, правда, рассыпались в пыль при первом же взгляде на небесное тело.

И вот теперь двое стояли в подземелье, всматриваясь. Источника света не было; светился сам воздух — впрочем, не воздух, конечно; что же — атмосфера? И ее здесь, если говорить строго, не было, потому что в одном из этих эллинских корней заключено понятие дыхания, а дышать тут было как раз невозможно, хотя ядовитой для глаз или кожи среда не была — это люди почувствовали бы сразу. Смесь нейтральных газов, вернее всего, и люди сделали зарубку в памяти, отметив, что для аварийной посадки, не говоря уж о колонизации, планета вряд ли годилась. Пробы газа в баллончиках, накрепко закупоренных, уже покоились в сумках, но это потом — там, наверху, где свет, где люди, где «Омикрон» нависает петлю за петлей, не рискуя опуститься на щетинистую, хрупкую, как червею источенную поверхность, чтобы, прожигая ее жаром выхлопов, а затем продавив немалым своим весом, не ухнуть, не загреметь, не углубиться в тартарары. Итак, светился газ; но уж свет-то оставался светом, частота его была такой, какой видит земное око, истосковавшееся по голубому и зеленому. Смотреть можно было досыта, смотреть и укрепляться духом, потому что, когда видно, уже не очень страшно — так устроен обитатель Земли. И даже на столь отдаленную планету привозит он с собой свои свойства, привычки и комплексы.

Теперь можно было окинуть взглядом все вокруг сущее. Туннель с его притоками, входами и выходами, истоками и устьями; такое и не снилось творцу лабиринта на Крите, а если даже снилось, то он потом привнес в это свою, пусть искаженную, пусть ненормальную, но все же логику, ибо был человеком, а человек и в алогичности своей последователен...

«Однако, ахх, ахх, пффффиууу, в безумии этом, изуу — ухх! аххххх, есть своя система!» — донеслось смутно, как если бы кто-то из дальней комнаты проговорил, не повышая голоса, сквозь шум льющейся в ванной воды, сквозь скрежет расстроенного приемника. Уваров, не отлекаясь от идеи, машинально кивнул, забыв удивиться тому, что мысль его, не высказанная вроде бы вслух, уловлена партнером и тот отозвался Шекспиром, чтобы, наверное, ощутить кусочек земного, незыблемого, надежного — для успокоения души. Савельев, впрочем, синхронно кивнул тоже; все прошло взаимно незамеченным, не помешав мыслям продолжиться.

Да, здесь не было логики, ибо не было творца, не было отпечатка личности, акта самовыражения: словно какая-то машина случайных чисел спроектировала этот глубинный трехмерный многоярусный лабиринт. Действуя здесь компас, люди поняли бы, что уже трижды, а то и четырежды пересекали свой след, каждый раз все ниже и в то же время были от входа дальше по числу пройденных метров, чем даже думали, — однако нет, тут нельзя сказать «в то же время», поскольку времена как раз и были разными у них и у лабиринта, где брошенное семя, едва успев упасть, тут же, на глазах, поднялось бы в полный рост, зазеленело и покрылось плодами и уронило бы их наземь и зацвело бы снова, а они бы еще только раскрывали рот, чтобы произнести звук удивления; сути времени нам пока что постичь не дано, то, что мы о нем сейчас думаем, есть лишь теория трех китов в череде космогонических гипотез, до Галилея Времени — еще века; а уж постигнув его суть, мы перестанем быть людьми и станем чем-то большим, а чем — нам опять-таки пока знать не под силу, и это, скорее всего, к лучшему.

Туннель был хорош, и с определенной точки зрения им можно было даже залюбоваться: природа в диком состоянии, еще не ощутившая ни малейшего влияния разума, не несущая никаких его отпечатков. Разум, как известно, не только приспосабливается к природе, но и стремится приспособить ее к себе — и часто зря, ибо он не абсолютен (о чем часто забывают) и часто проламывает стену, чтобы выйти, вместо того чтобы поискать и найти дверь... Тут были ходы неправильного, меняющегося сечения, с выступами и углублениями тоже классически неправильных форм, сложенные из однообразной, пористой, словно пемза или пенопласт, крошившейся в пальцах субстанции, уплотнявшейся под ступнями, так что следы оставались на ней, словно на молодом снегу, чуть подмороженном, но еще не покрывшемся чешуей наста. Была порода эта на ощупь влажной, и воздух, или газ, и он казался коже влажным, хотя ничто не текло, не капало, не было сталактитов и сталагмитов; не было, конечно, и настенной росписи, которую всегда ищет взгляд в земных пещерах: не тот материал, да и кто стал бы расписывать тут стены? Разум нужен для этого, но он начинает не с росписей, а тут не то что росписей не было, но ни малейшего следа, пусть самого слабого, условного, прочерченного, прорисованного, протоптанного — свидетельства о том, что здесь проходили те, кого искали и ради кого брели сейчас два разведчика с «Омикрона», о том, что не зря берегли они воздух, слова и выдержку. Тут этого не было.

— Ничего, — урюмо сказал Савельев и снова заткнул себе рот трубкой.

— Но сигнал-то был? Ошибка исключена. И если мы на удив-

ление удачно, и оказался же вход! — Уваров передохнул. — Просто мы не в ту, может быть, сторону пошли?.. Но здесь они! Ни одной другой планеты нет в поле зрения!

«Ушшашшффуу — уиррр, сели мы на удивление хорошо, аф-аф-аф мммммм, но здесь они — пффф!».

— Да, — кивнули Уваров с Савельевым одновременно и, погруженные в мысли, снова не заметили, что сказали это оба враз.

Еще постояли молча. Розоватый свет стал медленно меняться, какие-то желтоватые, лимонные, зеленоватые оттенки возникали, исчезали и возникали снова — не постепенно, а как бы толчками; свет то почти совсем желтел, и становилось, как в осенней роще в солнечный день, то даже зеленел, словно возвращалось вопреки календарю лето, потом розовое снова заполняло все углы. Яркость при этом не менялась, только цвета переходили один в другой.

— Почему этот свет, как думаешь? — спросил Уваров.

— Свечение газа. Не чувствуешь? Покалывает кожу.

— Да. Электричество. Газ заряжен.

— Все кругом заряжено. Раньше этого не было.

— Нет. Это не опасно?

— Пока, наверное, нет.

— Значит, надо идти дальше?

— Если бы какой-нибудь след. Малейший бы признак, что они здесь. Но если они ждут в другом месте? А мы теряем время? Не прощу себе.

— И все же идем. Если бы человек останавливался в момент сомнения, он до сих пор питался бы червяками.

— Ты прав, может быть...

«Но тут уже начинается новая история, история постепенного обновления человека...»

— Что ты? — переспросил Уваров.

— Я говорю: ты прав, может быть...

— Больше ничего?

— Не понял.

— Больше ты ничего не сказал?

— Ни слова. Наоборот, мне показалось...

— Ясно. Думаю, надо еще продвинуться вперед. Там, кажется, свечение усиливается. Может быть, что-нибудь увидим.

Реплики были неторопливыми, словно люди старались показать друг другу, что им не страшно. Свет все еще изменялся, но уже медленно и незначительно, колеблясь вокруг нового, светло-зеленого цвета. Будто какое-то нужное качество было уже найдено и совершались лишь затухающие движения вокруг него; газ тихо потрескивал, наливаясь напряжением. Надо было двигаться, но что-то заставляло людей медлить, словно здесь и находилось то,

к чему они так стремились. И они продолжали разговаривать, как если бы беседа служила оправданием бездействию, и старались поверить в нужность и значительность своих слов.

— Уваров, что толку искать их здесь? Где их нет и быть не может? Скажи честно: ты и не рассчитываешь. Найти их. Мечтаешь найти следы чужого разума. Думаешь, никто не понимает, зачем ты пошел с нами. Да?

— Я и не скрывал. И сейчас не таю. Хочу найти. Но не тут. Здесь его нет. Никаких признаков. Я знаю, как выглядит, как должен выглядеть разум. Во всех его проявлениях. Много лет отдал я ему, десятки вариантов рассчитал. Нет, Савельич, я не надеюсь. Как и ты, хочу найти наших.

— Не знаю, как в теории. Сужу практически: никакого их следа.

— Но сигнал был точен. А Гарми — мастер пеленга.

— Что завело их так далеко от курса?

— Мало ли что случается в пространстве. Тебе лучше знать.— Уваров сделал паузу.— Кто другой мог подать сигнал? Именно наш сигнал, по коду Дальней разведки?

— Он мог отразиться.

— От такой поверхности? С такой чистотой и силой? Нет.

— Может быть, Гарми дослушался до галлюцинаций? Такое бывает.

— Он верит, ты сам знаешь, только в то, до чего можно трижды дотронуться ладонью. Скорее уж галлюцинируем мы с тобой. И нет планеты, нет тебя — а я сижу за своим столом и пишу, извиняясь от сладостных размышлений...

— Знаю, ты человек уюта и любишь обнимать мир. Не прикасаясь к нему. Мы сперва удивлялись, когда ты оказался с нами. Потом поняли.

— Можно измышлять всю жизнь. Но хоть раз надо увидеть своими глазами. Чтобы увериться, что жил не зря. А это, наверное, самое большое счастье, какое бывает.

— Но ты не нашел его.

— Найду. Каждому, кто ищет, выпадает в жизни хоть один шанс. И уж я его не упущу.

— Надейся.

— Не здесь, конечно. Я уже сказал. Здесь — пустой номер, глухо. Можешь смеяться, но Разум я найду в пространстве, близ светила. Там увижу его тугие паруса. Именно так, не иначе. Разум всегда тяготеет к свету. Катакомбы не для него. Только вынужденно, и то на краткий срок.

— Я летаю давно. И ничего не встретил. И никто другой.

— Вы не искали. Не были настроены. А я ищу. И если он есть, а его не может не быть... мы станем стремиться друг к другу бессознательно, сами того не ощущая... соприкасаться полями, которые нами еще не открыты... но не перестают от этого быть реальностью. Мало сказать, что я верю в это: я знаю. Иначе все, что я сделал в жизни, ничего не стоит.

— Разума не может не быть — почему?

— Иначе не было бы смысла и в нашем бытии. Как нет смысла в существовании одного мужчины или женщины. У них не будет продолжения, развития, движения. А мы ведь не похожи на тупиковую ветвь эволюции. Разум не самоопыляется. Когда он созрел, ему становится нужен кто-то другой. Иначе он измельчает и замирает. Как хирели некогда династии фараонов... женившихся на родных сестрах.

— Логично. Только истина — не плод логики. И потом: созрел ли наш разум? Однако мы все болтаем. Слушай, Уваров, я не хочу больше терять здесь время. Сейчас время — главное. И...

«Всякое искусственно вызванное деление частиц сопровождается исчезновением определенного количества времени. И если такое деление происходит неоднократно и в больших количествах, дефект времени становится...»

— Глупости, — сказал Уваров. — Это ты придумал.

— Сколько же ты еще намерен идти?

— Я относительно дефекта времени. Откуда ты взял?

— Я? Черт, разве я что-то сказал? Бывает, я говорю вслух во сне — после больших встрясок. Извини. Что-то подобное мелькнуло у меня в голове. Но мне показалось, что это сказал ты. Я даже удивился.

— Как я мог? Физика — не моя область. Да, о мудрости... Мы еще не достигли ее, конечно. Но инстинкт размножения намного опережает ее.

— И ты решил древнюю проблему: встретив — понять? Найти общий язык?

— А так ли нужен он? Пусть выброшенные на остров мужчина и женщина говорят на разных языках. Помешает ли это им соединиться? Им не понадобятся подсказки. Это в худшем случае. Но может быть — и я надеюсь, — мир разума един. И в любой точке любого пространства разум говорит на едином языке. Не в лингвистическом смысле конечно...

— Маловероятно.

— Но тебе ведь не кажется странным, что весь мир построен из одних и тех же частиц. И электрон из Магелланова Облака будет чувствовать себя в Солнечной системе не менее уютно. Почему же не предположить, что и разум? Построен из одних и тех

же элементарных частиц, движущихся... и превращающихся по тем же законам? Он ведь тоже продукт движения материи?

— И в каждом мире — свой Шекспир? А принц Датский окажется старым знакомым пришельца извне?

— Что в этом принципиально невозможного?

— Не знаю. Может быть...

«Есть многое на свете, друг Горацио,

Что и не снилось нашим мудрецам...»

— У тебя хорошее произношение, — похвалил Уваров

— Какое это имеет отношение...

— Английское. Не знал, что ты...

— Да ты когда-нибудь слышал мой английский?

— Да только что.

— Жарко, — Савельев озабоченно глянул на товарища. — И, видно, заряженная среда на нас действует. — Он только что слышал совершенно четко, как Уваров — а кто же кроме? — произнес реплику из великой трагедии; по-русски, разумеется: английского Савельев не знал совсем. — Давай, будем говорить дальше. Это успокаивает. О чем мы — перед «Гамлетом»?

— О чем же?... Да. Что невозможного в том, что «Гамлет», как электрон, един для Вселенной?

— Но тогда ты как раз должен бы поверить, что наших с «Омеги» тут нет, а сигнал послан ими, другими, говорящими на едином языке разума.

Они снова молчали несколько минут. Время сейчас, впрочем, измерялось не часами, а делениями на шкале воздушного манометра.

— Пойдем, — сказал затем Уваров. — Отдохнули. — Он сделал было шаг, но остановился, тяжело размышляя. — Слушай... Наверное, ты прав, Савельич, и в самом деле надо возвращаться. Я что-то перестал верить, что мы тут найдем их. А время, как ты сам сказал, дорого. — В словах его не было решимости, скорее какая-то неуверенность, соседствовавшая со страхом. — Посмотри, как свет усиливается — там, впереди. Если и с нами что-то случится...

Казалось бы, Савельев должен с радостью согласиться. Он, однако, замаялся:

— Свет... Ты прав — он что-то означает, предвещает... Давай-ка посмотрим, что именно. И если наших там нет, будем считать, что одной загадкой стало больше в задачнике Природы. Она любит ставить в тупик, ничего не скажешь.

Уваров вздохнул:

— Она любит резвиться, Природа. Она еще дитя, она бурно растет и развивается, бездумно и непоследовательно, как девочка на грани перелома, когда детское сталкивается с женским и возникают

вихри и водовороты, и проносятся тайфуны, грозя смести все, что непрочное...

— Почему бы тебе не писать стихи, Уваров?

— Боюсь. Это значило бы — стать прозрачным. А я не готов к этому. Посмотри, мы ничего не забыли?

Савельев осмотрелся.

— Нет, все свое носим с собой.

— Тронулись.

— Вперед!

— Постой! Все же — вперед?

— Да.

— Но раз наших тут нет, мы решили, значит, мы нужны им в другом месте?

— Не знаю. Думаю, что их тут и не было. И не могло быть. Наверху все наверняка выяснили.

— Откуда такая уверенность?

— Чисто пилотские соображения. Не стану утруждать тебя сейчас. В общем, у нас есть немного времени. Посмотрим, что там — впереди.

— Ну, если ты так уж уверен...

Они зашагали быстрее; воздух потрескивал; постепенно какая-то слизь, тускло мерцавшая, отдельными пятнами стала возникать на коздреватых стенах; влажность увеличилась, порой сверху срывались тяжелые, литые капли чего-то и, мгновенно и радужно вспыхивая, разлетались, ударившись о грунт.

— Не так быстро, Савельич.

— Становится жарче, а?

— Не от скорости. Повышается температура.

— Уклон тут круче.

Уваров снова вздохнул, помахал ладонями перед лицом, словно отгоняя что-то — может быть, тот самый страх, который несколько минут назад задел его крылом.

— Спускаемся, несомненно. Ладно. Там, внизу, что-то интересное может раскрыться. Меня уже немного лихорадит. Знакомое чувство.

— Лихорадка открытия?

— Прекрасная болезнь. Я дважды в жизни... Наверно, все же хорошо, что мы не повернули назад. Если возвращаешься, когда впереди маячит что-то, может быть, новое, потом неизбежно ощущаешь себя преступником и удивляешься, почему никто не выступает с обвинением. Хорошо...

«Считая нужным, однако, еще больше помочь простому народу, он позволил всякому гражданину выступать в защиту потерпевшего и требовать наказания преступника...»

— Любошь к цитатам — свойство теоретиков, а?

— К чему ты это? — спросил Уваров внешне безразлично.

— Да вот к этому самому.

Уваров помолчал, глядя под ноги.

— Не обращай внимания, — посоветовал он потом. — Нервы.

Обстановка...

— Да. Мы волнуемся. Тут вредно молчать. Говори. Все равно о чем.

— Хорошо. Ты сказал: может быть, принятый сигнал послан другими. Но я не верю в города, возникающие вдруг в пустыне. Это мираж. На самом деле городу всегда предшествует дорога. Обработанная земля. Предмесья. Множество признаков культуры. А здесь? Подумай: в чем функция разума? Изменять, совершенствовать мир. А как может разум совершать это, не оставляя зримых следов? Мир ведь видим, и наступившие в нем изменения тоже должны быть видимыми. Гладкая дорога вместо хаоса глыб. Я знаю это! Слышишь? Знаю!

— Да не волнуйся. Не надо. Значит, только так?

— Об ином мы ничего не знаем. Догадываться же бесполезно.

Несколько секунд только похрустывал грунт, уплотняясь под ногами.

— Градусов под сорок, не меньше, — заметил Уваров.

— Тропики. Жаль, нет моря. Давненько не видал я моря.

— А может, и есть? Там, впереди.

— Я бы выкупался.

— Дома, на Земле — если тебя не устраивает бассейн. Да, никаких признаков. А ведь разум эволюционирует куда медленнее, чем строится город на пустом месте. И следы должны быть непременно, и во множестве. И они остаются, даже если не удалось избежать катастрофы. Если цивилизация не нашла мира...

«Сражение продолжалось всего час, а восемь тысяч человек уже погибли: пять тысяч четыреста утонули, тысяча четыреста были убиты или ранены на поле сражения, тысяча двести сдались в плен; в руки победителя попали восемнадцать пушек, тридцать зарядных ящиков, пятьдесят знамен...»

Уваров заговорил громче, будто стараясь заглушить что-то:

— Начиная с самого возникновения жизни, еще только предполагающей возможность рождения разума, накапливаются следы, которым не укрыться от...

— Ну, жизни тут в избытке. Почему, кстати, мы проходим мимо? Биологи нас не похвалят.

Они остановились; Савельев вынул юнжал, соскреб немного слизи в стеклянную банку, плотно закрыл, спрятал.

— Увлечлись, — оправдываясь, сказал Уваров. — Мы все о ра-

зуме, а от плесени до него — ох какая даль... А вот, смотри, еще новое.

И правда, почти под ногами, где условные стены туннеля сходились с условным же полом, виднелись грязновато-белые, а в этом освещении почти салатные выпуклости, подобные шляпкам грибов, и размера они были, как маленькие боровички.

— Берем и это.

Савельев срезал один; две-три голубые искорки щелкнули о клинок кинжала, свет дрогнул было и стал немного ярче; Уваров порывисто оглянулся, словно услышал шаги за спиной. Савельев заметил это.

— Ты что?

— Так...— Уварову не хотелось признаться в том, что секунду назад страх как бы схватил его, сжал костлявыми пальцами сердце — и тут же выпустил, будто решив, что обознался. — Хорошо, что заряд остается прежним. Не то в нас стали бы вонзаться молнии.

— Пока опасности нет, — сказал Савельев. — В этом я соображаю. У меня словно вольтметр сидит под сердцем. Ярче становится. Замечаешь?

Свет и на самом деле продолжал усиливаться, меняя яркость, но оставаясь таким же приветливо, безмятежно зеленым, как бы убеждая, что нет никаких препятствий движению вперед.

— Низкоорганизованная жизнь, — молвил Уваров, разглядывая гриб; из среза капала слизистая жидкость, организм понемногу сморщивался, опадал в пальцах, хотя Уваров держал его, едва прикасаясь. — Спрячь. Относительно низкая, конечно. Все же гриб — не одноклеточное, уже сложнейшая система. Только и от гриба до разума — миллионы, а то и миллиарды лет. Дорогу эту никому не сократить. Лестница, на которой не перепрыгнешь через ступеньку.

— Никогда?

— Никогда. Природа постепенна. И должны быть необходимые и достаточные условия, чтобы в конце концов возникла личность.

— А что личность, по-твоему?

— Я бы сказал — сознание собственной равновеликости миру и обособленности в мире при неизбежной связи с ним. Личность! Как далек путь... Нужны были хитросплетения истории, политики, экономики, военного дела, чтобы на свет появился — и проявился! — скажем, Цезарь...

«Кто из толпы сейчас ко мне взывал?

Пронзительнее музыки чей голос

Звал: «Цезарь!» Говори же: Цезарь внимлет».

Оба остановились разом. Несколько секунд в упор смотрели друг на друга. Савельев сильно мотнул головой. Уваров заставил себя усмехнуться:

— Эти шутки мне знакомы, я ведь тоже не впервые вышел погулять. В одной экспедиции, на Медузе, лет пять назад, нам постоянно казалось, что плачут дети. Маленькие, напуганные, брошенные дети. Нас было пятеро, все с устойчивой психикой, и мы дошли чуть ли не до истерики, веришь. А все были только проделки ветра, такая своеобразная Золова арфа... Ты все еще хочешь вперед?

Савельев хмуρο кивнул:

— Да.

Они двинулись дальше, ободряя сами себя. Свет был все ярче, стены и потолок раздвигались, создавая пространство. Грибы росли уже и на стенах, были крупнее, выпуклее, почти с футбольный мяч, морщинистые, неприятные на вид.

— Слушай...

— Весь — внимание, — откликнулся Уваров очень бодро.

— Ты сказал — развитие... Но ведь давным-давно мы научились моделировать, строить математические, кибернетические модели, проигрывать на компьютерах материальные процессы. Ни одного серьезного мало-мальски дела не начинают без них. А это и есть скачок через много ступеней сразу. Еще ничего не создав в материале, мы уже знаем, как оно будет себя вести в разных ситуациях.

— Конечно, знаем. Хотя и ограниченно, потому что всю природу не смоделируешь. А на любое изменение или вмешательство она откликается вся целиком...

— Я сейчас не об этом. Ты думаешь, разум не может — вот так, минуя этапы, — смоделироваться? Ну, вдруг вырастет такая же вот сложная живая система, и в ней возникнет, начнется процесс мышления. Просто это будет иной путь эволюции и...

— Нет! — крикнул Уваров неожиданно резко, пронзительно, что свет на мгновение дрогнул, но они, занятые самими собой, этого даже не заметили. — Нет! — повторил он. — Не может! Не имеет права! Ты не понимаешь! Ты, твоё дело... — Ему не хватило дыхания, он захрипел, схватил загубник, судорожно вдохнул, закашлялся, потом задышал медленнее, успокаиваясь. — Мы все исходим из того, что чудес не бывает. И не может низкоорганизованная материя вдруг превратиться...

— Но если те же вещества и в той же структуре...

— Замолчи! Не надо! Потом, я объясню... — Уваров снова затянулся дыхательной смесью. — Понимаешь ли...

«Нашли, чем удивлять, — молвил Пантагрюэль. — В наших краях

ежегодно бывает по пятьсот подобных превращений, а иногда и еще больше...»

Незаметно для самих себя люди ускорили шаг, почти бежали. Коридор стал шире, зеленый свет слоями заголубел, грибы густели, некоторые места были сплошь покрыты ими. Воздух шуршал, в нем теперь непрерывно происходили микроразряды.

— Понял! — крикнул Савельев на бегу.

— Что?

— Пока это было, я включил рацию.

— И что?

— Тот же базар. Но это — это слышалось ничуть не хуже.

— Значит, это не звук? Ты считаешь?

— Нет. Это — в нас.

— Галлюцинации, конечно... Под влиянием... Какого-то излучения?

— А если все же...

— Стой! — решительно скомандовал Уваров. — Дальше опасно!

Они остановились, дыша так, что воздух хрипел и булькал в шлангах. Пот выступал и тут же высыхал в душной жаре, и от него кожа как бы покрывалась чешуйками. Свет теперь лиловел, он снова играл, и от смены цветов и яркости казалось, что грибы движутся, хотя они были неподвижны. Потолок и стены ушли куда-то совсем далеко, то уже не туннель был, а купол, зал, пределы которого никто не взялся бы сразу определить. Но, видимо, у него было еще какое-то продолжение — новый туннель? — и там ярчайшие снопы света неторопливо и ритмично сменяли друг друга, словно колесо с разноцветными сияющими спицами, — наклонно расположенная карусель величественно вращалась в подземелье. Смотреть туда было больно, и они отвернулись.

— Пойдем?

— Погоди! — Уваров схватил его за руку. — Итак, по-твоему, групповая галлюцинация?

— Почему же нет?

— Но тогда... тогда и у Гарми на «Омикроне» могла быть все та же галлюцинация, и никакого сигнала он не принимал.

— Да ничего он не принимал наверняка. Я сообразил уже здесь. На борту, ты сам помнишь, как мы действовали, как по тревоге. Не рассуждая. И только тут я понял, почему нет следов, ничего нет. Вспомни диспозицию. Мы шли пусть не рядом, но параллельными курсами. Так, что они находились, условно говоря, справа от нас, а система — слева. Чтобы оказаться здесь, они должны были своевременно изменить курс. Ты знаешь, как это сложно. Они сообщили бы. Так же как мы, замедляясь для поворота, послали об этом сообщение «Всем». На том расстоянии,

какое было тогда между нами, мы приняли бы сигнал. А раз они не поворачивали, они и не могли попасть сюда раньше нас. Понял?

— Кажется... Значит, пора выходить, Савельич. Вероятно, планета генерирует какое-то поле, оно действует на нас, и на достаточно большом расстоянии. Иначе Гарми не принял бы сигнал.

— Все же интересно: словно нас заманивали. Знали, на что мы клюнем.

— Будем считать, что мы сделали микрооткрытие: грибная пещера. Может быть, она заинтересует грибников, и когда-нибудь сюда станут летать на выходной с лукошками...

— И все-таки,— сказал Савельев,— надо пройти дальше. Тем более что спешить больше ни к чему. Воздух еще есть.

— Да что тут смотреть? Мы все видели!

— Погляди внимательно. Видишь — плесень. И на том тоже. Грибы чем-то больны. Так что пока сюда прилетят любители, все вымрет.

— Что же,— легко согласился Уваров,— такова жизнь. Законы эволюции суровы, и ни к чему поддерживать то, что не жизнеспособно. Значит, и не надо им вырастать. Не надо! Подумаешь — грибы! Разве ради них мы рисковали? Главное — можно считать доказанным: сигнала не было.

— Погоди. Помоги разобраться. Что-то крутится в голове, но я не умею так, сразу... Слушай: если эти... галлюцинации в чем-то перекликаются каждый раз с нашими мыслями... Это можно понять, это как сны. Как причудливое преломление наших мыслей. Но ведь в момент приема сигнала никто и не думал, что «Омега»...

— Откуда ты знаешь?! — яростно крикнул Уваров. — А если кто-то думал? Пусть подсознательно, сам того не понимая! Да сам Гарми мог думать! А планета просто усиливает и отражает, все остальное происходит в нашем мозгу. А нет мысли — нет и галлюцинации. Вот сейчас мы не думаем о судьбе «Омеги» и неоткуда взяться никакому сигналу!

«Омикрон», я «Омега», я «Омега», внимание, у меня ситуация три, ситуация три, спешите, я «Омега», ситуация три, найдите платформу, я...»

Чвакнуло, белесые хлопья разлетелись в стороны: Уваров, не выдержав, смаху, как хороший форвард, поддал тяжелым, с оковками, башмаком, и ближайший гриб, налитой, тускло-лоснящийся, объемистый, брызнул, словно фонтанчик взлетел из-под грунта. Тишина схлопнулась, Уваров вытер пот.

— Извини,— сказал он.— Нервы. Боюсь, мы спятим совсем. Тусклая перспектива. И воздух — почти на половине. Нельзя распускаться. Извини. Такая обстановка. Пора домой. Так хорошо дома...

«Когда же мы прошли край, полный всяких утех, край приветный, с такой же умеренной температурой воздуха, как...»

— О, господи! — простонал Уваров. — Ну, не могу я! Не могу! Тогда уж лучше умереть! Здесь! Сразу!

«Не восхвалять я Цезаря пришел,
А хоронить. Ведь зло переживает
Людей, добро же погребают с ними...»

Савельев схватил спутника за руку.

— Жаль, но и вправду пора убираться. Ни минуты больше. Мы или задохнемся, или же...

Свет под потолком сгустался. Багровел. Сверкнули высоко вверх первые разряды. Жара усиливалась толчками. Что-то рокотало внизу, и под ногами чуть подрагивало. Карусель света лихорадочно завертелась.

Они побежали. Вдруг Уваров остановился, взмахнул руками.

— Я всегда был честен! — крикнул он. — Перед наукой! Перед всеми! Не думай! Не смей думать!..

«В эпоху империи он оказал важные услуги благодаря своей безукоризненной честности, и, вспоминая о нем, приходится пожалеть, что в конце своей карьеры он принимал участие в правительстве, которое...»

Бежать приходилось в гору, и от этого было вдвойне тяжело. Гневный свет сверкал. Пот выедал глаза. Но зал уже постепенно сжимался до размеров туннеля, и свет, отставая от бежавших, слабел, в туннеле смеркалось, собственные следы были уже с трудом различимы, и Савельев, не останавливаясь, вытаскивал фонарь.

— Я жизнь отдам... за свое дело... и отдал уже...

«Большой части варваров, и особенно персам, свойственна прирожденная дикая и жестокая ревность: не только жен, но даже рабынь и наложниц они страшно оберегают, чтобы никто...»

Становилось прохладней, и пот не высохал теперь, а стекал по груди и спине, белое липло, было неуютно и тошнливо; люди бежали, мыслей не было, осталась лишь боязнь за капсулу — все вокруг сотрясало, и она наверху могла не выдержать толчков. Капсула сейчас — это корабль, дом, жизнь.

«Я возмужал среди печальных бурь,
И дней моих поток, так долго мутный,
Теперь утих дремотою минутной
И отразил небесную лазурь...»

Слова звучали и бились в мозг, неизвестно откуда взявшиеся давным-давно написанные и знакомые слова...

Люди выскочили на поверхность, когда силы, казалось, иссякли все. Выскочили с ужасным предчувствием беды. Было тихо. Наступила ночь, звездный свет с трудом пробивался сквозь плотный

воздух. Надежно укрепленная капсула стояла на месте, пошевеливая кружевными раковинами антенны, как лошадь ушами.

— Уф! — выдохнул Уваров. Он похлопал по капсуле ладонью, и тонкий металл отозвался тихим и едва слышным гулом, простым звуком, понятным и объяснимым от начала до конца. — Выбрались, — сказал он. — Хорошо, что наши сюда не попали.

— Да, — согласился Савельев. — Наших-то здесь не было... А что же было? Слушай, может, тебе покажется смешным, я ведь не теоретик, но возникают мысли. Может быть, смешные — но мысли...

— Ну смелей, смелей, — подбодрил Уваров, играя безмятежность — а возможно, ему и на самом деле стало хорошо и спокойно здесь, где были только свои голоса. — Дерзай!

— Может быть, традиция нашего мышления узка? Та традиция, по которой возникновение разума неизбежно связано с движением и эволюцией? Может быть, природа идет к одной и той же цели разными путями, и то, что в одном месте требует долгого подготовительного цикла, создания условий, в другом — получает эти условия в готовом виде? В пустыне нужны удобрения и вода, но в черноземе желудь прорастает, не ожидая, пока ему помогут это сделать. Может быть, где-то личности, гении возникают, как конструкция, способная улавливать нечто в мироздании, как конструкция, которая воспринимает и переживает все, ничего не совершая, как мы в наших снах совершаем нечто, хотя окружающие видят, что мы тихи и неподвижны в тот миг? Может быть?..

Он закончил, глядя на Уварова, но тот уже закрыл шлем, и выражение лица было неразличимо, только голос нес информацию о мыслях теоретика.

— Мило, — проговорил Уваров; проговорил легко и небрежно, как обращаются к детям, желая показать, что держатся с ними, как с равными, зная, что на деле равенства нет, и сами дети понимают это отлично. — Для дилетанта мило, своего рода концепция. К сожалению, Савельич, критики она не выдерживает — неверно все это и невозможно, как-нибудь на досуге я объясню тебе почему; это долгий разговор. Сейчас важно другое: там, внизу, опасно, мне думается — очень опасно; возможно, мы что-то сделали не так, разворошили это гнездо, хорошо еще, что сами выбрались... И вот поэтому при рапорте мы должны...

— Карусель, — сказал Савельев медленно и сдержанно, так, что не понять было, как воспринял он слова Уварова и поверил ли им. — Не дошли. Жаль: самое интересное наверняка было там. Эти штуки могли оказаться лишь трансляторами, а сам генератор, может быть, располагается...

— Генератор чего? — Голос Уварова прозвучал сурово, как бы

отвергая возможность спора.— Строк Шекспира? Наполеона? Рабле? Пушкина, Достоевского, Плутарха, наконец?

— Не знаю, кто из них Плутарх и кто — Рабле. Не читал, не успел, я ведь технарь. Но раз не читал, то у меня в памяти этих строк и быть не могло. А ведь я их слышал!

— Не читал — это ты так думаешь. Когда-то, хоть двадцать лет назад, кто-нибудь процитировал их при тебе, а память записала. Это все гипотезы, милый мой, хлипкие гипотезы. А вот опасность реальна, и если кто-нибудь полезет туда вслед за нами, это может кончиться очень плохо. Нам еще повезло. Может быть, надо даже завалить, обрушить все это, жаль — у нас нет ничего такого...

Он говорил уверенно, сам в то же время не понимая себя и не зная, отчего говорит так, а не иначе,— он, человек широкой терпимости и смелой мысли. Авторитета ли было жалко? Да нет, приди он сейчас в науку с этим — и слава первооткрывателя не затмила бы ореол мыслителя, а усилила... А может быть, страх? Потому что ведь свои концепции иного Разума он создавал исходя из того, что являлось для человека лучшим, пусть неосознанно — но именно из этого. И испугался того, что на деле, в жизни, могло оказаться не лучше для людей, а хуже? Не за себя испугался, за всех? Нет, пусть уж колесо это, карусель там, внизу, кружится сама по себе — без них! Если только... Разум, проклятый разум — он всегда находит лазейки...

— Обрушить? — медленно повторил Савельев.— Ну, это вряд ли.

— Давай-давай! — поторопил Уваров.— Наши наверняка уже беспокоятся.

Где-то, далеко впереди, свеча горела... или лампа, ожидал уютный стол, за которым можно будет снова предаться мечтам о встрече с другим Разумом,— встрече, которая когда-нибудь да состоится!

Пропустив Уварова, Савельев уселся медленно, словно неохотно. Еще одна вещь могла подвести — но не подвела, и двигатель включился сразу, мягкий, ничему не вредящий антиграв. Он был рассчитан именно на такие посадки. Заранее было известно, что посадки понадобятся. Хорошо, когда все известно заранее.

Шесть бумажных крестов

Набежавшая волна
Моет уходящую...

Х. Рансэцу. XVII в.*

По утрам мне становится хуже. Ворочаясь на больничной койке, я тяжело дышу, чувствую себя разбитым и постаревшим на сотни лет.

«Ты похож на философствующего шимпанзе», — как-то сказал мне Франц-Иозеф, тот самый, который вырезал из серебряной оберточной бумаги кресты и нашивал на полосатый больничный халат.

Шутка показалась мне оскорбительной, и я попытался откусить ему ухо, за что целый день провалялся в смиренной рубашке. Впрочем, после этого, изредка заглядывая в посережее зеркало, я находил сравнение довольно поэтичным — в иллюзорном, отраженном мире я встречался со странным субъектом, исключенным, сумрачным.

А по вечерам меня охватывает тоска. Мне кажется нелепым думать о том, что мои сверстники все еще полны жизненных сил, что они могут нянчить внуков, читать газеты и греться под лучами вечных как мир иллюзий.

Я думаю о своих сверстниках иногда с иронией, иногда с презрением, но зависть моя всегда тут как тут — назойливая муха... Я даже думаю, что жизнь в общем-то здорово изменилась. Это видно по моему доктору, по его прическе, по галстукам и воротничкам, от которых давно отвыкла моя шея.

Утренний обход доктора — это весть из большого мира, оставшегося за высокими стенами клиники. Пока он оттягивает мои веки, постукивает молоточком по коленке и дает указания старшей сестре относительно дозы лекарства, я рассматриваю его халат из белого, сверкающего материала, его авторучки, торчащие в кармашке, и смакую тонкий запах сигарет, который исходит от его пальцев. Должно быть, наш доктор очень невнимательный человек. Оттягивая веки, он не замечает моего испытующего взгляда или просто делает вид, что не замечает, выполняя свой профессиональный долг за те деньги, что ему платит моя тетка, те деньги, на которые

* Хаттори Рансэцу (1654—1707) — японский поэт, писавший в жанре хокку.

он покупает новые галстуки, американские авторучки и дорогие сигареты.

Последнее время его взгляд становится мягче, когда он подходит к моей койке.

«Бедняга,— думал я,— что он будет делать, если я стану совсем порядочным джентльменом. Не буду выдергивать пружины из кроватей и глотать шнурки от ботинок?» Я искренне жалел доктора Хенрика, потому что привык к нему, и мне было неловко огорчать его примерным поведением...

А в общем по вечерам я чувствую себя неважно прежде всего от духоты и вони в палате. Но дай бог, этот вечер последний в клинике доктора Хенрика. Последний... А ведь еще утром я и понятия не имел, что он в самом деле окажется последним. Но после того как мне разрешили увидеться с теткой, все разом изменилось и невероятное с визгливой трескотней вошло в мою жизнь.

Санитар провел меня в комнату, где происходили свидания с родственниками. Вид моей тетки был убийственно торжественным.

— Мой мальчик! — воскликнула она патетически. — Доктор Хенрик сказал, что ты совершенно здоров. Ты понимаешь, что это значит? Столько лет, столько лет!..

Я предусмотрительно отошел подальше от тетки, потому что ненавижу, когда женщины впадают в состояние экзальтации. Сгорбившийся, постаревший, несвежий, я думал, сколько она сэкономила средств за время моего вынужденного отсутствия, моей командировки на Олимп, к богам, запертым в душные камеры, спеленутым в желтые рубахи и спящим в нездоровом лекарственном сне. Я разглядывал тетю внимательно, неторопливо, пока ее рот судорожно выплевывал междометия, рассматривал поредевшие волосы, стеклянный блеск помутневших глаз, морщинистую черепашью шею, и к тому времени, когда она полезла в необъятную сумку, она успела мне так надоесть, что я с удовольствием заткнул бы ей рот.

Но я держался стойко и облегченно вздохнул лишь тогда, когда свидание было окончено и я оказался в своей палате возле зарашеченного окна, за которым старый клен ронял листья — индугенции ушедшему лету.

И все же этот вечер последний, последний... А Франц-Иозеф, мой сосед, храпит черт знает как. Храпит, булькает, шепчет и ничего не знает.

— Франц, подлый кофейник, заткнись! — крикнул я.

— А, что? — Франц-Иозеф таращит глаза и на ходу проверяет сохранность орденов. — Я не храпел, хлянусь,— подмигивает он заговорщически. — А что, говорят, в седьмой палате к обеду давали пиво?

— Пиво? Ах-ха-ха...— меня затрясло,— это не пиво, а патентованное слабительное. Помню, в Лейпциге, в погребке Ауэрбаха*, вот было пиво. Фауст знал, где бражничать со своими студентами. Тогда мне еще не приходилось кормить окопных вшей и спасаться от чесотки. Я не был везучим. Не то что иные... всю войну провели в офицерских клубах.

Франц не уловил хода моих мыслей и вновь захрапел. Будить его я не стал. Все равно в его разжиженном мозгу мысль о несправедливости не нашла бы ни одной сочувствующей извилины. Я только поднял тяжелый башмак и несколько раз постучал по полу. Храп стал менее оглушающим. За долгие годы я привык к храпу Франца-Иозефа. Он даже стал мне дорог, как учителю музыки жалкое пиликанье учеников. Но в этот последний вечер я имел право на тишину. Я даже мог бы не спать всю ночь и куролесить в компании генерала Гломберга, который ночами все еще решал стратегические планы «уничтожения мааританских войск, скопившихся у границ Священной Римской Империи германской нации».

Последняя ночь в клинике пустая формальность, хотя, если говорить откровенно, формальности не всегда оказывались такими пустыми — в нынешний век они эффективно заменили поизносившийся рок. Так что придется вылежать эту ночь, как солдат в окопе в последний день войны.

Здесь, на этой койке, прошло немало бессонных ночей, во время которых лихорадочно колебались качели разума и безумия. И моим любимым развлечением было представлять различные рожи и сценки в переплетении трещин, изъевших штукатурку.

Сегодня в сумбурном переплетении линий на потолке я увидел знакомый профиль: орлиный нос мыслителя, аскетически впалые щеки, болезненную складку губ.

— А, это вы, Хейдель, мой учитель, мой наставник и прочее, и прочее?...— спросил я воображаемое лицо.

Пепельные губы сжались среди мрака, да, мне точно показалось, сжались в недовольную гримасу.

— Ну разумеется,— кивнул я понимающе,— вы всегда чем-то шокированы, метр. Догадываюсь. Мы проиграли — вы и я. А кто знал, чем это кончится? Историограф?.. Это звучит достаточно гуманно. И все же, если задуматься. Разве можно было быть уверенным в том, что самая чистая профессия не станет орудием в руках мясника? Впрочем, вы всегда избегали давать ответы на такие вопросы. Вы, Хейдель, были убеждены, что настоящий уче-

* Погребок Ауэрбаха — место действия 5-й сцены в трагедии Гете «Фауст».

ный нейтрален в высшем смысле и свобода — его единственное и универсальное мерило истины. Да, ваше счастье, что в то время, когда завсегдатаи пивных решили, что им под силу расколоть земной шар пивными кружками, вы покоились в уединенном уголке Зальцбургского кладбища. Над вашей утомленной головой мирно шептались каштаны, а над головами живых!.. Если я и прощаю вам ваш оптимизм, то только из любви к вам. Ведь с самого начала войны, когда в тридцать восьмом рейхсканцлер в берлинском Спорт-плаце открыл всему миру наши карты, с этого самого момента я служил армейским санитаром, а моя карьера, латинские хроники, — все это осталось в далеком, теперь уже никому не нужном прошлом.

Я получил все сполна: засохшие, пропитанные кровью бинты, целые реки йода, душливый запах наркоза, бессонные ночи и так до бесконечности. Я выл. Что им говори, а я был избалован жизнью. Первый год войны, первое отчаяние, первый шаг к смирению, Машина войны работала вразнос.

И тут произошло непредвиденное...

Меня неожиданно отозвали в штаб сухопутных войск и передали в распоряжение берлинского отдела по науке. Именно тогда началось мое вынужденное сотрудничество с доктором Ф. Знал ли я тогда, Хейдель, что после такой расстановки фигур все ваши реминисценции вылетят в трубу.

Я знаю, что имя Ф. вам ни о чем не говорит. Вы заведовали кафедрой средневековой историографии в Зальцбурге, а доктор Ф. в это же время занимался гипнозом, парапсихологией и феноменами где-то в Швейцарии. В Германию он приехал в тот момент, когда многие предусмотрительно эмигрировали за океан. Он нашел сочувствие, материальную поддержку. Ему отвели место под перусами третьей империи, и, надо полагать, на него возлагали известные надежды. Все связанное с темными сторонами человеческой психики имело в те годы самый широкий сбыт. Однако и я тогда еще не знал, кто такой доктор Ф. и какие зеркала он льет.

Я был порядком замучен процедурой с документами, а они в иных ситуациях значат больше, чем сам человек.

Заглядывая в витрины универсальных магазинов, я бродил по Берлину. Тощие ноги манекенов торчали среди банок консервированного пива. В парке на карусели развлекались солдаты. Они трепали паклевые гривы деревянных пегасов и швыряли окурки. Хозяин карусели в тирольской шляпе с фазаньими перьями заискивающе гоготал. Полки в книжных магазинах были удивительно красочные. То была веселенькая драпировка из сотен военных изданий. Я бродил и ждал и был почти убежден, что произошла ошибка,

что внезапный вызов будет иметь для меня катастрофические последствия. Мог ли я предполагать, что отделу по науке потребуются услуги какого-то малоизвестного историографа Огюста Штанге?

Но час пробил.

Полковник Блазер в спецотделе вручил мне документы:

— Поздравляю вас, Штанге, с этого момента вы сотрудник доктора Ф. Это большая удача, успех...— Блазер благодушен, извинчен. Он зажигает сигарету, протирает рюмки, смотрит в них. Вино булькает кровавистой струйкой.— А что вы думаете? Документы только формальность. Здесь играют роль невидимые пружины ситуации. Мнение н-да... Психология...

Проповедь полковника просветлила меня. Но только позже я усвоил, что если великой империи требуется специалист, например, по средневековой историографии, то она покупает его на корню, со всеми идеалами и инстинктами. Вам, Хейдель, уже никогда не понять этого. Вам никогда не понять механизма, который превращает ученого в преступника.

* * *

Через два дня, или, выражаясь в стиле военного времени, через сорок восемь часов, меня перевезли в лабораторию военного ведомства. Райский уголок, скажу вам, Хейдель. Старое, но добротное имение некоего банкира неарийского происхождения, который предусмотрительно покинул Европу еще до того, как ее похитил бык войны.

Здание было переоборудовано с размахом. Вершина научной респектабельности, о которой вы, дорогой Хейдель, так мечтали. Единственное, что портило пейзаж, это окантовка из колючей проволоки на каменной ограде и застывший нелепым манекеном часовой. Молчаливое напоминание о войне.

Меня поручили заботам фрау Тепфер. Показывая мою комнату, она на ходу повторяла правила ежедневного распорядка. Инструктировала, как пользоваться сигналом тревоги, светозащитными шторами, вручила индивидуальный ключ от бомбоубежища. Она также объяснила, что телефон не связан с городской сетью и просила не засорять комнату бумагами как это делал герр Нойман.

Поправив висящий над письменным столом офорт, изображавший манерно изогнутых игроков в бильярд, фрау Тепфер грозно предупредила, что лист подлинный и что доктор Ф. большой знаток графики.

Я выразил покорность внутреннему уставу и поблагодарил за свежий букетик цветов, стоявший на залитом солнцем подоконнике...

Наша беседа носила чисто идиллический характер. Драматическое действие разыгралось позже. Действующие лица — я и доктор Ф. Но прежде Хайнц Мезе через пять минут после знакомства занял у меня пятьдесят марок. Визитер был пьян.

— Кол-ле-га,— ловил он непокорное слово, зыбкую волну согласных,— тридцать лет я был физиологом, фанатиком. Тридцать лет зуммер был моим колокольным перезвоном, а фистула кадилльницей. Собачки, кролики, мышки и опять мышки, кролики, собачки. Кто над кем экспериментировал? Сучки с нежностью обнюхивали мой халат. Кроликам казалось, что мои пальцы аппетитная морковка, а мышки пачкали Ф-ру Дибель, чистокровную блондинку. Вот роскошное меню для мучеников! Вы везучий, Штанге, как Хайнц Мезе. Война дала нам настоящую работу и надолго. Вы любите детей? — спросил он неожиданно, почти трезво.

Откровенность была излишней. Я ответил, что люблю детей, этих розовых ангелочков, амурчиков, херувимчиков. Но я не любил детей таких, как тот маленький Огюст Штанге, вороватый и лживый. Он был подлецом. Бракованные головы античных муз заменяли ему игрушки. Художественная мастерская братьев Каро недалеко от школы поставляла их в изобилии. Достаточно было пролезть в дыру забора в том месте, где валялись дородные торсы купальщиц и алебастровые цветы для помпезных фронтонов. Головами было очень удобно колоть орехи. Классические носы быстро ломались. Улыбки крошились каблуком. Глаза выковыривались перочинным ножиком. Огюст Штанге был палачом и умело скрывал это. На стандартный вопрос: «Кем ты будешь, Огюст?», Огюст отвечал: «Магистром».

Хайнц Мезе казался довольным моим ответом:

— Это вам поможет, Огюст. Любовь к детям возвышает. У меня их пятеро...— Хайнц с тоской пошуршал марками,— а вообще, когда вам намозолят трезвые мысли, звоните шесть-два-шесть.

Хайнц был безусловно философом. Но у него не было системы. Возможно поэтому в сцене «обед» его стул пустовал.

За столом жевали второстепенные персонажи и статисты. Историограф Огюст Штанге не произвел на публику никакого впечатления. У него был взгляд трущогося о решетку зверя и мундир, скверно пахнущий войной.

Но во время первой встречи с доктором Ф. военная форма была воплощением духа германской интеллигенции, о которой пели рейнские сирены. Возможно, Ф. питал известную слабость к военным мундирам, но так или иначе он принял меня под соусом неожиданной радости.

Я начал с вопроса. Суть его сводилась к следующему: «Что ждут от историографа Огюста Штанге?»

— Творчества, только творчества,— ответил Ф., листая книжонку.

Это был его козырь. Я узнал одну из первых моих работ. Книга по истории средних веков для детей: «Замки, рыцари и приключения», Лейпциг 1928 год. Помните, Хейдель? Вы тогда долго убеждали меня написать увлекательную книгу о средневековье. Это была сомнительная компиляция, но работа над ней вернула мне забытое ощущение безграничности времени, которое простиралось в неведомые дали прошлого, где возникали и рушились империи, зарождались мифы и предания, смешивались языки и диалекты, нравы и обычаи, боролись идеи, плоть смеялась над духом и дух изгонял плоть.

То было время, когда моя личность как бы вырвалась из тесного, душноватого мирка физиологического эгоизма, соединилась с прошлым и в нем нашла смысл настоящему. В краткий миг я переживал тысячелетия и в дворцах Вавилона, в каменоломнях Египта, на римском Форуме, в толпах крестоносцев, всюду находил и узнавал себя. Отныне Огюст Штанге переставал быть человеком, пришедшим неизвестно откуда,— судьба мира была его судьбой. Неповторимое время... В коротких забавных историях было много от моего личного энтузиазма, но свою задачу я так и не выполнил до конца. Я был плохим литератором — книга не имела успеха, и о ней справедливо забыли.

— Представьте, Штанге. В Цюрихе ваша работа имела резонанс,— Ф. продолжал перелистывать книгу,— удивлены?

Что я должен был ответить? На какой ответ я имел право и имел ли я вообще право удивляться, негодовать, презирать в ближайшем будущем, которое целиком зависело от того, каким образом будут поняты и оценены мои старые грешки. Огюст Штанге в роли непризнанного гения. Как трогательно. У Огюста Штанге нет выбора: по одну сторону лежит геометрическое однообразие солдатского кладбища, по другую — стерильная чистота лабораторий.

— Удивлен,— согласился я.

— Это полезно,— подтвердил Ф.— Когда перестаешь удивляться, значит, сдаешь. Я знал, что вы не придаете особого значения «Замкам». Никто из ваших коллег не упомянул эту работу. Ни одной ссылки, даже язвительной. Вам известна причина?.. Впрочем, сейчас это не играет роли. Я не собираюсь читать проповедь о довоенном консерватизме. Я только хочу подчеркнуть, что именно ваша работа сыграла решающую роль в выборе кандидатуры историка для нашей лаборатории. Основное направление наших исследований — социальная психология.

Важность исследований в этой области сейчас не требует до-

казательства. Перед нами стоит задача создать тип личности, достойной той роли, которую она возьмет на себя в истории Европы и человечества. Главная проблема — освобождение германского духа от чуждых ему элементов; разрушение плотин, преграждающих поток чистой воли к власти. Прежние потуги неарийской социопсихологии с ее болезненной верой в разум оказались бесплодными. Только в глубинах души мы можем обнаружить силы, способные установить истинный порядок жизни, найти материал, пригодный для строительства третьего рая.

Сейчас я хочу подчеркнуть, что в данный момент нас особенно интересует стадия формирования исторического сознания, точнее исторического расового сознания. Ваша работа, Штанге, очень помогла нам в этом. Вы довольно удачно избежали штампов классической филологии. Истории о рыцарях и замках воспринимаются с необычайной живостью. Происходит в известной форме погружение в прошлое, причем не бездумное, а сознательное... Миф, мистика и философия искусно сплетаются в глубочайшую мысль: война — вот истинная тайна всей немецкой истории. Вы понимаете?.. Но есть одно «но». — Ф. захлопнул книгу. — Историй для наших исследований мало, нам бы хотелось расширить географию. Надеюсь, это выполнимо?

В ответ я попытался расчувствоваться и выразил готовность продолжить свою научную работу. Ф. не уловил фальши.

— У нас превосходные условия для творческой работы. Тишина. Цветник. Взгляните, из окна очень хорошо видны цветы. Великолепный набор семян и луковиц. Мне прислали их из Италии.

Цветы были голубыми, нежно-розовыми, лиловыми, дружно отливали тяжелым пурпуром и горячей желтизной. Но я брезгливо отвернулся. Это был грим — толстый слой жирных красок, пудры и клея, которыми война пыталась скрыть свое ржавое тело.

— У вас нездоровый вид, Штанге. — Ф. предупредительно предложил рюмку коньяку. — Советую обратиться к невропатологу Блоссу.

— Пустяки, я немного устал.

— В таком случае небольшое развлечение вам не повредит. Давайте осмотрим отдел экспериментальной историографии.

Мы заскользили по окаменевшему паркету, мимо тихих лабораторий, где подобно гомункулюсу создавался интеллект сверхчеловека.

Сопровождавший нас комендант долго возился со спецключами. Мы оказались в светлой, прямоугольной комнате, обставленной удобно и практично: широкий стол, вращающееся кресло, подвижные стеллажи для книг, большой сейф системы «Феникс», в котором мне вменялось в обязанность хранить рукописи и перво-

источники. История в гарантированном от пожара и взломов стальном шкафу. Покрутившись в кресле, я стал изощряться в комплиментах, и Ф., приняв их как должное, ушел, сказав на прощание:

— Привыкайте...

В кабинете остались я и комендант. Он равнодушно перебирал ключи, пока я не сказал ему: «Закройте». Он вновь стал возиться с ключами. Я вернулся к себе и впервые за все время попытался воспользоваться услугами логики, но у меня ничего не получилось. Вся лаборатория с ее идиллической тишиной, цветами, равнодушно жующими сотрудниками была как бы олицетворением бессмыслицы. Я вижу, Хейдель, вы морщитесь. Это даже не гнев, а брезгливость. Вам непонятны мои попытки восстановить равновесие между видимостью и смыслом. Но я оставался еще живым человеком, и меня не устраивала видимость смысла, которая с трудом проглядывала в объяснениях доктора Ф.

Провалившись до вечера, я позвонил Мезе, шесть-два-шесть.

Он наверняка искал компаньона, и мой звонок был воспринят с радостным покашливанием.

В комнате Хайнца стоял казарменный порядок, поддерживаемый заботами фрау Тепфер.

— У вас вид утопленника,—трескуче посмеивался Мезе,—неужели доктор Ф. не настроил вас творчески.

Я пожал плечами:

— Просто я, как специалист, поставлен в глупейшее положение. Работать неизвестно над чем и для чего...

Мезе по-рыбьи пристально смотрел на меня серыми глазами.

— А к чему знать? — спросил он неожиданно. — Какая вам к черту разница? Работайте, копошиться, суетиться... Одним словом, создавайте видимость творческого рвения. Я думаю, на передовой не легче.

Слова Мезе застали меня врасплох. Во-первых, они противоречили его прежним радужным рассуждениям об «интенсивной работе, которую нам дала война». Во-вторых, мне казалось, что в скверном положении нахожусь один я, но вот Мезе...

— Я физиолог,—повторил он несколько раз, как бы взвешивая слово.—Я физиолог, а не поденщик. Я отлично разбираюсь в том, что такое чистый эксперимент, а что такое шарлатанство. Моя карьера началась еще в то время, когда не было разделения на арийскую и неарийскую науку. Однако меня купили, купили и потребовали, чтобы я, Хайнц Мезе, занялся селекцией.

— И вы пошли на это?

— ?

— Мезе уставился на меня чужими глазами, потом спросил:

— Вы знаете, чем занимается наша лаборатория?

— Знаю. Проблемы социальной психологии.

Мезе трескуче рассмеялся, теребя жидкие волосы.

— Ну разумеется, психология... творческие инстинкты расы... ха-ха... бессознательная воля, сильный экземпляр, циркулярные реакции... Слова, мыльные пузыри, шлепанье губ... — Смех оборвался. — Тогда знайте — мы получаем экспериментальный материал из концлагеря. Через мои руки они прошли тысячами: изможденные скелеты, а не люди. Я исследую их, отбираю экземпляры с наиболее расшатанной психикой и передаю доктору Ф. Что происходит с ними потом, одному богу известно. Если мне не изменяет память, за последний месяц я отобрал около двадцати заключенных. Суммируйте за год. Поток материала постоянный, и меня еще никто не ограничивал. Но ведь это не кролики?.. Знаете, Штанге, иногда я вижу, как они барахтаются в этой паутине, и думаю, а что, если бы меня... понимаете?

Мезе сказал много и ничего. Я начал вытягивать из него подробности, но он мрачнел, ограничивался намеками и в завершение предложил мне выпить.

Искусство существования заключается в умении замечать следы личной жизни. Мне это удавалось, хотя и с меньшим успехом, чем вам, Хейдель. Не подумайте, что я завидую, метр. Просто вам досталась более практичная маска гуманиста. А для меня начиналось самое страшное, Хейдель. Качели разума и безумия пришли в движение. Равнодушие? Нет, Огюст Штанге не мог оставаться в шеренге с гордо выпяченной грудью. Огюст Штанге не завоеватель. У Огюста Штанге завелся червячок. Огюст Штанге падалица с роскошного древа науки. Он подписал договор с дьяволом, но надеялся под финал надуть его.

* * *

Я никогда не забуду те времена, Хейдель.

Каждое утро я спускался в свой кабинет, открывал белый сейф системы «Феникс», раскладывал на столе нетронутые стопки писчей бумаги, фолианты в побуревших свиных переплетах, зажигал сигару и, развалившись в кресле, пускал к лепному потолку вибрирующие кольца дыма. От меня требовали видимости «творческого горения», отлично, я ее и создавал. На потолке каменели танцующие вакханки. Я принимал участие в их неподвижном безумии, ровным счетом ничего не делая. Когда в моей голове начинали копошиться какие-нибудь мысли, я открывал книгу, рассматривал гравюры, экслибрисы, пометки на засаженных полях. Тут были уникальные издания, которые могли бы привести в трепет любого

библиографа: Плиний *, Тацит **, Сенека ***. Как специалист, я в полной мере мог оценить возможности доктора Ф., широкий размах всех его начинаний. Он подsunул мне редкости не без расчета на то, что я сполна отплачу ему за возможность работать с такими источниками. Он как бы говорил: «Я сделал невозможное, остальное за вами». У доктора Ф. были не только связи, ему фатально везло. Список светониевых «Цезарей» **** XIII века с несколько наивными миниатюрами ему удалось достать в берлинской антикварной лавке. Я это сразу заметил по красноватому штампу с инициалами торговца и адресом: «Х. В. Кайзерштрассе, 80/5».

Вы, Хейдель, наверняка заглядывали в такого рода лавчонки, но сознайтесь, попало вам в руки что-нибудь похожее на такой список? Сейчас это, правда, вас не интересует. Вы изучаете книгу вечности и давно примирились с догматиками, эмпириками. А я, черт возьми, очень заинтересовался лавчонкой букиниста. Это было единственное, чего достиг доктор Ф. своими филиантами. Я воспользовался первой же возможностью порыться на ее полках. Это произошло после того, как Мезе предложил мне провести воскресный день в кругу его семьи.

До этого случая я не выезжал в город. Берлин в общем-то мало знаком мне, не то что Зальцбург. Мезе соблазнил меня заливным и печеным сыром. Я вспомнил об антикваре и согласился. Всю неделю до воскресенья я обкуривал своих вахханок и даже испачкал четверть листа — нарисовал дюжину обезьянок.

В воскресенье фрау Тепфер принесла мне крахмальную сорочку. Вскоре явился Мезе, весь затянутый и надушенный. Пока я одевался, он развлекал меня каким-то маршем и новостями:

— Трам-тара-рам... На восточном фронте успешно развиваются наступательные операции. Взята Винница и шестнадцать населенных пунктов. Па-пам... Потоплено семь английских транспортов. Бам-бам... В парижской опере идет «Волшебная флейта»...

Потом мы спустились, сели в его приземистый автомобиль, въехали в тень сторожевой будки и после проверки пропусков приветственно помахали охраннику.

Я опустил стекло и, жмурясь от удовольствия, глотнул упругую струю воздуха. Мезе философствовал:

* Плиний Старший (23—79) — римский ученый, историк, писатель.

** Тацит Корнелий (ок. 58—ок. 117) — римский историк.

*** Сенека Луций Анней (4 до н. э.—65) — философ-стоик, ученый, писатель, воспитатель и советник императора Нерона.

**** «О жизни двенадцати цезарей» — популярный свод биографий, написанный римским историком Светонием Гаем Транквиллом (ок. 75 — ок. 140).

— Эта война решительно обнажила в нас лучшие свойства. Хайнц Мезе — нежный супруг и любящий отец. Ха-ха! Каждую неделю я разыгрываю одну и ту же кукольную комедию. Дети смотрят на мой мундир с восхищением. «Наш папочка солдат». Анна-Роза как-то спросила меня: «А ты много убил человек?» Я решил отшлепать ее, а потом подумал: «Стоит ли разрушать семейный мир!» Дети растут, у них появляются свои взгляды на жизнь. Карл и Гец могут кое в чем поучить даже меня. Они изобретают универсальное средство от чесотки, которое должно спасти Европу. Детские игры изменили масштаб...

Потом мы въехали в город. Сонные улицы. Когда-то я бродил по ним в ожидании своей участи. Теперь ехал как свой человек, и витрины меня уже не развлекали. Мезе долго кружил в поисках лавчонки. Наконец мы нашли ее.

Маленький человек в коричневых гольфах и сверкающих сапогах, напыжившись, поднимал металлическую штору. Засиженные птицами кариатиды, изображавшие египетских танцовщиц в тростниковых юбочках, уныло смотрели на торговца. Штора все же подалась. Позеленевшее от времени витринное стекло заманчиво осветило выцветшие гравюры, оправленные серебром хрустальные флакончики. Под перекрестием турецких ятаганов вздымал сломанный хобот сандаловый слон. При виде этой роскошной безвкусицы у меня упало настроение. Когда мы вошли в лавку, я спросил:

— Если не ошибаюсь, герр Х. В.?

— Совершенно верно. Хельмут Вольке, специалист по нумизматике, энтографии, библиографии и реставратор. Чем могу быть полезным? — спросил антиквар, поворачивая утиный нос то к Мезе, то ко мне, точно пытался по запаху определить наши финансовые возможности.

В двух словах я объяснил ему, что мне требуется. Лицо антиквара обмякло, стало приторно любезным. Он торжественно повернул свой нос к шкафам, стал с нарочитой медлительностью выдвигать какие-то ящики, они при этом жалобно скрипели, пугая зазевавшихся тараканов. Действия торговца были особенно эффектны в завершающей стадии представления. Он сдувал пыль с фолиантов и, раскладывая их на прилавке, давал самые фантастические комментарии к каждому изданию. Его речь могла бы послужить своего рода эталоном ораторской речи. На Мезе она произвела такое впечатление, что он оторвался от созерцания пышногрудой баронессы и, пощупав увесистые тома, начал листать дешевое издание цистероновских речей.

— Какая роскошная мысль, — воскликнул Мезе. — «По своему смыслу настоящая война такова, что вы должны проникнуться

сильнейшим желанием довести ее до конца. Ее предмет — завещанная вам предками слава»...

— Цицерон *, узнаю, — в тон подхватывал герр Вольке, — редчайшее издание тысяча восемьсот...

— Вы меня не поняли, герр Вольке, — довольно резко остановил я излишняя букиниста. — Еще сегодня утром я держал в руках действительно приличный список Светония, и мне казалось, что антиквариат на Кайзерштрассе...

Эффект был совершенно неожиданным. Герр Вольке вытянулся. С лица его облетела розовая пыльца самодовольства, а усики беспомощно затрепетали, как крылья ночной бабочки. Он живо расставил книги по ящикам и, проскрипев сапогами, провел нас в отдельную комнатку позади прилавка. Здесь стоял большой застекленный шкаф, где я сразу заметил несколько любопытных изданий: «История Флоренции» Макиавелли ** и «Десять книг прусской истории» Ранке ***.

Герр Вольке принадлежал к редкому типу дельца. Он был возвышенным шарлатаном.

— Я вовсе не хотел ввести вас в заблуждение, — оправдывался он. — Но в настоящий момент так мало истинных знатоков, которые по одному виду способны оценить издание с точностью до трех марок. К тому же некоторые мои недоброжелатели распускают ложные слухи о том, что я, герр Вольке, член национал-социалистической партии с тридцать четвертого года, торгую запрещенной литературой, преданной символическому сожжению перед рейхстагом. Если бы не заступничество доктора Ф., то от моей лавки остались бы лишь египетские танцовщицы...

— Вы знаете доктора Ф.? — спросил я Вольке.

— И даже очень давно, — охотно подтвердил антиквар, — в двадцатые годы доктор Ф. несколько раз гастролировал у нас в Берлине с уникальными психологическими экспериментами: чтение мыслей, массовый гипноз, видение сквозь непрозрачные экраны, нечувствительность к болевым ощущениям, отгадывание прошлого. Великий артист! Редкий талант! Газеты называли его не иначе как «швейцарский Парацельс» ****. У меня сохранились афиши, программы, взгляните на них.

* Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — римский политический деятель, оратор и писатель.

** Макиавелли Никколо (1469—1527) — итальянский политический мыслитель.

*** Ранке Леопольд фон (1795—1886) — немецкий консервативный историк.

**** Парацельс (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм) (1493—1541) — средневековый врач и естествоиспытатель.

Герр Вольке с крысиным проворством забрался в нижние отделения шкафа, извлек оттуда пухлую папку, перевязанную шпагатом, и, развязав узелок, стал разворачивать шуршащие афиши. Это было представление в стиле средневековых «Волшебных картин». Выцветшие буквы все еще продолжали восторженно вопить: «ЕДИНСТВЕННОЕ... НЕПОВТОРИМОЕ... СЕНСАЦИОННОЕ...» Доктор Ф. повсюду фигурировал в индийской чалме и элегантном фраке. Черные глаза смотрели пронзительно на блондинку астенического типа, застывшую в эффектной позе. Подняв край афиши, Мезе сказал: — Сомнамбула недурна... Вы не находите, Штанге?

Вольке продолжал комментировать:

— Я познакомился с доктором Ф. во время его гастрольной поездки. Преподнес ему редкое издание «Сивиллиных книг»^{*}. С того времени он постоянно пополнял мою коллекцию своими афишами, а вот сейчас, когда его талант по-настоящему оценен, я... одну минуточку...

Над входной дверью звякнул звонок. Бросив афиши, антиквар вышел к покупателям. Голос его любезно журчал из-за плотной портьеры: «Редкий... экземпляр... Изумительно выполнены тени... Классические линии. Совсем недорого...»

Я отложил в сторону Ранке, захватил пальцами уголок желтой афиши, быстро сложил ее и спрятал в карман. Мезе от неожиданности открыл рот, но рассуждать было поздно. Явился герр Вольке, и афиши вновь запорхали в его руках. Казалось, превращением блондинки под воздействием гипнотического взгляда доктора Ф. не будет конца. Тогда Мезе сказал:

— К сожалению, у нас нет времени, герр Вольке. Как-нибудь в другой раз.

Вольке оставил афиши и, рассыпаясь в любезностях, провел нас к автомобилю. Я попросил его оставить для меня Макиавелли и Ранке. Он казался растроганным. Потом машина дернулась. Карнакиды пронеслись в стремительном танце. Когда мы свернули за угол, я развернул афишу. Она липла к лицу, вырывалась из рук под напором ветра.

— Что вы скажете, Хайнц, о прошлом нашего метра? — спросил я.

— Почему только метра?

Я внимательно всмотрелся в черты сомнамбулы. Черные точки клише ползли по чувственному лицу, маняще сгущались в разрезах глаз. Сомнения не было.

Это была фрау Тепфер.

^{*} С и в и л л ы — легендарные прорицательницы, упоминаемые античными авторами.

У вас утомленный вид, Хейдель. Призраки тоже способны утомляться, особенно когда им приходится усиленно шевелить мозгами. Вспомните-ка лучше ваш цикл лекций по истории Флоренции. Зальцбург. Девятнадцатый год. Вы неистовствовали на кафедре, а я мечтал о конце вашей лекции, чтобы, забежав в харчевню, с жадностью проглотить порцию требухи. Теперь положение изменилось, и вы, знаю, ждете спасительного рассвета, чтобы, по рецепту Овидия*, «раствориться в золоте утра». Мы распрощаемся навсегда, Хейдель. Вы вознесетесь в эмпирей**, чтобы там наслаждаться пением хрустальных шестеренок, а я вернусь в мир, отравленный ядом индустриальных облаков, в мир, где есть политика, собачьи выставки, юбилеи и исторические концепции. Я отнюдь не противник цивилизации и порождаемых ею иллюзий, но рудиментарный остаток совести мешает мне вести спокойную жизнь необюргера. Не зря же Фауст просил черта избавить его от совести, этой неудобной, непрактичной, маркой штуки... А тогда, в лаборатории доктора Ф., она долго мешала мне прислушаться к «голосу разума», от лица которого выступал Хайнц Мезе. Хайнц Мезе занимался селекцией, а по воскресеньям уплетал печеный сыр, беседовал с сыновьями о достоинствах нового антицелостного препарата. Когда я пытался задавать вопросы, он раздраженно отвечал:

— Какого черта, Штанге! Мир обновляется, сбрасывает коросту под ударами германского оружия, а вы хнычете над эфишами, которыми был оклеен забор истории. Вас беспокоят вопросы, которые теперь уже никого не беспокоят.

Брюзжание Мезе еще больше настораживало меня. Я должен был знать, какова настоящая цель исследований, которые проводит доктор Ф., кто эти сотрудники — артисты с бурным прошлым или маньяки? Почему в лаборатории находятся люди, которых прячут и которые исчезают неизвестно куда? Зачем мне вменялось в обязанность ворошить историю, а потом самым нелепым образом прятать безвредную пачкотню в патентованный сейф? Впрочем, ответ на последний вопрос я решил получить собственными силами.

Чтобы проверить, какое в действительности значение придает доктор Ф. моей работе, я решил подсунуть ему историческую фальшивку. Реакция на мою работу могла бы объяснить гораздо больше, нежели месяц глубокомысленного безделья.

* Публий Овидий Назон (43 до н. э. — ок. 18) — римский поэт.

** Э м п и р е й — по представлениям древних, верхняя часть неба; символ потустороннего мира.

За несколько часов я состряпал несуществующий исторический факт в стиле моих «Замков». В этой исторической клоунаде, правда, не было ничего оригинального. Почти вся средневековая историография — это фантастическое сплетение истинных и ложных фактов, которые списывали друг у друга продажные перья.

Для общего колорита достоверности я отталкивался от сравнительно проверенных данных по истории Великой германской империи десятого века. Я взял за основу два действительных факта: обычай давать епископство детям и «открытие» так называемого «Константинова дара» — грамоты, по которой римский император Константин после своего чудесного исцеления якобы навечно отдавал во власть папе Рим и Италию. Сам по себе «Константинов дар» тоже был фальшивкой — грамота была сфабрикована по указанию хищного папы Льва XVI в 1150 году и, конечно, никак не могла быть открыта в десятом веке. Это меня особенно устраивало. Большая ложь лучше скроет малую. Что касается пятилетнего епископа Реймса, сына графа Герберта Вермондоа, то он действительно существовал и сан его был утвержден папой и королем. В те времена это не было бессмыслицей: епископство рассматривалось как феод*, и если ребенок мог быть графом, то почему бы ему не быть епископом?

Соединив правду и вымысел, я утверждал, что в 926 году жила пятилетний епископ Мориц Реймский. Жизнь святого сопляка была заполнена торжественными и утомительными приемами и многочасовыми молебнами. Нередко при этом Мориц скучал, хныкал, и монахи, чтобы отделаться от капризного ребенка, запирали его в церковной библиотеке, где Мориц забавлялся драгоценными античными свитками, табличками и оправленными в золото священными книгами. Так, роясь в фолиантах церковной библиотеки, мальчишка нашел футляр из свиной кожи, который решил приспособить для хранения игрушек — золотых и серебряных фигурок рыцарей. Разразился скандал. Монахи отняли у Морица футляр, выпороли его, а в футляре обнаружили знаменитую грамоту кесаря Константина, датированную 313 годом.

Мориц пожаловался отцу, графу Вермондоу. Монахов примерно наказали за превышение воспитательных мер, а грамота была утеряна среди этой сутолоки. И только в 1150 году, вновь случайно найденная, она была полностью издана в сборнике декреталий** по указу Льва XVI, жаждавшего власти.

* Феод — в средние века наследственное земельное владение.

** Декреталии — постановления римских пап в форме посланий.

Вот этот псевдоисторический анекдот я передал доктору Ф. в качестве неоспоримого доказательства творческой продуктивности моего безделья.

У меня было мерзкое настроение. Я утешался лишь словами одного весьма практичного стоика, которыми он начал одно из своих нравоучений: «Ну а если надумаю ответить, так что на ум взбредет, то и наплету, когда ж это историка к присяге водили?»

Ловко сказано, а, Хейдель?..

В тот день, помню, стоял сырой туман. Пейзаж казался размытым, цветы блекли, а сторожевые вышки подпирали невидимыми опорами завоеванный ими мир. Я как раз принес историю о пятилетнем епископе Морице, и Ф., сложив руки, широкие, как плавники рыбы, изучал миниатюру. По его лицу медленно ползли тени мыслей, оттенки настроения, заготовки стандартного набора выражений: брови сдвигались — раздвигались, уголки рта дрожали, под скулами перекатывались упрямые волны желваков. Молчание затягивалось. Это было даже не молчание, а разжижение времени. Наконец Ф. отодвинул лапку и посмотрел на меня неотразимым взглядом.

— Вы проделали большую работу, Штанге,— сказал он весомо, точно эта устная похвала могла облекаться в сверкающее серебро орденов.

— Стараюсь! — ответил я, точнее равкнул, как истинный солдафон-интеллигент (Геринг сказал: «Мы их научим хорошим манерам»), и протянул Ф. проект новой исторической миниатюры, которая своим туманным содержанием должна была отвлечь внимание доктора от фальшивки с Морицем.

— Аттила*, Ат-ти-л-ла... — не без удовольствия поигрался Ф. именем славного вояки, — аттиловы бани? — скривился он, скользя по строчкам. — Вы не могли бы подбирать факты более популярные, в стиле Морица или ваших «Замков»?

Эта фраза была для меня сигналом к действию. Главное не упустить ценных возможностей сложившейся ситуации. Я сказал:

— История каменных аттиловых бань была впервые изложена в знаменитой «Истории Аттилы». Римские бани были выстроены для Аттилы архитектором Марцеллом, плененным в Сирии. Марцеллу обещали за это свободу, но Аттила решил иначе и сделал архитектора своим банщиком. Мне кажется, что именно такая история наиболее подходит для неподготовленного читателя. Истинность ее весьма относительная, но впечатление...

Я попал в точку. Ф. молчал. За стеной нежно лепетала секре-

* Аттила — языческий царь, тиран, завоеватель, чья империя простиралась от Дуная до Рейна.

тарша: «Доктор Рембо, вас срочно вызывают. Эльза, вам необходимо... нет, к сожалению... еще не известно... состояние... поступили...»

Неожиданно Ф. сказал:

— Слушая вас, Штанге, я понял только одно — вам мешает неподготовленность в вопросах социальной психологии, хотя интуитивно вы педагог. Так вот, должен вас предупредить, что нас интересует не только художественная сторона текстов. С этой примитивной задачей справился бы любой беллетрист. И наверняка успешнее вас... Прежде всего, вы должны отбирать яркие факты, подтверждающие героическую беззаботность нордической расы. Запомните это, Штанге. Нас интересуют моменты истории, истинность которых может быть оценена только с точки зрения задач национальной, арийской культуры.

Слова доктора Ф. озадачили меня.

— Мне всегда казалось, что истина не имеет национальности, — сказал я.

— Оставим в стороне академические споры. Уж не хотите ли вы сказать, что и ваши «Замки», всего лишь воздушные исторические замки, чужды прославлению нации?

— В известной степени, по причинам, которые не зависели от моей добросовестности, — ответил я, снимая с доктора Ф. воображаемую чалму и примеряя ему судейскую шапочку. Он выглядел в ней значительно лучше. — Средневековые хроникеры бессознательно мифологизировали историю. Их попытки осмыслить разрозненные факты зачастую приводили к тому, что история во многом стала шифром, ключ к которому потерян.

— Бросьте, Штанге, — доктор Ф. откинулся в кресле, — это просто эффектная фраза в стиле этого литератора, этого счастливого, пессимиста Шпенглера*. Очень скоро наступят времена, когда история станет не эмпирической наукой, а духовным ПРОДУКТОМ высших рас. А пока такая возможность достигается силой нашего оружия, вам придется тщательно обработать «Замки» и устранить все недостатки. Это возможно?

— При наличии необходимой литературы и времени.

— Составьте список. Желаю удачи.

С трудом скрыв раздражение, я вышел из кабинета. Попытка узнать цель моих действий привела к еще более бессмысленным действиям. Однако, Хейдель, теперь я был твердо убежден, что возня вокруг истории отнюдь не камуфляж, скрывающий настоящие исследования. Доктор Ф. придавал моим работам большое

* Шпенглер Освальд (1880—1936) — немецкий философ-идеалист, автор шумевшего трактата «Закат Европы».

значение, даже больше, чем можно было предполагать. Вот в чем была загадка. Да, Хейдель, здесь было над чем поломать голову.

А пока оставалось одно — разыгрывать комедию, бессмысленную, как жульт древних жрецов.

И Огюст Штанге ударил в тимпаны...

* * *

Каждый человек, Хейдель, тайне фаталист. Он живет жадно, неряшливо, так, что вся его судьба, предмет постоянной заботы, становится лишь бесконечным ненасытным желанием, которое невозможно утолить, потому что насыщение еще мучительнее. Но потом, когда проходит время и чувства притупляются, он ищет оправдания каждому своему действию, каждому движению мысли и, что самое удивительное, — находит. Он видит во всем смысл, порядок и даже... гармонию. Жадность кажется ему испытанием, подлость — заблуждением, а сумма желаний всего лишь продуктом своеобразия личности. Вот даже сейчас, вороша прошлое, я невольно окрашиваю все видимостью смысла.

На самом деле все было так и не так. Во всяком случае, все было гораздо глупее. Историкограф Огюст Штанге страдал профессиональной ограниченностью, но не осознавал этого. Он был способен исключительно к прогулкам в садах и восторженной болтовне в стиле сократических диалогов. Всякая попытка действовать была началом поражения. И когда я по приказу доктора Ф. приступил к проверке своих прежних миниатюр, мне показалось, что реальность явно сдвинулась со своих координат.

Я открыл фолманты герра Вольке, хроники, биографии, капигулярии, деловые записки. Я перечитывал письма, буллы, эдды, сказания, притчи, надписи, эпитафии, жизнеописания, автобиографии, исповеди, статусы, досье, декреты, послания, законы. Передо мной металась тень великих историков. Они вышли все, точно из ящика Пандоры, все — авторы величайшей трагикомедии, чтобы зволю понздеваться над историкографом Огюстом Штанге. Я не узнавал книги, с которыми работал в Зальцбурге. Это была история безумцев, восторженный бред наукоманов. Устранить все возможные неточности? Но сами посудите, Хейдель, какого сорта были эти источники. Я, к примеру, узнал, что знаменитый указ Генриха IV, который запрещал баронам право на грабеж, вовсе не был издан в 1103 году. Он не был издан и сто лет спустя, если верить биографу короля. Так моя историческая миниатюра о последних днях деревушки честных грабителей, которые буквально умерли с голоду, потому что не умели трудиться, стала по существу мифом! Они продолжали грабить! А небезызвестная эстетка, монахиня Рос-

вита*, подарившая Европе театр и изящные манеры, впала в непреодолимое заблуждение. В своей истории она стала истступленно вещать о том, что плененная королева Аделаида, дочь Рудольфа II Бургундского, вовсе не спаслась бегством в 951 году, а была передана палачу и тайно удушена по приказу ее мужа Беренгария II. Красочный рассказ о ее бегстве в Павию попросту исчез. Вы можете себе это представить, Хейдель?.. Я бы мог привести еще множество нелепостей и баснословных подробностей, которые мне удалось обнаружить в книгах, предложенных доктором Ф. Я тщательно их осмотрел. Внешне они не вызывали подозрения. Они даже пахли тем специфическим островатым запахом пыли и засаленной кожи, который также неотделим от древних фолиантов, как запах помета от попугаев. И все же в моих глазах это были фальшивки, ловко сработанные, неповторимые в своем оформлении, в своей неповторимой лжи. Они противоречили всему в моих «Замках». Но кто мне их подсунул? Доктор Ф.?.. Непонятно зачем. Герр Вольке?.. Ну да, его мутноватый штамп красовался на большинстве изданий.

«Нумизмат!!! Авантюрист!!!...» Рыжие усики запорхали передо мной. Я спрятал литературу в сейф и пошел на поиск Мезе. Мезе обычно работал в той части лаборатории, куда доступ был разрешен немногим. Впрочем, Хейдель, забыл вам рассказать об архитектурных особенностях особняка. Я с натяжкой мог бы сравнить его с древнеримской виллой, но рассуждения о капителях и колоннах недостаточно всколыхнули бы вашу фантазию. Тогда скажу проще. Это было приземистое здание, под глянцевой, черепичной крышей, окруженное оградой из плохо на вид отесанных камней. В этой ограде была известная доля дешевого шика, хотя цветник, раскинувшийся в пределах каменного квадрата, был разбит в простой и рациональной голландской манере. Но война внесла некоторые конструктивные изменения в план особняка. Обогнув пряничный фасад, аллея пиний неожиданно упиралась в стену, которая кирпичной скобкой охватывала всю северную часть особняка. Кирпич был еще свежим. От него пахло цементом. Я долгое время гадал над целью этой стены за стеной, пока не понял, что именно за ней, в глухой части особняка, проводились все важные эксперименты. Впрочем, сбоку в стене была массивная железная дверь с «глазком». Стальное веко поднималось только по утрам, когда часть сотрудников лаборатории исчезала за кирпичной стеной. Там работал Мезе.

Я долго прогуливался по аллее, кружил вокруг стены и не заметил, как наступил вечер и в разрыве облаков закачалась сонная звезда.

* Р о с с и я — средневековая монахиня, которой по традиции приписывали создание европейского театра.

Потом дверь открылась, по аллее прошли сотрудники, похоронное стадо Циклопа. Они молча кивали мне, и я бы не удивился их... блеянию.

Мезе вышел последним. Он увидел меня, и его большая, по-детски круглая голова встревоженно завертелась:

— Ехать в город, ради антиквара Вольке?.. После такого трудного дня.

Мезе не понимал. Он упорно шел в сторону парадного подъезда и не хотел слушать моих сбивчивых объяснений. Упрямство Мезе уже готово было одержать верх над моим решением, но произошел неожиданный поворот. Задержавшийся в развилке аллеи коллега Кохлер похлопал Мезе по спине:

— Сегодня ты, конечно, поправишь свои дела, Хайнц. Будет играть Паск, а Паску не везет. Ты можешь отыгаться.

Сцилла и Харибда... Хайнц жидковато хихикнул. Прошлой ночью он проиграл в покер гораздо больше, чем то позволяло ему трезвое воображение. Престиж игрока мешал ему отказываться по финансовым соображениям, но и садиться за карточный стол он не хотел. Хайнц раздумывал ровно столько мгновений, сколько потребовалось Кохлеру на ритуал похлопывания. Мое предложение посетить антиквара Вольке неожиданно перевесило. Это был отличный предлог уклониться от очередного проигрыша.

— Прости, но у нас небольшое дело,— ответил Мезе,— Паска оставляю тебе.

Кохлер косо посмотрел на меня и ушел.

— И это жизни!.. — вздохнул Мезе.

Он продолжал вздыхать и жаловаться всю дорогу, пока мы добирались к Берлину. Его раздражало все: и плохой бензин, из-за которого мотор стрелял как мортира, и севшие аккумуляторы — «в трех шагах дерево не увидишь», и наступившая ночь.

На западе остывал край земли. Черепичные крыши ферм кружились среди редких деревьев. Героическое небо третьей империи натягивало парадный вицмундир с орденами созвездий.

Когда мы остановились возле антикварной лавки герра Вольке, Мезе не выразил особого желания заходить в магазин. Герр Вольке встретил меня с приторной любезностью. Прежде чем я успел собраться с мыслями, он осведомился о моем здоровье, о моем мнении относительно развития восточной кампании, он склонял мое имя не иначе, как вместе с именами столпов историографии, но когда дело дошло до «чрезвычайно ценных для науки останков первобытного человека», которые мне предлагали оценить, я решил, что с меня хватит, и с откровенностью сунул под нос герра Вольке фолиант сомнительного содержания:

— Куда вы дели указ Генриха IV, деревушку честных граби-

телей? Или вы считаете, что история может вполне обойтись без этого маленького события? А Росвита?!. Мне показалось, что ваша Росвита явно страдает выпадением памяти. К тому же она проявила излишнюю кровожадность по отношению к Аделаиде.

— Я... я ничего не знаю!.. — с трудом собрав звуки в слова, клялся нумизмат.

— Не скромничайте, коллега, — угрожающе размахивая фолиантом, я заставил торговца искать защиты за гипсовым бюстом Веспасиана*, — вы имеете наглость снабжать вашего лучшего клиента, доктора Ф., какой-то дрянью, историческим маразмом, грязными фальшивками и думаете при этом, что вам удастся избежать содержательной беседы со специалистом, у которого будут сильно чесаться руки и который ради справедливости почешет их. Где вы достали эти сборники анекдотов, кто вам их дал, кто их фабрикует?!

Герр Вольке попытался ускользнуть, но я схватил его за шиворот и требовал объяснений с такой настойчивостью, что бедный нумизмат завопил пронзительно и тоскливо, точно вызвал к бесплотному духу императора. Веспасиан отрешенно взирал на наш поединок, но зов был услышан. В магазин влетел Мезе и, тряся от натуги животом, вытолкнул меня на улицу.

— И для этого, для ЭТОГО вы тащили меня в город!.. — возмущался Мезе, забрасывая свои тонкие ноги, обтянутые сапогами, в машину. — Уж лучше просадить Паску сотню-другую, чем слышать, как визжит Вольке.

Я неохотно пристроился рядом с Хайнцем, но злость уже прошла. Осталось только глупое ощущение комизма сложившейся ситуации.

— Вольке шарлатан, — ответил я на настойчивый вопросительный взгляд Мезе, — он подsunул мне кем-то сфабрикованные фолианты, делец...

Машина свирепо дернулась, потом выбралась из лабиринта улиц, и в окнах ее раскинулось темное однообразие автостреды.

Я начал жаловаться Мезе. Рассказал ему о задании доктора Ф., о неудаче с историческими миниатюрами. Наконец я дошел до фолиантов герра Вольке, которые буквально выворачивали наизнанку историческую картину. Мезе бросил сигарету в ночь и воскликнул с ложным пафосом:

— Наивный герр Вольке! Скорей всего он купил чью-нибудь разгромленную букинистическую лавку и по невежеству пустил книги в оборот, не подозревая, к каким печальным последствиям это может привести. Впрочем, Штанге, вы убеждены, что издания фальшивые?

* В е с п а с и а н (9—79) — римский император с 69 года.

— Это может установить только экспертиза, — ответил я, — но разве не достаточно моей профессиональной памяти, моих «Замков»? В конце концов история о святой Аделаиде, может быть, и недостаточно известна современной публике, но уж во всяком случае не относится к категории узкоспециальных. Анекдоты всегда пользовались сбытом. Еще в начале нашего века каждый школяр мог бы довольно бойко рассказать несколько вариантов о бегстве легкомысленной королевы из тюрьмы своего коварного мужа. Но после сверки с источниками Вольке это выглядит не более чем моей фантастической выдумкой. Откройте сборник, и вы обнаружите, с какой шекспировской театральностью герр Вольке задушил Аделаиду... через пятьсот лет после ее смерти!.. Кто следующий, а Мезе? Оттон Великий, Людовик Лысый, благочестивый?

— Не размахивайте руками, Штанге. Мы врежемся в дерево! — предупредил Мезе. — И вообще я голоден. У меня неприятности, и ваша Аделаида будет сниться мне всю ночь... Ваши доводы звучат вполне убедительно. И все же я бы посоветовал вам обратиться к доктору Ф. с просьбой отправить книги на экспертизу. Ну а потом... потом душите своего Вольке...

Остаток дороги Мезе развлекал меня старыми анекдотами. Потом машина остановилась. Мы вышли на подмостки, где марионетки в белых халатах поклонялись всемогущему Суфлеру, где Справедливость появлялась затянутой в мундир мышинного цвета и вещала в ритме военных сводок: «С точки зрения социопсихологии всякий исторический факт суть сумма действий, совершаемых определенными лицами, чье личное самоосуществление тождественно жизненному представлению великой германской нации».

— Главное, хорошо выспаться, — прощаясь, сказал Мезе, — не будем тревожить призрак прошлого.

Но мне послышалось, точно он сказал:

«Успокойтесь, Штанге. История не пахнет!..»

Тупик... Мой рассказ, Хейдель, достиг того момента, когда невольно теряешь надежду, что все линии развития получат ясное логическое завершение. Что и говорить, за годы, проведенные в клинике доктора Хенрика, я полностью растерял способность извлекать из всякой бессмыслицы смысл. Я с трудом восстанавливаю свое прошлое. Остались только отдельные картины, обрывки слов, звуки. Прошлое подобно калейдоскопу: цветными пятнами всплывают лица — желтые, синеватые, розовые, блуждают солнечные блики бесконечных восходов и закатов... И вот сейчас, заглядывая в этот калейдоскоп, я как бы заново переживаю ночной налет ан-

глийских бомбардировщиков и взрыв авиабомбы всего в десятке метров от особняка. Это произошло как раз в ту ночь, когда мы расстались с Мезе, злые до омерзения.

Примерно до полуночи я крутился в постели, обдумывая, как лучше, незаметнее провести экспертизу фоллиантов герра Вольке. В общем-то у меня была одна возможность. Вы не догадываетесь, Хейдель? Странно... А ведь я тогда подумал о профессоре Неринхоффе, вашем любимом оппоненте и друге. Представляю, как вам скучно без него. Вы любили, вы очень любили спорить, спорить и пить вишневый ликер. Так и чувствую его ароматное пламя на языке... «Спор,— говорили вы,— карнавал, который устраивают Истина и Ложь, чтобы поиздеваться над болтливыми стариками».

В этих спорах Неринхофф обычно брал на себя своеобразную роль шута. Это был самый мрачный и желчный из шутов. Это, однако, не мешало Неринхоффу быть отличным знатоком старинных манускриптов. Одного его взгляда на фоллианты герра Вольке было бы достаточно, чтобы вывести шарлатана на чистую воду.

Эксперт, и притом один из лучших в довоенной Германии, у меня был. Но не было никакой возможности «протащить» книгу в Зальцбург, минуя цензуру и доктора Ф., идти через которого мне не хотелось по многим причинам. И вот, продумывая все возможные варианты, включая даже маловероятный отпуск, я ненадолго забылся сном.

Гул самолетов меня не разбудил, они шли на большой высоте. Бомба взорвалась неожиданно, расколов ночь. Как говорили потом, бомба упала случайно. Англичане бомбили шинный завод, и их попытки разуть нашу боевую технику совершенно не принимали во внимание скромный особняк, затерявшийся среди ферм и фруктовых деревьев.

Утром я пошел посмотреть на место взрыва. Серо-стальная пелена облаков стлалась по небу. Под ногами крошился битый кирпич. Я остановился возле северной стены. Солдаты стройкоманды восстанавливали ограду. Вид у солдат был унылый. Кто-то разматывал моток побуревшей колючей проволоки. Она дрожала на стальных крюках. Воронку спешно забрасывали землей. Влажные комья летели вниз, погребая ночной страх, а может быть, саму истину, которой опять оказался недостоин мир?... Доктор Ф. не любил зрелища воронок. Что они ему напоминали? Лунные кратеры?... Нет... нет... они ему напоминали о прошлом... о цирке, где он когда-то потрясал воображение мещан неотразимыми прелестями загипнотизированной фрау Тепфер.

Возможно, тогда мне пришло в голову простое решение. К чему посылать Неринхоффу фоллианты? Не проще ли затребовать у него точные данные о Росвите и эпохе Генриха IV под каким-нибудь

благовидным предлогом? Этим самым я не нарушу обязательство сохранять свои работы в негорючем сейфе «Феникс» и смогу миновать военную цензуру, которая не пропустит мое письмо из особняка, но не обратит внимание, если оно будет послано обычным путем из городского почтового отделения.

Целый день я составлял письмо, стараясь придать ему как можно более нейтральный характер. В моей трагикомедии, где до сих пор действовали лукаво мудрствующие хронисты, монахи, толпы графоманов, физиологи и сомнамбулы, это письмо не сыграло какой-либо роли. Оно было написано, но не отправлено. Этому помешало событие, которое подвело итог моим бессистемным попыткам понять конечные задачи лаборатории социальной психологии.

* * *

В те дни я часто кружил по лабиринту-цветнику. Странно, но именно там в одну из бессонных ночей я нашел человека под номером 2675. В синеве неба плыли серебристые обрывки облаков. Я кружил по аллеям и с удивлением остановился перед высохшим фонтаном. Мне показалось, что теперь не три, а четыре эльфа полощат мраморные щиколотки в пустой чаше. Присмотревшись, я увидел, что на центральном островке спит человек. В отблеске прожекторов его потрепанная пижама сливалась с изъеденными сыростью каменными изваяниями. Я забрался в чашу фонтана и склонился над ним. Он тихо дышал, и ввалившиеся веки глаз, казалось, сомкнул непробудный сон. Я дотронулся до его головы и тут же инстинктивно отшатнулся — рука скользнула по безволосому темени. Незнакомец просыпался. Веки приоткрылись. Бессмысленно мелькнул в глазах водянистый блеск. Но сон был сильнее. Я ни минуты не сомневался, что передо мной был один из «плодопечных» доктора Ф.

«Так вот кого селекционирует Мезе? Да ведь это живой скелет», — пронеслось у меня в голове. Я поднял человека и понес в дом. Он был легок, точно соломенная кукла. Я никого не встретил, только в дальнем конце коридора мелькнул белый фартук прислуги. Я уложил незнакомца на диван, запер дверь и, расхаживая по комнате, стал размышлять о случившемся. Вероятнее всего, заключенный сбежал, хотя было совершенно непонятно, как ему удалось миновать охрану. Конечно, его начнут искать, перероят весь особняк и найдут у меня... Тогда конец, конец историографической вакханалии. Возможно, это будет восточный фронт. Санитар Огюст Штанге с носилками. Санитар Огюст Штанге выносит обмороженные ноги, кладет их в эмалированные тазы. Ноги уже не

двигаются. Марш окончен. Санитар Огюст Штанге опечатывает славных героев свинцовыми пломбами. Вой сирен. Мир, подобный образам древних сказаний: «Это был ни песок, ни море, ни ветер, ни буря. Земли не было, и сверху не было неба. Был хаос, и трава нигде не росла».

Значит, вернуть беглеца доктору Ф.? «Совершенно случайная встреча. Не правда ли, забавный экземпляр. Спал среди мраморных проказников».

Я заметался по комнате. «Игроки в бильярд» спокойно раскуривали трубки, мазали кии меловой змейкой. В открытое окно тянуло приторной предгрозовой духотой. У меня возникали самые нереальные планы. Я хотел вывести заключенного из особняка, спрятать где-нибудь. Но сознание невозможности этого приводило меня в бешенство. Долгие месяцы я пытался проникнуть в тайну лаборатории доктора Ф., и вот на очной ставке с ней растерял все аргументы. «Партия затянулась,— подумал я.— Все слишком затянулось: страх, ненависть, молчание...»

Неожиданно человек проснулся и в страхе закричал:

— Аделаида умерщвлена... это ужасно... вот она... петля... затягивается... мертвенная бледность... остановитесь... остановитесь!

— Аделаида умерщвлена? — пораженный, переспросил я.— Кто мог внушить вам подобную историческую ложь. Этого никогда не было.

Все это я пытался говорить как можно более мягко и спокойно. Я даже пытался улыбнуться. Но улыбка не получилась, потому что беглец спрыгнул с дивана, и, вытянувшись передо мной в струну, хрипло крикнул:

— Номер две тысячи шестьсот семьдесят пять!

— То есть как? — переспросил я.

— Так точно, герр доктор,— ответил человек, протягивая руку.

И тут, Хейдель, я увидел нечто такое, что в один миг разрушило мои наивные представления о высокой моральной миссии науки, возвращенные вами в мертвом саду понятий и категорий. До сих пор в самых изоощренных сновидениях, в бредовой лихорадке, даже в моменты, когда голос рассудка пугливо немеет во мне, я вижу эту руку, тянущуюся ко мне сквозь вихрь разбитого на мельчайшие осколки мира. Она тянется ко мне тонкими пальцами, где над костлявым изгибом кисти ползут фиолетовые витатурированные цифры «2675». Помню, Хейдель, вы нередко, перечитывая Канта *, мечтали развить на новом уровне антропологическую характеристику различных народов. Тогда вас восхищали слова философа, где он говорит о нашей склонности к методичности и педан-

* Кант Иммануил (1724—1804) — немецкий философ.

тичной классификации. Думаю, если бы вам пришлось увидеть номер, вытатуированный на тонкой руке, у вас были бы несколько иные представления о подобной «характеристике». Впрочем, вы бы и тут выкрутились, ведь у вас всегда был завидный запас софизмов. Ничто не могло умертвить вашу надежду, вашу веру в то, что наступят времена научной гуманности, исчисленной в коэффициентах, графиках и функциях. Но между оптимизмом и человечностью с недавних пор разлад... В моем сознании их разделил номер «2675».

Худшие подозрения подтвердились. Миф стал реальностью. Слухи, намеки, двусмысленные выражения, идилическая тишина лаборатории — все облетело, осталась голая реальность. Рядом стоял голодный, изможденный человек, в глазах которого не было ни радости, ни печали, только покорность, угодливость. Номер «2675» — вот, Хейдель, вершина нравственного прогресса!..

Но хватит патетических выражений. Больничная койка не ораторская трибуна. Я отлично помню свои попытки скрыть страх от заключенного. Я сказал почти с влейными, как у сельского духовника, интонациями, что он, номер 2675-й, поступил неосторожно, предприняв попытку бежать из лаборатории, где работают выдающиеся ученые Германии, помогающие доблестной армии штурмовать ослабленный восточными идеями мир. Я сносно справился с проповедью, но ответ незнакомца свел мои старания к нулю.

— Я не убегаю, герр доктор. Я знаю, что убежать опасно. Я не мог бы убежать потому, что болтаюсь в воздухе и не могу пошевелиться. А потом мне делают укол, и я начинаю видеть. Сегодня я старался... я все отчетливо видел. В прошлый раз доктор Тенком велел наказать меня электротоком за то, что я плохо усвоил некоторые факты. Поэтому сегодня я старался....

Странная логика человека-призрака меня не убедила, но в то же время сам факт побега перестал особенно интересовать, хотя в общем-то оставалось неясным, каким образом ему удалось усыпить бдительность охраны. Сработал невидимый механизм ассоциаций, и в моем сознании странным образом соединились видения номера «2675-го» и жуткая сцена удушения королевы Аделаиды. Я чувствовал, здесь не простая случайность. Испытуемый видел сцену удушения Аделаиды после того, как ему сделали какую-то инъекцию. Более того, он старался, именно старался увидеть эту картину, а не какую-нибудь другую. Значит, в общих чертах, а может быть в деталях, она была ему сообщена заранее. И очень, очень может быть, что текст был подготовлен на основе фальшивых фолиантов герра Вольке? Ведь именно в них я обнаружил кучу исторических подделок и нелепостей... Цепь неожиданно замкнулась. Что там впереди? Невидимая тропа преступления, ведущая в будущее? А может быть, тайно развеянный лепел истории?

Я спросил:

— Вы очень старались видеть. Похвально, очень, очень... Но не значит ли это, что в прошлый раз вы не очень старались и наказание, которому вас подверг герр Тенком, вполне заслуженной?

— Старался, я старался! Но в тот день пропал Яначек. Я искал его, а когда мне сделали укол, я видел Яначека лежащим на железной скамейке, но не видел королеву. Поэтому доктор Тенком стал топтать ногами и велел включить ток.

«Видел Яначека на железной скамейке». Значит, в прозекторской, догадался я, живая человеку-призраку, точно и в самом деле мне все было доподлинно известно. Уловка удалась. Когда я спросил о королеве Аделанде, то в ответ услышал нечто интересное:

— Она лежала в каком-то подвале. Было сыро и пахло плохо. Королева лежала неподвижно на соломе, и мышь бегала у нее по лицу.

И тут после этих слов я вспомнил строки из Лже-Росвиты герра Вольке: «...и когда к телу ее были допущены монахини и служанки, дабы омыть, было замечено, что лицо ее обглодано крысами, кои даже в смерти не пощадили ее красоты».

Я развернул перед заключенным желтую афишу, которую изъяс из коллекции герра Вольке. «ЕДИНСТВЕННОЕ! НЕПОВТОРИМОЕ! СЕНСАЦИОННОЕ!» — вопила реклама «швейцарского Парацельса».

Гипнотический взгляд доктора Ф. произвел на человека-призрака неожиданное действие. Его лицо застыло, тело каталептически вытянулось и с деревянным стуком рухнуло на пол.

Я бросился на помощь, отшвырнув ядовито-желтый лист бумаги, но резкий звук открывающейся двери остановил меня. На пороге стоял Мезе — лоснящийся, злой.

— Че-е-ерт! Я кажется сломал замок...

И тут он все увидел: желтое пятно афиши, мое искаженное лицо и неестественно вытянувшееся тело заключенного. Страдальческая маска гуманиста медленно деформировалась на лице «честного физиолога». Так меняет выражение мякишная голова в руках нищенствующего скульптора.

— Параноик! — взвизгнул Мезе. — Вы погубите себя. Немедленно вызовите охрану. Его надо убрать, он опасен...

Лицо его побагровело, пока он подбирал афишу и, торопливо комкая, заталкивал в карман смокинга.

Я не двигался. Упрямство? Нет, Хейдель. Это было что-то другое. В то мгновение решался вопрос, останусь ли я человеком свободным или разрушительная сила страха навсегда свяжет меня с тем, кто в идиллической тишине лабораторий грабил человечество. Молчать, пресмыкаться, предаваться безвредному интеллектуальному нытью — нет, Хейдель, я не мог, я не хотел этого. Не

ухмыляйтесь, я трезво оценивал безнадежность протеста. Я был один, но я не был первым. Я был всегда уверен, быть может наивно, что истина, однажды осветившая сознание человека, никогда не умирает вместе с ним. Именно эта вера заставила меня пренебречь советами Мезе. Он понял это.

— В таком случае я сделаю это сам,— решительно двинулся он к телефону,— будете благодарить меня всю жизнь.

Заклоченного увели.

* * *

Светает. Мир за окнами еще погружен в божескую синеву. Генералы и политики видят в этот час радужные сны. К соборным колокольням ползут звонари. Они поднимаются по винтовым лестницам к звездам, и звезды гаснут — мир готовится открыть заспанные глаза, и рейнские сирены прощально помахивают серебряными хвостами.

Я вижу, вы утомлены, Хейдель? Лицо у вас плоское, безразличное. Таким же безразличным оно было в тот день, когда лавочники в мундирах патриотов разогнали «Союз германских историков». Уже тогда академистам дали понять, что мировая история должна быть написана заново... Отныне главной целью стало создание служебно-государственного мифа, провозглашавшего борьбу рас вечной судьбой мира, пружиной прогресса. И хотя толпы отравленных национализмом фанатиков готовы были уверовать в свое исключительное право уничтожать «нижние» народы, этого показалось мало высокопоставленным солдафонам. Наступление на личность перешло в сферу профанированной науки и мистики. Магия (коричневая магия!..) казалась средством, способным осуществить бредовые идеи политиканов. Они вознамерились не только исказить человеческую историю, они мечтали о методах, которые позволяли бы порождать в самом течении времени любые удобные им факты, провоцировать самые нереальные события в далеком прошлом... Очевидно, решение этой бредовой задачи стояло перед лабораторией, которой руководил доктор Ф.

Я видел в этом нечто отталкивающе антинаучное. Я не мог допустить в свое сознание мысль, что историю можно переделать. Для меня это было так же нелепо, как если бы мне пришлось признать возрождение алхимии в XX веке. Но встреча с человеком-призраком на многое открыла мне глаза. Теперь я знал — разум в опасности.

В такой мучительной неопределенности шли дни. Я ждал самого худшего, но доктор Ф. молчал. По-прежнему я являлся в отдел

«экспериментальной историографии» (так вот в чем смысл ее экспериментальности!), курил сигары и разглядывал вахханок. Обеды шли своим чередом. Мезе играл в карты, мечтал о мышках, а фрау Тепфер ежедневно меняла в моей комнате вазу с цветами.

Тепло между тем шло на убыль. Вечерами из окна тянуло осенней сладковатой гнилью. По утрам на листьях деревьев сгустился туман и падал тихим шелестящим дождем. В те дни я часто прогуливался возле фонтана, но среди эльфов я не видел человека-призрака. Моментами я даже переставал верить в реальность нашей встречи.

Развязка наступила неожиданно...

Я вновь оказался в кабинете доктора Ф., в том самом, где произошла наша первая беседа среди аквариумного света полированных шкафов. Но теперь доктор Ф. не плавал над столом, не шуршал листами, да и вид у него был не то что усталый, но скорее угнетенный.

Я ожидал наихудшего. Краткой беседы и еще более краткой реплики, означающей, что я больше не нужен лаборатории, что во мне гораздо больше нуждается армия, испытывающая дефицит в медицинских кадрах.

Но Ф. заговорил о другом.

— Скажите, Штанге, — спросил он, — если я правильно разбираюсь в человеческой психологии, вы, после безуспешных попыток физически подействовать на герра Вольке, теперь отлично понимаете, каково общее направление нашей работы? Я специально дал вам возможность поломать голову. Наблюдение над вами, пусть только не смущает вас слово «наблюдение», дало мне ценный материал в изучении психологии историка «вообще». Надеюсь, теперь отношения между нами сложатся иначе. Вы настоящий исследователь. Ведь от довольно примитивной мысли о фальсификации антикварных книг вы пришли к совершенно противоположному выводу, что речь идет не о приписках, а о действительном изменении суммы?..

Внутренне я весь содрогнулся. На мгновение мне показалось, что доктор Ф. видит меня насквозь. Но мне было уже все равно.

— Я не убежден... Я бы назвал это необычным видом фальсификации историй. Вы пытаетесь деформировать, изменить прошлое. И все же я отказываюсь в это верить!

— Bravo, Штанге! — Доктор Ф. несколько оживился. — Вы лишь раз подтвердили ту прописную истину, что разум гораздо консервативнее действительности. Бедняга Вольке, он едва не испытал это на собственной шкуре. Из донесения Мезе можно понять, что вы обвинили антиквара в подделке. Но уверяю вас, герр Вольке ни

в чем не виновен перед историей. Он только скромный служитель Меркурия. Книги были проданы ему по сходной цене как самый рядовой товар.

— Но они подделаны!

— Это уже малозначащие детали,— доктор Ф. сделал неопределенное движение рукой, как бы останавливая меня на полуслове,— да, это весьма посредственные подделки, состряпанные ослиами, которые пытались внушить министру пропаганды, что история — ворох бумаг, исписанный графоманами. Преступная утопия. Ведь вы согласитесь с этим, Штанге?

Вопрос показался мне провокационным. И все же я ответил:

— Для историка бесспорно. Фальсификация источников в таких масштабах стала бы явной уже в силу своей массовости.

— Не правда ли, потрясающий факт для историка будущего! — воскликнул доктор Ф.— Не все способны это понять. Кое-кому кажется, что мы растоптали свободу, право, жизнь... Преступная слепога! Но вам, Штанге, вам я хочу кое-что показать. Вы должны быть в курсе дела. Раньше я не мог этого сделать. Но сейчас это просто необходимо, необходимо для будущего.

И мы двинулись в логово «швейцарского Парацельса».

* * *

Утро близится, Хейдель. Лик ваш стал нечетким. Трещины на потолке расплавляет отблеск еще далекого светила. И все же я хочу успеть пригласить вас в лабиринт моей памяти. Если в глубине его вы и встретите нечто ужасное, то насколько радостным для вас будет путь к спасительному выходу. Но прежде я дам вам в руки нить. Держите, держите крепко ее конец. Представляю, какой переполох будет в небесной канцелярии, если вы заблудитесь.

Итак, доктор Ф. вознамерился изменять историю в заранее заданном желаемом направлении. Скажем, достоверно известно, что в определенный исторический момент произошло ужасное, коварное злодейство. Злодейство описано, зафиксировано. Но этот факт кое-кого не устраивает. Казалось бы, пустое желание. Доктор Ф. берется помочь. Он воздействует на прошлое, и вот перед нами не убийство, а честный рыцарский поединок. Не правда ли, Хейдель, забавная метаморфоза. Облагороженные тени прошлого теперь могут отбрасывать лучезарный свет на будущее. Все удовлетворены, и совесть историка, по версии доктора Ф., чиста. Ведь он не грешит против истины. Он не фальсифицирует, а создает новые факты истории. В истории нет таможен и границ, нет пограничников и пограничных застав. Факты некому охранять, прошлое может быть ограблено, и никому до этого нет дела.

Впрочем, у вас может возникнуть вполне законный вопрос: неужели кого-то из современников может взволновать судьба королевы Аделаиды? Какая в принципе разница, была ли она удушена или скончалась от неумеренного потребления пищи и горячительных напитков?

Я отвечаю вам, и пусть моя фраза прозвучит цинично — к черту Аделаиду. Она надоела мне, вам, всем... Аделаида здесь ни при чем. Она лишь объект экспериментов. Что-то вроде лабораторной мышки, о которой хныкал Мезе. Напрасно мы бы искали какие-то нравственные критерии в жизни исторической матроны. Речь идет о другом, Хейдель. О том, что доктор Ф. работал над принципиальной возможностью исказить л ю б ы е, понимаете, л ю б ы е факты истории. Подумайте, что такое Аделаида в сравнении с ужасами второй мировой войны?! И вот эти ужасы, о которых ваше поколение, Хейдель, могло только догадываться, эти ужасы доктор Ф. хотел вытравить из истории, сделать так, будто не было ни стертых с лица Земли сотен городов, ни почти полностью уничтоженных народов, будто не было ни концлагерей, об узниках которых впоследствии поэты сложили поэмы, ни погромов, ни освященного доктриной вандализма. Война в том виде, в который хотел ее перекроить доктор Ф., выглядела бы веселым опереточным фарсом, точнее актом оперетты, в которой актеры все время переодеваются, меняя вместе с костюмами эпохи, нравы и каламбуры.

Ну как, Хейдель, нить еще не выпала из ваших рук?

Тогда двинемся дальше. Зайдем в самый глухой тупик и попытаемся выпутаться из него, если это вообще возможно.

«Ну хорошо, хорошо,— сказали бы вы,— милый мой Штанге. Я могу допустить такой мысленный эксперимент в стиле Уэллса, произведения которого увлекали меня в юности. Он кажется от правил какого-то соотечественника в машине, естественно, английского образца. Эта машина могла разъезжать по временам, как по хорошему шоссе. Но ведь это только нравоучительная сказка, мой дорогой. Возможно, писатели не одного поколения будут гипнотизировать читателя английской машинкой, но неужели она могла заинтриговать вас, историка, который, как мне кажется, не был склонен ни к спиритизму, ни к оккультным наукам и тому подобной чепухе!»

Я виновато опускаю перед вами голову, метр. Но мне равным счетом не в чем себя упрекнуть. Ведь в детстве, как и вы, я очень, очень любил... сказки.

А вот доктор Ф., вероятно, не понимал смысл метафор. Он считал себя ученым. По его гипотезе, материальные предметы могут перемещаться во времени только в будущее, подобно тому, как вот я сейчас приближаюсь, лежа на больничной койке, со

скоростью 24 часа в сутки, к своему освобождению. В прошлое способны перемещаться только тончайшие психические эманации человеческого мозга, некое подобие астрального тела — любимой побрякушки средневековых мистиков. Проникая сквозь завесу времени, эти незримые волны способны активно влиять на течение давно минувших событий истории, менять их последовательность, значение и смысл. Доктор Ф. считал этот бред вполне научной гипотезой. Посредством гипноза и введения в человеческий организм специальных нервных стимуляторов он надеялся выработать у испытуемых способность произвольно генерировать подобные излучения. «Если это удастся,— говорил доктор Ф.,— то изменение прошлого станет доступным специально тренированному мозгу. Достаточно нагрузить память подробной визуальной картиной желаемого факта, как из факта воображаемого он станет фактом реальности любого отдаленного прошлого».

Не дергайте нить, Хейдель. Она может оборваться. Я ничего не прибавил от себя. Я поступил лишь как посредственный комплимент, соединивший воедино чужие мысли.

Я поступал так всегда. Ученик, достойный своего учителя...

* * *

И вот мы в логове доктора Ф.

Лязгнув, металлическая дверь с недремлющим оком обнажила нутро пещеры. Коридоры были погружены в бездонную тишину. Матовые белые плафоны бросали свет на обитые клеенкой двери. Мы тоже были в белом. Халат висел на мне как мешок. Халат был стерильный. История и асептика. Наверное, доктор Ф. боялся заразить историю микробами современности. Он синтезировал ложь по всем правилам фармакологии.

Дверь открылась, и я увидел моего спасителя в белоснежном халате и в не менее белоснежной шапочке. Мёзе благодушно сложил на груди короткие и сильные руки мясника, но ничего не сказал, а пропустил нас в отделение селекции. Это была большая комната без назойливых лепных украшений и без окон. Рассеянный, не отбрасывающий тени свет четко обрисовал шарообразную камеру, окруженную густой сетью проводов, приборов на стеклянных тележках. В углу за небольшим столиком сидела фрау Дибель, блондинка с отекившим лицом. Перед ней стояла пишущая машинка. Фрау Дибель зевала и, увидев меня, сделала вид, что углубилась в изучение толстого журнала.

Я внимательно рассмотрел шарообразную камеру. Доктор Ф., конечно, не мог обойтись без циркового реквизита: «ЕДИНСТВЕННОЕ! НЕПОВТОРИМОЕ! СЕНСАЦИОННОЕ!» Камера была склепана

из толстых стальных листов и покрашена в спокойный голубоватый тон. Сбоку к ней была приставлена металлическая лесенка. На уровне верхней ступеньки — круглый металлический люк. Мезе забалансировал на ступеньках. Цирковое представление начиналось.

— Это одна из трех изолирующих камер нашей лаборатории, — сказал Мезе, открывая люк, — диаметр два с половиной метра, шесть изолирующих слоев, восемь динамиков звуковых раздражителей, двести ламп для световых.

Внутри камера была обита черным материалом. В ней стоял какой-то неприятный удушливый запах. Внизу чашеобразный поддон, вероятно промытый дезинфицирующей жидкостью.

— С испытуемыми иногда случаются различные конфузы, — пояснил Мезе, бросив вопросительный взгляд на доктора Ф.

— Испытание довольно жесткое, — согласился «швейцарский Парацельс».

Мезе показывал мне брезентовый комбинезон с металлическими пистонами и резиновые тяжи, прикрепленные к стенам камеры.

— Испытуемый подвешивается на этих резинках в центре камеры. Он висит в воздухе, как муха, запутавшаяся в паутине. Никаких внешних раздражителей. Темно и тихо. Затем лавина звуков и мерцающего света. Так удобно регистрировать малейшее отклонение в дыхании, давлении крови и кожногальванической проводимости. Все неожиданности предусмотрены заранее. Не то что в лавке Вольке, — Мезе подмигнул, — не хотите ли, Штанге, острых ощущений? Нет, нет, я не настаиваю. Я лучше сам покажу, как это делается. Ведь мне приходится проводить инструктаж. Я всех веселю. Это почти как аттракцион, куда их в детстве водили папы, мамы и бабушки. Смотрите внимательно.

Мезе извлек из шкафа большой комбинезон, с трудом натянул его на себя и щелкнул «молниями». «А теперь фрау Дибель поможет мне застегнуть тяжи». Фрау Дибель копошилась и хлопотала вокруг Мезе с деловитостью пчелы. Мезе тянул резинки и пристегивал их к комбинезону. Постепенно резинки облепили его со всех сторон, натянулись и вот «честный физиолог» повис в воздухе, тяжелый, с большим животом и тонкими ногами, совсем как паук, затанцованный в ловчей сети. Он явно играл перед своим шефом. Качался, мелко дрожал, насмивался уже знакомый мне мотивчик.

— А вы еще молодец, Мезе, — довольно хохотнул доктор Ф. — Фрау Дибель, включите правый осциллограф.

Белый шлейф ленты двинулся. Перо самописца бешено заплясало. Может быть, это был первый росчерк, который доктор Ф. хотел сделать на приговоре истории?

— Вот так мы определяем пригодность объекта к дальнейшей работе, — доктор Ф. остановил осциллограф. — Процент очень мал.

На сотню два, а то и один заключенный. Расходы времени солидные, но ничего не поделаешь. Нам нужны только те экземпляры, которые в результате этого испытания начинают галлюцинировать.

Фрау Дибель полезла в камеру освобождать Мезе, а мы вышли в коридор. Ведя меня мимо закрытых дверей других лабораторий, доктор Ф. кратко пояснял промежуточные стадии подготовки «интеллект» к «контакту со временем».

— Доктор Кохлер доводит их регулярными сеансами гипноза до предельной гипнобальности. Фрау Циммерер учит с ними специально разработанные по историческим справкам «иллюзиальные тексты». Обучение тоже в состоянии гипноза. Она добивается по возможности абсолютной яркости воображаемых картин. А вот здесь доктор Танком работает на изолирующей камере номер два. Он обучает испытуемых впадать в состояние автогипноза и галлюцинировать по особой серии условных команд. Наконец доктор Ван-Манцерих ведет расчет необходимых доз психостимулятора «зиозина». Это его открытие. К сожалению, стимулятор быстро разрушает организм, а это очень невыгодно после такой дорогостоящей подготовки. Но без «зиозина» нам не обойтись. Фармакологическая стимуляция приводит сознание человека в состояние предельной аффектации. Сознание как бы выворачивается наизнанку. Подсознание всплывает и...

Неожиданно доктор Ф. умолк. Лицо его помрачнело. Он остановился перед дверью № 7. Затем извинился и вошел в лабораторию, оставив меня в коридоре. Через секунду я услышал страшную ругань. Доктор Ф. не стеснялся в выражениях. Тупая уверенность kloкотала в его глотке, это был трубный сигнал той силы, которая заставляла миллионы кованых ботинок протаптывать бессмысленный лабиринт в этой бессмысленной игре, именуемой войной.

Мне стало душно. Тяжелый комок подступал к горлу. Мне кажется, Хейдель, что вы даже в своем нынешнем положении способны понять мои ощущения. Я, Огюст Штанге, рядовой армейский фельдшер, успел повидать всю жуткую изнанку славных походов. Но эти чистенькие экспериментаторы вызывали во мне омерзение. У них были дети? Очень может быть. Мезе любящий отец. Рождественский пирог, поцелуй, елка, свечи. Фрау Дибель нежно прижимает к груди младенца. Новая мадонна образца 1944 года. Кохлер дарит внукам комбинезончики с пистонами. Доктор Ф. висит в воздухе и болтается на резиновых тяжах. Их концы держат в зубах животные, чем-то напоминающие горилл. Министр пропаганды возле шлейфового осциллографа. Он ставит бесконечные подписи на стремительно бегущей ленте. Он тоже любит детей. Все мило и стерильно. Можно продолжать эксперименты. И пусть

гибнут безвестные люди-призраки с бескровными улыбками. Их судьба все равно предначертана. Их поставляют с востока. Немецкие коммунисты — они тоже опасны. Гораздо лучше, когда они барахтаются на резиновых тяжках. Они будут видеть. Они будут видеть себя никогда не существовавшими. Этому их научит герр Тенком. Тенком и железная палка...

На пороге показался доктор Ф. Вид у него был взъерошенный.

— Вам, кажется, плохо, Штанге? — спросил он.

— Пустяки. Здесь душно.

— Работа всегда связана с неприятными неожиданностями. Зепп неверно рассчитал дозу «энозина». Номер «2675» был хорошо подготовленный экземпляр.

«Незнакомец» — ну да, это он! «2675-й» погиб... То, что произошло потом, смутным потоком прошло через мое сознание. Мы вошли в просторное помещение, украшенное такой же изолирующей камерой. Доктор Тенком фамильярно похлопал меня по плечу. Доктор Ф. с гордостью показывал рабочую обстановку:

— Здесь ставятся основные эксперименты, и очень может быть, Штанге, именно здесь мы начнем планомерно создавать новую историю прошедшего десятилетия. Хотите присутствовать при очередной серии экспериментов? Впрочем, я вижу, вы совсем плохи, Штанге... Идемте, идемте наверх, на свежий воздух. Нам осталось выяснить всего-навсего небольшую деталь.

Наверху мне стало немного лучше. День выдался солнечный. Пахло травой. Мысленно я дал себе обещание никогда ни под каким предлогом не опускаться вниз.

Впрочем, это было уже ненужным обязательством.

Мы шли мимо клумб с цветами. Тяжело качались тюльпаны, как бы прощаясь со мной. Фрау Тепфер стояла в окне второго этажа и тоскливо смотрела на доктора Ф.

Он строил грандиозные планы:

— Вас ждет блестящая карьера, Штанге. Вам предстоит собрать вокруг себя самых выдающихся историков Германии. Опыты будут продолжаться еще около года. Я надеюсь... За этот год созданной вами группе предстоит разработать детальный сценарий нового прошлого. Работа трудная, интересная. Настоящее творчество. Подумайте, как заманчиво, как захватывающе творить историю точно самое грандиознейшее из произведений искусств. Что в сравнении с этим замыслы политиков и полководцев?! День за днем, час за часом, минута за минутой препарировать историю. Одним росчерком пера уничтожать бастионы, рассевать в пыль миллионные армии, предрешать ход сражений, играть судьбами народов...

Доктор Ф. вещал как оракул. Золотые треножки и смрадный дым жертвенника. Заклание истории. Роковое сцепление слов. Пред-

сказание бедняге Штанге, которому, как видно, еще предстояло совершить немало подвигов во славу третьей империи.

И вдруг я увидел фонтан, где произошла моя встреча с незнакомцем. Эльфы полоскали ноги в дождевой воде. В углублениях мраморных голов, как в чашах, собралась ночная влага. По тонким каналам вода сочилась в пустые глазницы каменных глаз. Прозрачные слезы стекали по их растрескавшимся щекам и падали с тихим звоном вниз. Как странно, ведь лица-маски смеялись...

И тогда, Хейдель, тогда я сказал доктору Ф. все-все, что думал о нем. Я не стеснялся в выражениях. Я сказал ему, что он садист и убийца. Я обвинил его в историческом и научном авантюризме. Я сказал ему, что носить ампутированные конечности более почетное и более «приятное» занятие, чем издевательское препарирование истории. Он слушал меня спокойно. Мне даже показалось, что мои слова он где-то когда-то уже слышал, но от другого человека. Со спокойным укором смотрели его глаза. Жесты его были плавны, ответ задумчив:

— Мне жаль, Штанге. Мне очень жаль... Но у вас и в правду сегодня какой-то болезненный вид.

Он ушел, а я еще долго стоял у фонтана, слушая звон падающих капель. Все было решено.

* * *

Вечером пошел дождь. Я вернулся к себе в комнату, включил весь свет и начал складывать вещи. Вещей было немного, жалкий солдатский скарб. Только одна вещь была для меня действительно дорогой. Это был круглый медальон, зашитый в кусок цветного шелка. Я никогда не открывал его, Хейдель. Мне было достаточно одного прикосновения. Но сейчас я почему-то решился на это. Дрожащими руками я начал вспарывать тонкий материал. Мне мучительно захотелось встретиться взглядом с этим лицом.

Но мне помешали. На пороге стоял Мезе. Он был изрядно выпивший и громко насистывал.

— Браво! Браво, Штанге! Поздравляю, вы пошли в гору. Может быть, прокатимся по этому случаю в город?

Я быстро спрятал медальон в карман. Решение возникло сразу. Может быть, это была последняя возможность.

— Отлично! — Мезе прищелкнул пальцами от удовольствия.

Дождь лил как из ведра. Мы выкатили автомобиль из гаража и скоро выехали на шоссе. Мезе развлекал меня свежими анекдотами. Потом его фантазия сконцентрировалась на фрау Дибель, которая представляла реальную угрозу прочности его семейных уз.

— Это не просто блондинка, это фурия. Мне жаль моих мальчиков. Они должны вырасти и прославить нашу семью. Я не могу

их бросить. Фу, что за чч-ерт! — вдруг выругался он. — Опять эти проверки.

Взвизгнули тормоза. Впереди с ручным семафором маячила фигура автоматчика. Он наклонился к самому окну и потребовал документы. Мы протянули зеленые армейские книжки. Вспыхнул электрический фонарь.

— Огюст Штанге? — спросил автоматчик.

— Огюст Штанге, — ответил я.

Луч света полоснул мне глаза.

— Следуйте за мной.

Я все понял:

— Спасибо, Мезе, за отлично разыгранный спектакль.

— Огюст, я ничего не знаю, я ничего не знаю...

Голос Мезе удалялся. Я плотно запахнул кожаный плащ и двинулся за автоматчиком. Недалеке стояла автомашина с потушенными фарами. Только приблизившись, я увидел, что это армейская санитарная машина. Из нее выпрыгнули санитары.

— Прошу вас, — сказал один из них с притворной любезностью.

Пока я поднимался по ступенькам, кто-то толкнул меня сапогом. Я тяжело упал на металлический пол. Дверь с грохотом захлопнулась. В кабине зажегся маленький синий плафон. Машина резко дернулась и свернула с центральной автостреды.

Я задыхался. Подтянулся к зарешеченному окну. В небе висели столбы света прожекторов. Дождь стремительно бежал по лужам, пенился в грязных потоках водосточных труб далекого города, и черные его волосы, разметавшись в небе, закрывали звезды.

Земля удалялась. Внизу рассыпались карточные столицы. Копошились армии. Раскалывались корабли. Взрывались зажатые в огненные кольца самолеты. Я наклонился над бездной, пытаюсь понять смысл происходящего, но дождь бесцеремонно схватил меня за ногу и швырнул вниз...

Я полетел кувыркаясь... Пронзив облака, я упал на площадь пылающего города. Тогда я стал ползти, беспомощно подбирая ноги и подтягивая тело на руках. Неожиданно преградой возникают восемь костяных кресел. На них восседают отцы историографии.

Я кричу им:

— БЕГИТЕ! Все гибнет. История теряет свой смысл.

Но фигуры неподвижны.

Первый историк (он полощет горло и сплевывает). Мы никуда не двинемся. Прежде всего мы должны исследовать, является ли первородный грех актом свободной воли или он есть нарушение обета, данного богу. Если мы решим эту центральную задачу всякой истории, нам станет ясно, каково число лиц, предназначенных к личному блаженству, и каково заранее осуждено.

Второй историк (с каменным лицом истукана). Мы никуда не двинемся. Конец истории был предreshен. Гибель Римской империи есть конец земного мира. Мир слишком стар, чтобы его можно было оплакивать.

Третий и четвертый историки (перебивая друг друга). История так же смертна, как смертны города, государства, государи.

Пятый историк (вставляя в глаз монокль). Мы никуда не двинемся. История и так слишком долго агонизировала. Германскому национальному духу присуще...

Шестой историк (перемигиваясь со своей тенью). Фи-и... Мы не поддадимся провокации. История — это бесконечное движение. Это бесконечные цели, это...

Седьмой историк (глота бесконечную макаронину). История всего лишь красивая иллюзия. История никогда не существовала. История самый эффективный вид пропаганды, который воздействует на националистические инстинкты масс.

Восьмой историк (хлопая в ладоши). В круг... в круг...

В се (хором). Мы никуда не двинемся... Мы никуда не двинемся!

Я в страхе пытаюсь бежать. Но впереди возникают гигантские фигуры, затянутые в мундиры цвета хаки.

Они вручают мне лавровые венки и усаживают в колесницу, расписанную танцующими сатирами.

Я улыбаюсь и прощально машу историкам.

Колесница трогается, ее колеса отстукивают ритм.

Это древняя песня...

«О лира, священная лира...»

Так я оказался в психиатрической клинике доктора Хенрика. Я вижу, вы зеваете, Хейдель. Ну да, наступает утро, и призракам пора на покой. Прощайте. Надеюсь, мы больше никогда не встретимся.

Клиника просыпается. Солнце заглядывает в палаты, и генерал Гломберг во главе группы больных торжественно шествует в туалетную комнату.

Ганс в шеренге. Я так и не успел с ним попрощаться.

Старшая сестра, фрау Маргарита, ведет меня в маленькую и тесную гардеробную, где на столике аккуратно сложена свежая сорочка, на плечиках висит костюм, сшитый по последней моде.

Парикмахер Штюмпке ловко обрабатывает мою физиономию, нежно пощелкивает ножницами возле висков. Прыскает одеколоном. «Тетя уже дала ему чаевые», — невольно думаю я и прикидываю.

ваю, сколько он в принципе может заработать на тех редких посетителях, которые навсегда прощаются с клиникой?.. Невыгодное у него занятие.

Штюмпке весело щебечет. Угожливо смеется. Но я стараюсь не слушать его, а погружаюсь в созерцание иллюстрированного журнала с полуобнаженной натурщицей на обложке. Но что это?..

— Кто подсунул мне эту гнусную телеграмму?

— Первая почта,— щебечет Штюмпке, отжимая дымящийся компресс.

«Из Латинской Америки?» — мысленно констатирую я. Телеграмма на красочном бланке. Кругом цветы и улыбающиеся эльфы.

«Поздравляю вторым рождением. Жажду пожать руку старого друга. Мы еще поработаем. Преданный вам — Мезе».

Я с трудом сдержал себя... Зависть к моим соотечественникам испарилась. Я впервые подумал о них с ненавистью. Прошло столько лет, человечество осудило их, а они все еще думают, живут будущим. Может быть, не только Мезе, но и «швейцарский Парацельс» успел под шумок перевести свои «шарики» через океан? А фрау Тепфер? Нет, ее, конечно, не взяли. Старой развалине не зачем брать реванш у истории.

Я брезгливо бросил телеграмму и вытер руки о салфетку. Улыбающийся доктор Хенрик появился в сиянии своего белоснежного халата и стал изощряться в каких-то стандартных формулах радости по поводу моего выхода на арену политической жизни.

Он подвел меня к распахнутому окну и широким жестом указал вниз на мостовую. Я увидел оживленно болтающую кучку людей в строгих черных костюмах и таких же черных рубашках. На рукавах элегантных костюмов красовались повязки со свастикой. Отвороты пиджаков украшали ордена вермахта. В руках они держали знамена, трубы, барабаны и венки роз.

— Позвольте, доктор, вы не скажете, какой сейчас год?

— А вы шутник, Штанге. Радуйтесь. Ветераны войны пришли отметить ваш торжественный выход из больницы. Здесь и опекунский совет. Вот я вижу герра...

Я понял, что обязан действовать, что минуту спустя будет поздно и машинная логика жизни вновь запрет меня в какое-нибудь секретное логово, где высокоинтеллектуальные варвары будут спокойно и хладнокровно извращать историю.

И тогда, разорвав на себе сорочку, я повел себя так же непристойно, как в первые годы моей изоляции.

Лицо Хенрика вытянулось, стало восковым. Парикмахер Штюмпке нажал кнопку вызова санитаров. Они вломились в гардеробную и хладнокровно спеленали меня как ребенка.

Я сопротивлялся, имитируя приступ, и не без успеха. Меня по-

местили в бокс. Старшая сестра Маргарита смотрела на меня с тоской и сожалением. А я тем временем выл, лепетал всякий вздор и обдумывал план своего дальнейшего поведения. Я разработал его в мельчайших деталях. И поэтому, когда через неделю меня поместили в общую палату, я украл у Ганса серебряную оберточную бумагу и прикрепил к своему халату шесть бумажных крестов.

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ РОМАНА ЛЕОНИДОВА «ШЕСТЬ БУМАЖНЫХ КРЕСТОВ»

Научно-фантастической литературе XX столетия положили начало почти одновременно появившиеся два романа, описывающие путешествие во времени. Правда векторы были разные. Марк Твен в 1899 году отправил своего предприимчивого янки в Англию короля Артура. На четыре года раньше Г. Уэллс засылает своего Путешественника по времени в далекое будущее той же Англии. Фантастические по сути своей произведения служат вполне реалистической цели — в них закладываются и обостряются с помощью необыкновенных обстоятельств политические, социологические, социально-психологические концепции писателей. Примечательно, что в обеих книгах авторы по вполне понятным причинам пренебрегают описанием технических аксессуаров транспортировки во времени. У Марка Твена они вообще отсутствуют, а обычно более озабоченный технической стороной Уэллс явно копирует в своей Машине времени только что изобретенную тогда мотоциклетку. С тех пор этим фантазмагорическим плаванием против течения Леты посвящалась не одна книга. Не будем их касаться. Перед нами, можно сказать, последняя по счету — повесть Романа Леонидова «Шесть бумажных крестов», о ней и речь.

Коль скоро в ней трактуется все та же проблема — перемещение во времени — с «технологией» этого процесса дело обстоит не лучше, чем у Уэллса. «Шарообразная камера» доктора Ф. напоминает мне популярный в 30-е годы аттракцион в Московском парке культуры и отдыха — вращающуюся комнату, которая производила на меня, тогда десятилетнего мальчика, впечатление неизгладимое. В общем, «шарообразная камера» не лучше и не хуже сооружения из никеля, горного хрусталя и кварца, на котором уэллсовскому герою однажды удалось проскочить на восемьсот тысяч лет вперед. Но когда мы имеем дело с научно-фантастическим произведением, в котором не превосходятся технические новации, а моделируются социально-психологические ситуации, всяческая машинерия вообще никакой роли не играет. Тем более персонажи повести Р. Леонидова не физически мигрируют во времени, а пытаются воздействовать на прошлое чисто психологическими средствами. С научной точки зрения разница здесь не большая, чем между синим и желтым чертом, но для замысла автора этот оригинальный, хотя от того и не менее фантастический, прием представляется вполне оправданным.

Р. Леонидов переносит нас в атмосферу фашистской Германии военных лет, в научную лабораторию, где некий авантюрист доктор

Ф., иллюзионист и гипнотизер, работает над проектом преобразования истории путем психического воздействия на прошлое. Фантастика? Бред? Да, но в нем — используем шекспировскую ремарку — есть система. Во-первых, не так уж это фантастично для идеологии Третьего рейха. Вера в сверхъестественное теснейшим образом переплеталась там с расистскими бреднями и геополитикой. Это характерно и для иррационального идеализма лейпцигской школы, порожденной немецким романтизмом и религиозной мистикой, и для характерологии психолога Иенша. На этих дрожжах поднимались принятые в тогдашней Германии психологические учения. Не случайно в ближайшем окружении Гитлера процветали ясновидящие и прорицатели, оказывающие реальное воздействие на политические события, а оккультные науки заставляли потесниться серьезных ученых. Если Гитлер позволял себе верить состоявшему при нем в ранге придворного чародея ловкому гипнотизеру, то почему фашистские бонзы должны были отказать в доверии «швейцарскому Парацельсу», доктору Ф.? Во-вторых, если оставить в стороне техническую невозможность, абсолютную невыполнимость программы лаборатории доктора Ф., то мотивы его деятельности более чем трезвы и реалистичны. В самом деле, фальсификация истории всегда была излюбленным орудием политического авантюризма, идет речь о национал-социалистической идеологии или современном великодержавном гегемонизме. Фашистский агрессор стремился доказать, что он жертва нападения. Гегемонист с помощью подлогов и натяжек претендует на территории, где расположены «нашенские» города. Империалистические ястребы стреляют себе голубиные автобиографии. Прием не нов. Проблема лишь в том, как заставить людей в это поверить, внедриться в их сознание, подсознание. Для этих целей разрабатывается специальная, базирующаяся на экспериментальной основе психология пропаганды. И здесь некоторые западные психологи, духовные наследники доктора Ф., не стесняются в средствах, используя фармакологические психотропные препараты и применяя гипнотическое воздействие, производя варварские опыты над ничего не подозревающими людьми...

Повесть Р. Леонидова относится к жанру научной фантастики и подчинена ее непреложным законам. Автор, как это уже не раз делалось в такого рода книгах, оставляет читателю (и себе, разумеется) лазейку для рационального объяснения. В конце концов историк Штанге, от имени которого ведется повествование, находится в психиатрической клинике. Ему многое могло привидиться, и тогда его рассказ о лаборатории экспериментальной историографии — это всего лишь бредовое объединение в связанное целое различных известных ему фактов об опытах на заключенных, которые широко практиковались в гитлеровских лагерях смерти, о многочисленных случаях передергивания исторических фактов в интерпретации историографов фашистской Германии, о слепой вере в сверхчужественные качества ницшеанских «сверхчеловеков». Но даже если так, то еще раз убеждаешься в том, что фантазия — «качество величайшей ценности». Она позволила автору, а за ним и читателю, проникнуть в психологию людей, которые вновь и вновь тщатся переписать историю в своих корыстных и человеконенавистнических целях. В этом ценность этой интересной, хорошо написанной повести.

А. В. Петровский, академик АПН СССР

■ СЛОВО МОЛОДЫМ

ИГОРЬ ПИДОРЕНКО

Все вещи мира

Казалось, так будет продолжаться вечность... Он поднимался и спускался по лестницам, пробирался между штабелями, скользя равнодушным взглядом по аккуратно составленным ящикам и пакетам, уложенным в стопки. Когда ему хотелось есть, он брал со стеллажей банки консервов, вскрывал их ножом и ел, не чувствуя вкуса. Он потерял счет времени и уже не пытался проснуться, как в первые часы этого — своего последнего путешествия. Надежда почти оставила его, и только одна мысль не давала упасть: «Должен же быть конец!»

Но временами казалось, что конца не будет никогда. Появлялось желание разбить голову о стеллажи и больше не мучиться. Чтобы преодолеть это желание, он садился на пол и отдыхал, закрывая глаза и забываясь в полудреме. Ему чудились чьи-то голоса, шаги, он вскакивал и, крича, бежал между штабелями. И каждый раз убеждался, что все ему лишь привиделось, и падал в изнеможении.

Настал час, когда он действительно не смог больше идти и потерял сознание. Потом обморок перешел в тяжелый сон без сновидений. И какие сны он мог бы здесь видеть?! Проснувшись, почувствовал голод. Не спеша пошарил по полкам, набрал провизии, поел. Потом закурил и стал обдумывать свое положение.

С чего все началось?

Жизнь его была обыкновенной, сытой и безбедной, как в общем-то и у других. Но не лучше, не богаче, чем у других. У него было мерило успеха и своего, и чужого: вещи. У тебя стереовертушка за восемь кусков и джинсы за два с половиной? Значит, ты живешь лучше меня. Значит, надо искать вертушку еще дороже и штаны — еще модней. А это было трудно и дорого. Он страдал от сознания, что где-то есть вещи, которыми он хотел бы обладать.

...Потом начались сны. Вообще-то он снов видел мало и не помнил, о чем они. И в первый раз очутившись среди полок, заваленных вещами и продуктами, он испугался яркости сновидения и промаялся бессонницей до утра. Попытался трезво разобраться —

вещи одолели, уже сниться начинают. Но весь день увиденное не выходило из ума, и вечером, ложась в постель, он вновь представил себе бесконечное хранилище, полное вожделенных предметов. И опять увидел его. Сон стал возвращаться регулярно, как по расписанию, он привык к нему и стал яростно мучиться от того, что все только снится ему, а проснувшись, он сжимает в руках всего лишь край одеяла.

Безумная мысль пришла ему в голову. А что, если не держать вещь в руках, а спрятать в карман? Посмеиваясь над собой, в одном из снов он опустил в карман пижамы пачку сигарет. И на следующее утро затрясся в истерическом хохоте, обнаружив сигареты в кармане!

Так это все правда! Во сне он действительно переходит в какое-то огромное хранилище, неизвестно кем и для каких целей созданное. И все это богатство может принадлежать ему, стоит только руку протянуть!

Разум отказывался верить происходящему. Он чувствовал, что сходит с ума. Но ведь вот она, эта пачка! Можно распечатать ее и закурить длинную сигарету, ощущая теплый горьковатый дым и рассматривая роскошную упаковку с изображением благообразного старца, каких-то геральдических лент и корон.

В следующий вечер он лег в постель, не раздеваясь и положив рядом самую большую сумку, какую только смог найти. Возбуждение не покидало его, было трудно уснуть. Он верил и не верил в предстоящее чудо. В кармане едва помещался большой складной нож. Зачем? Он не ответил бы определенно — так, на всякий случай... Наконец сон победил нерваную лихорадку. Как сквозь туман проступили контуры стеллажей, бесконечных проходов, груд всевозможных товаров. Шаг, еще шаг. Вот теперь все реально. Вот они перед ним — все вещи мира!

Теперь не спешить, выбирать осматрительно все самых лучших марок... А ведь у хранилища должны быть хозяева и сторожа. Надо вести себя поосторожнее. То, что он делал, он не считал воровством. Ведь не обеднеют же хозяева, если он возьмет ничтожнейшую толику того, что есть в хранилище!

В сумке оказалась пара превосходных магнитофонов, радиоприемник и даже небольшой телевизор. Карманы его куртки были набиты разной ювелирной мелочью. Странно было лишь то, что среди сумасшедшего изобилия хранилища не было часов — ни наручных, ни настенных — никаких! Его собственные часы, как выяснилось, стояли все то время, что он находился в хранилище, и начинали идти, когда он открывал глаза у себя в постели. И каждый день ему приходилось переводить стрелки на несколько часов вперед.

Каждую ночь он отправлялся в путешествие, и каждый день он ждал очередного путешествия. Явь постепенно тускнела, потому что в серой череде будней не было красок рекламных обертток, глянце-вых обложек проспектов, пестроты этикеток на бутылках, пронзи-тельных цветов анодированного алюминия, сияния хромированных деталей, тяжелого блеска серебра... И сон стал понемногу не сред-ством, а целью. Но все же он смутно понимал, что без яви, без бодрствования нельзя, ибо вечный сон — это смерть...

Однажды он встретил в хранилище другого человека. Это был молодой парень. Он появился в проходе недалеко и вяло поплелся вдоль полок, не обращая никакого внимания на вещи, переполняв-шие стеллажи. В руке эго был зажат ремень волочившегося за ним тяжелого автомата. Хозяин! Сейчас парень направит автомат на него и потребует вернуть все то, что он успел взять и перенести в свой дом! Что же делать? Как спастись самому, спасти вещи? Прижимаясь к полкам и медленно, бесшумно отступая, он наткнул-ся на какой-то ящик, обошел его и краем глаза увидел надпись. Оружие! Да, это именно то, что ему сейчас нужно! Такой же автомат, как у хозяина. И тогда все будет зависеть от того, у кого тверже рука и быстрее реакция. Осторожно открыть крышку, чтобы она не скрипнула, достать автомат, магазин... Тяжесть оружия в ру-ках придала ему уверенности, и он, уже не таясь, шагнул в проход, держа палец на спуске. Тот, другой, медленно шел навстречу, не поднимая глаз, и почувствовал присутствие чужого лишь метров за десять. Взгляд хозяина скользнул сначала равнодушно, как будто перед ним был еще один стеллаж, потом в глазах загорелся ого-нек, парень шагнул вперед, и вроде бы улыбка начала появляться на лице, но автомат в руках пришельца коротко прогрохотал, и тело, чуть не переломившись пополам, ткнулось головой в пол.

Не убирая пальца с курка, он медленно подошел, подсозна-тельно ожидая подвоха со стороны хозяина. Но нет, парень был действительно мертв. Он обыскал его карманы, надеясь найти ка-кие-нибудь документы, проливающие свет на происхождение хра-нилища. Пачка сигарет, зажигалка, нож. То же самое было и у него самого в карманах. Ничего выяснить не удалось. Надо спрятать труп на всякий случай. Место нашлось за огромными ящиками с тушенкой. Ну, вот и все. Теперь хозяином будет он и не потерпит в своих владениях никого чужого.

Убийство не оставило в душе никакого следа, даже память об этом парне стерлась через неделю...

Шло время, он засыпал, отправлялся в очередной поход, на-гружал сумки, просыпался, разгружал добытое, готовился к ново-му путешествию. В первые ночи ему удавалось засыпать сравни-тельно легко, и так же легко он просыпался. Но как бы в прямой

зависимости от гор вещей, что росли у него дома, сновидения-походы становились все более трудновыполнимыми. Он стал прибегать к снотворному. И количество таблеток, требующихся для того, чтобы заснуть, медленно, но неуклонно росло. Просыпаться стало тоже труднее, требовалось все большее напряжение, чтобы, сомкнув глаза в хранилище, открыть их дома. Подсознательно он чувствовал, что когда-нибудь не сможет больше вернуться и останется навсегда среди стеллажей. Давно можно и нужно было остановиться. Каждый раз он давал обещание самому себе: «Сегодня последний раз. И все!» И каждый раз, ослепленный количеством вещей, которые не смог взять, забывал обещание. Он не выходил на улицу, перестал бриться. Дни уходили на то, чтобы хоть немного разобрать вещи, принесенные с собой из снов. Все это было его, его собственностью! И он, сидя на полу, часами разглядывал добытое. А потом наступал вечер, и, проглотив еще увеличившуюся дозу снотворного, он ложился на постель, прижимая к себе сумки. Он осунулся, питался только консервами, благо выбор их был велик.

И наступил день, когда все его старания проснуться не увенчались успехом.

...Теперь уже не было сил даже плакать. Жадность, жадность погубила его! Он хозяин необъятного склада, и в то же время он раб этого неизмеримого количества вещей.

Если бы здесь был хоть один человек! Независимо, друг ли, враг — лишь бы живой человек, с которым можно было бы перекинуться парой слов, посмеяться анекдоту или просто посидеть, покурить молча, думая о своем. Отчаяние вновь овладело им. На глаза попались ящики с оружием. Он вытащил автомат и, воткнув обойму, начал поливать пулями стеллажи, с какой-то дикой радостью видя, как разлетаются банки, бутылки, магнитофоны и телевизоры. Потом опять наступила тишина, которую прерывало только едва слышное журчание какого-то сока, вытекающего из пробитой банки.

Прошло несколько минут, прежде чем он понял, как бессмыслен был его бунт. Он разгромил всего несколько полок, а ведь здесь тысячи и тысячи таких же! Автомат выпал из рук. Оставался простой и легкий выход — вставить новый магазин и, повернув к себе стул, нажать на курок.

Но нет, он будет бороться до последнего, до конца! До конца! Его долго ждать. Он не умрет от голода — еды сколько угодно, не умрет от болезней — лекарств тоже хватает. Только старость или случайно свалившийся на голову телевизор могут его убить. Не лучше ли все-таки нажать на курок?

Рука уже потянулась к автомату, как вдруг в отдалении послышался слабый треск. Если бы не мертвая тишина, стоявшая в хранилище, пожалуй, он не расслышал бы этого треска. И больше

всего этот звук напоминал автоматную очередь. Значит, он не один? Значит, есть люди в этом кошмарном скопище вещей, безмолвных и слепых?! Мозг еще раздумывал, а руки уже поднимали автомат и вставляли обойму. А теперь передернуть затвор и нажать на курок! Короткая очередь взорвала тишину, отдалась эхом. Треск ответных выстрелов послышался отчетливее, ближе. Значит, неизвестный идет сюда! Автомат дергался в руках, пахло порохом. Наконец ответные выстрелы послышались совсем близко. Не помня себя от радости, крича, он бросился по проходу. И... наткнулся на автоматную очередь.

Боль пронзила его, заставила согнуться, прижав руки к животу, но не убила сразу. Все поплыло перед глазами, закачалось. Автоматные выстрелы еще громыкали в ушах. Сквозь грохот слышались шаги, и над ним склонилось лицо. Пристально рассматривали его чужие серые глаза. Шевелились губы — торжествующий победитель что-то говорил. «Теперь это все мое! Моё!» — слышалось умирающему, и усмешка скривила его губы. «Твое, пока тебя не убьет такой же, как ты!» — попытался сказать он, но смог только захрипеть, а затем стеллажи обрушили на него весь свой груз. И в этом водопаде вещей погасли последние искорки света...

БОРИС РУДЕНКО

Убежище

...Беспорядочные толчки следовали один за другим, полностью лишая ориентации. Будто невидимые великаны дрались из-за его корабля, вырывали друг у друга из могучих лап.

Грохот незакрепленных предметов и надсадное пение аварийной сирены надрывали слух. Он отделил от гибнущего корабля посадочный модуль и успел выбросить орбитальный маяк. Теперь его обязательно найдут.

Толчки сразу прекратились, сменившись сладким до тошноты ощущением потери веса: двигатели модуля включались через тридцать секунд после отделения. А через двадцать корабль-матка взорвался. Беззвучно вспыхнул ослепительным белым сиянием и исчез.

Он не допустил никакой ошибки. Все сделал совершенно правильно. От него ничего не зависело. Оставалось только ждать спасателей.

Ошибка была совершена позже, когда он собрал флаер и, оставив место посадки модуля, полетел на север, туда, где заметил огни, показавшиеся ему следами Разума. Что это было? Солнечные блики на зеркальных крышах города, сохранившихся каким-то чу-

дом? Ответ артиллерийских залпов или языки огнеметных установок? Разве мог он знать тогда!

Планета тут же заставила заплатить за легкомыслие. Мощный грозовой разряд поразил машину над лесом. Его парализовало на секунду — от неожиданности и инстинктивного страха: флаер был надежно защищен от подобных и многих других случайностей, — только на секунду, но ее оказалось достаточно. Флаер рыскнул вниз, а потом последовал сильный удар о вершину огромного дерева, еще удары и рывки, когда машина валилась вниз, подминая соседние хилые вершины, и острая боль в руке...

Алик вздрогнул и проснулся. Рука и в самом деле слегка побаливала. Перелом срастался хорошо, хотя боли иногда беспокоили.

В убежище стоял ночной полумрак. Слабо колебалось пламя дежурного светильника, пахло людскими телами и порохом.

Порохом здесь пахло везде и всегда...

После утреннего огневого налета Алик опять задремал и не заметил, как обитатели убежища ушли в город. Его окончательно разбудил пронзительный скрип двери и грохот подбитых железом сапог по каменным ступеням. Вернулся Фог.

Фог свалился в убежище с полным мешком банок. Дышал хрипло и тяжело, бросил в угол мешок, автомат и уселся рядом на матрасе, опершись о серую, с разводами сырости стену. Всегда он напоминал Алику взведенную пружину. Даже сейчас, в позе отдыха. Не очень высокий, плотный, но гибкий на изумление. Черты лица аккуратно вылеплены, а взгляд серых глаз такой стремительный, быстрый, что не всегда поймаешь их цвет.

— Веда, помоги-ка, — сказал Фог, неуклюже шевельнув плечом, и Алик понял, что на этот раз не все прошло гладко.

С готовностью подбежала Веда, принялась разматывать заскорузлую тряпку на руке Фога. Тот сидел спокойно, терпел и дернулся только раз, когда присохший конец повязки оторвался от раны.

— Ничего, ничего, — успокаивающе бормотала Веда с выражением хлопотливой заботы на маленьком, сморщенном личике. Осторожно отерла сукровицу, потрясла над раной банкой с присыпкой и ловко перебинтовала руку наново. — И где тебя угораздило?

Она не спрашивала, просто приговаривала, не женское это дело, Фог все равно не станет отвечать. Да если и ответит, что с того? Места этого Веда все равно не знает, никогда там не была и не будет. Доставать пищу — забота мужчин.

Опираясь на палку, прихромал Униц, раскрыл шелестящую, потертую на сгибах карту, вытащил аккуратно очиненный карандаш.

— Фог, ты что, новую точку обнаружил?

— Она меня обнаружила,— мрачно сказал Фог.

— Давай-ка мы ее на карте рисуем, пока не забыл.

Фог криво усмехнулся, похосил на раненое плечо:

— Теперь не скоро забуду. И как я ее проворонил, не пойму!

Вытянув негнувшуюся левую ногу, Увиц устроился рядом с ним:

— Ну рассказывай, где точка.

— У портовых складов,— показал Фог.— Так резво палит, словно только вчера установили.

— У портовых складов? — Увиц разыскал нужный участок карты.— А где, до газгольдеров или уже после?

— После, после,— сказал Фог,— с той стороны я все точки как свои пять пальцев знаю.

Они сосредоточенно склонились над картой. Веда сразу отошла в другой угол, чтоб не мешать мужчинам.

Кроме Увица с Ведой да Алика обычно в этот час в убежище никого не было. Мужчины промышляли в городе, женщины с детьми уходили к реке — узкому мутноватому потоку, зажатому в каменных боках набережных. Тут вылавливали мелкими сетками всякую речную мелюзгу — тощих, почти прозрачных рыбешек и рачков-октоподов. В это время года от жары уровень воды в речушке сильно падал, рыбу и рачков с известными допущениями можно было употреблять в пищу, не опасаясь отравиться какой-нибудь химической дрянью, смываемой с территории разрушенных заводов дождевой влагой.

Увиц наконец закончил разбираться с Фогом и поплелся наверх, на свое привычное место у окна третьего этажа с хорошим обзором до самой площади реформатора Лотта. Веда принялась разбирать мешок Фoga.

— Ого! Солонины в банках! — восхищенно сказала Веда.— Ну и молодец ты, Фог.

Солонины в банках в убежище было полно. Просто Веда всегда старалась сказать или сделать что-нибудь приятное для окружающих. Она добрая, Веда, за это к ней хорошо относились все обитатели убежища, хотя из-за врожденного уродства и слабости от нее было мало толку. Алик тоже очень скоро привык к постоянному мельканию ее скрюченной, сухой фигурки, участливым звукам голоса и ласковым, осторожным касаниям маленьких рук. В первые дни Веда буквально не отходила от матраса Алика, меняя ему повязки и тряпки с примочками. Если бы не она, Алик так скоро не поднялся бы.

Снаружи донеслась далекая пулеметная очередь, потом еще и еще.

— Пустое,— хмыкнул Фог, не раскрывая смеженных век,— это пулеметное гнездо у вокзала, я его по голосу узнаю. Уже все гни-

лов насквозь, палит в белый свет без причины каждое утро. Алик, расскажи что-нибудь. Ну про то, как там за городом.

Алик понимал, что Фог просит просто так, от скуки, но отказываться не стал. «Пусть слушает,— думал Алик,— когда-нибудь они привыкнут к этому и, может быть, поверят когда-нибудь. Даже если просто заинтересуются — уже хорошо».

— Ну расскажи, Алик,— попросил еще раз Фог,— чего без толку сидеть.

— Хорошо,— согласился Алик.— Если идти все время в одну сторону, то город рано или поздно кончится. Не будет больше домов и улиц, пулеметных точек и артиллерийских позиций. Город кончится, и перед тобой откроется огромное ровное пространство, вдали будут видны белые вершины гор. Там, перед горами, начинается лес.

— Это что, я забыл? — спросил Фог. Ему было так же скучно, но он продолжал соблюдать правила игры.

— Лес — это когда вместе растет много деревьев.

— Тогда это парк,— возразил Фог.— Улиц, когда был молодой, пару раз побывал в парке. Правда, деревьев там вроде уже не было, ни один.

— Лес гораздо больше парка. В сотни и тысячи раз.

Фог не выдержал и усмехнулся. Он-то прекрасно знал, что никакого леса на свете нет, что сразу за городом начинаются обширные минные поля, замаскированные в сухой земле пулеметные дзоты и бункеры с огнеметами. И все это тянется неведь сколько, а если и существует предел, то все равно толку от того никакого, потому что наверняка вместо мин и пулеметов есть еще какие-нибудь радости. От открытых пространств Фог добра не ждал.

— А там в лесу никто не стреляет? — спросила Веда. Она пристроилась рядом и внимательно слушала. Единственная из всех обитателей убежища, она любила слушать Алика и, кажется, немного верила ему.

— Никто. Некому там стрелять. Да и не для чего. В лесу от ветра шумят листья, кричат птицы, и все-таки там всегда настоящая тишина.

Старушечье лицо Веды сделалось мечтательным.

— Как хорошо! — вздохнув, сказала она.

Тут Фог не удержался.

— Ну, предположим,— иронически произнес он,— этот твой лес существует. Но что там делать людям? Чем питаться? Может, там есть заводы биомассы? Или продовольственные склады?

— Нет,— согласился Алик,— заводов в лесу нет и складов, вероятно, тоже. Но насчет еды все не так сложно. Ведь когда-то и в городе заводов не было.

— Вот тут ты не прав,— торжествующе рассмеялся Фог.— Раньше заводов было раз в пять больше, это и Веда тебе подтвердит. Странный ты, Алик. Лес какой-то... А ведь когда я тебя в убежище притащил чуть живого, ты и разговаривать по-нашему не умел, бормотал что-то непонятное, бредил. В бреду все и придумал.

Кто и как притащил его в убежище, Алик не помнил. Память обрывалась вместе с тем взрывом на разбитом шоссе, у самой границы города. Конечно, улетать на флаере от посадочного модуля было ошибкой. Нужно было ждать помощи там, в лесу, вдалеке от этого сумасшедшего полуразрушенного, агонизирующего города с его автоматическими пулеметными гнездами, неизвестно кем поставленными, никому не нужными, но исправно действующими десятилетиями, роботами-снайперами, минными ловушками и прочими гадостями вечной войны ни с кем, войны ни за кого и ни за что, причины и смысл которой давно утеряны, давно забыты даже самими старыми обитателями города.

Вопреки здравому смыслу город еще жил. Громадное каменное кладбище населяли малочисленные группки людей, не расстающихся ни на минуту с оружием, враждующих друг с другом из-за скудных источников воды и пищи, обшаривающих руины в поисках заброшенных складов с продовольствием и боеприпасами, не знающих иного способа существования, кроме постоянной борьбы за жизнь.

«Собственно, и я остался жив вопреки здравому смыслу»,— вяло подумал Алик.

Стуча палкой, сверху пришел Увиц.

— Фог, Алик,— крикнул он,— тележка с биомассой едет, идем меняться.

Захватив оружие и ящик с меняльными вещами, они поднялись на улицу. Фог быстро перебежал к дому напротив и с автоматом наготове занял позицию в дверном проеме. По разносчикам биомассы стрелять не полагалось, но на всякий случай следовало быть настороже.

Тележка показалась минуты через две. Она отчаянно тарыхтела, выпускала клубы сизого дыма, но двигалась едва ли быстрее обычного пешехода. Возле убежища тележка перестала тарыхтеть и остановилась.

Из маленькой кабинки водителя, обитой броневыми листами с прорезями обзора, вылез человек в ярко-желтой куртке — видно издали и всем сразу ясно, что это торговец с пищевого завода, стрелять нельзя. Увиц и Алик вышли ему навстречу.

— Приветствую выживших,— сладко сказал человек в куртке,— всегда приятно встретить людей деловых и умных. Чувствую, сегодня будет хорошая торговля.

— Ты один? — спросил Увиц.

— Как всегда, — ответил торговец, — я доверяю постоянным клиентам.

Увиц повесил винтовку за плечо дулом вниз и стукнул палкой по ящику.

— У нас есть солонина в банках, патроны для крупнокалиберного и еще кое-какая мелочь.

— Прекрасно! — воскликнул торговец. — Хороший товар! За каждую банку по полмеры отличного коллоида. За пятнадцать патронов целую меру.

— Почему пятнадцать? — подозрительно сказал Увиц. — На прошлой неделе было десять.

Торговец вздохнул и покачал круглой обритой головой, блестящей на солнце, как отполированный приклад.

— Тяжелые времена. Биомасса растет плохо. Нет свежей воды, совсем мало питательных грибов. Завод работает почти в убыток.

— Вижу я по твоей толстой роже, какой у тебя убыток, — пробормотал себе под нос Увиц и махнул рукой: — Согласен! Алик, неси ведро.

Минут через десять мена состоялась. Торговец забрался в тележку, она зачихала, тронулась с места и скрылась за поворотом. Из дверного проема медленно вышел Фог.

— Крыса, — процедил он и сплюнул, — попадешься мне где-нибудь, подонок.

— Ты чего, Фог? — удивился Увиц.

— Я его видел, — объявил Фог и еще раз плюнул. — Когда на убежище Оршада напали и всех перебили, этот тоже был. Я его хорошо запомнил. Промазал я тогда. В следующий раз не промажу.

Про торговцев биомассой ходили слухи, будто они нападают на убежища, но точно никто этого не знал — свидетелей не оставалось.

— Может, ты ошибся, Фог? — неуверенно сказал Увиц.

— Как же, ошибся! Что я, контуженный? Подошел к убежищу Оршада, когда там уже все было кончено. Только этот последним убежал с мешком. Врезал я ему вслед, да от злости прицел сбил. Он и сейчас тебе соврал. Там в кабине еще один сидел, держал вас на мушке. А я его.

За домами в направлении бульвара Президентов гроыхнуло.

«Базука, — привычно отметил Алик, — а теперь автоматические винтовки».

Выстрелы зачастили, затакали автоматные очереди.

— Кажется, на наших напали! — с тревогой сказал Увиц. — Наши отбиваются, больше некому. Фог, давай туда, а я к пулемету. Идем, Алик.

— Я с Фогом,— крикнул Алик, устремляясь на выстрелы.

Фог оглянулся на бегу, бросил через плечо то ли одобрительно, то ли с сожалением: «Ухлопают тебя», но гнать Алика не стал.

Это была засада. Продуманная и хорошо организованная. Когда возвращавшиеся мужчины убежища переходили бульвар, им в тыл ударили ручные пулеметы. Первыми выстрелами никого не задело, мужчины мгновенно залегли, укрывшись за брусчаткой, и начали охватывать пулеметчиков полукольцом, но в следующий момент начал бить еще один пулемет из окна часовой башенки в конце бульвара, отсекая пути к отходу или наступлению. Перекрестный огонь трех пулеметов не оставлял надежды, тем более что стреляли не роботы, а живые стрелки, отлично реагирующие на любые незапрограммированные изменения ситуации. Людей, населяющих город, трудно было заставить врасплох, но положение, в котором оказались мужчины, было сложным. Фог прекрасно оценил это положение, высунувшись из-за угла дома и окинув быстрым взглядом улицу.

— Алик, видишь то окно?— показал Фог.— Когда я там появлюсь и махну тебе, бросишь дымовую гранату. Понял?

Он сунул гранату в руку Алика и мгновенно исчез. Установилась тишина. Пулеметчики, понимая безвыходное положение атакованных, не тратили патроны. Очевидно было, что нападение осуществляется строго по плану и следующий ход не заставит себя ждать. Так оно и случилось.

Со стороны убежища донеслись звуки стрельбы. Гулко застучал крупнокалиберный пулемет Увица.

«Вот оно что,— догадался Алик,— малыми силами отрезали мужчин, а основными штурмуют убежище».

Это поняли и остальные, попытались проскочить открытое пространство до домов, но тут же снова залегли под прицельным пулеметным огнем.

В том самом окне, наконец, появился Фог — прямо напротив башенки с пулеметчиком, и, когда он поднял руку, Алик швырнул дымовую гранату. Клубы дыма тут же застлали улицу, Алик ничего не видел, всю тарахтели пулеметы, что-то несколько раз взорвалось, а когда дым рассеялся, все было кончено.

* * *

Перед началом вечернего артобстрела все обитатели убежища за исключением часовых собрались в подвале. Мужчины, женщины и дети — около семидесяти человек, сидели на пластиковых матрасах у сырых стен, прислушиваясь к далеким разрывам. Сегодня гау-

бицы и тяжелые минометы портовой крепости, тупо следуя заложенной программе, молотили центральные районы города.

Фог вслух считал разрывы и загибал на руке пальцы.

— В каждой серии по восемнадцать, — сообщил он Алику, — а в последней всего семнадцать. Два года назад было по двадцать три. Все-таки ломается понемногу, проклятая.

— Пока до конца сломается, еще сто лет пройдет, — хмуро ответил Алик. — Что же, так и будем ждать?

— Крепость не достать, Алик, — сказал Фог. — Там все вокруг заминировано с двойной подстраховкой. Огнеметы, пулеметные гнезда — все по секторам разбито. А у нас только одна базаука да автоматы с винтовками. Вот если бы по ней из гаубицы врезать, только где ее возьмешь! Да и не умеет у нас никто из гаубицы.

— Теперь не крепость нам опасна, — вздохнул Увиц. — Нужно думать, как дальше жить. Торговцы ведь нас в покое не оставят.

Отворилась дверь, и в подвал спустился Ронд с двумя сыновьями. Все трое здоровенные — под два метра ростом, только Ронд тяжелее, массивнее. Он, конечно, уступал Фогу в умении ориентироваться в городе, все ему в этом уступали, у Фога было прямо-таки нечеловеческое чутье на пулеметные гнезда, снайперов и прочие опасности, зато лучше Ронда никто не умел стрелять из винтовки. Кроме того, спокойная рассудительность Ронда зачастую оказывалась полезней боевых качеств бесшабашного Фога. Оттого его и признавали в убежище за старшего, хотя Фог иногда ершился — не по существу, а из принципа. Ронд прекрасно все понимал и не обращал внимания.

Ронд выглядел очень озабоченным.

— Женщины пусть из убежища не выходят, — сказал он, — и детей не пускают. Торговцы на площади заслон выставили.

— На площади! — всплеснула руками Веда. — Как же к реке теперь ходить?

— О том и разговор, — сказал Увиц. — Уходить отсюда надо.

— Заслон — это чепуха, — задумчиво промзнес Фог, — обойти его по развалинам плевое дело. А потом в тыл из базуки...

— Тебе все просто, — покачал головой Увиц. — Сколько сегодня потеряли? Двоих? А сколько нас завтра останется? Торговцев много, и они не дураки. Сорвалось у них в этот раз, получится в следующий. Нужно уходить в другой сектор, подальше отсюда.

В дальнем углу зашумели разыгравшиеся дети. Какой-то карапуз заревел, Веда тут же бросилась к нему, подхватила, приговаривая что-то, утерла нос и сунула в рот кусок какого-то лакомства из кармана передника.

— Куда уходить, Увиц? — спросил Ронд.

— В нижний город или в северные сектора,— пожал плечами тот,— я уж давно там не бывал. Вот Фог, может, знает, он же постоянно где-то шатается.

— С женщинами заслона не миновать,— мрачно сказал Ронд.— Прижали нас торговцы. А затевать драку — силы не те. Не знаю, что придумать.

— По женщинам торговцы не будут стрелять,— тоскливо сказала Веда.— Им женщины нужны. Не всякие, конечно... Помоложе, покрасивее. Чтобы не даром кормить. Меня, к примеру, первую убьют. И Увица тоже — он хромой да старый.

— Послушай, Ронд,— внезапно для всех вмешался Алик,— послушайте, почему вы не хотите уйти из города совсем?

Те в убежище, кто слышал эти слова, оторвались от своих дел. В подвале установилась недоуменная тишина. Даже дети на минуту примолкли.

— Как это? — ошеломленно переспросил один из сыновей Ронда и засмеялся, настолько нелепой показалась ему эта мысль.

— Опять ты, Алик, со своими сказками,— вздохнул Фог.— Пойми ты, наконец, за городом ничего нет. Пустота, смерть. Там даже спрятаться негде. Слушай, Ронд, давай я с кем-нибудь в самом деле заслон обойду и ударю с тыла.

— Можете мне не верить,— с отчаянием сказал Алик.— Только другого выхода все равно нет. Там за городом в трех днях пути у меня летающая лодка. Она неисправна немного, я ничего не могу сделать один со сломанной рукой. Но вдвоем ее можно починить. Тогда я перевезу всех отсюда за несколько раз.

— С женщинами и детьми нам из сектора не выбраться,— повторил Ронд.

— В нижнем городе, наверное, и складов больше сохранилось,— сказал Увиц.— Когда я там был в последний раз — лет двадцать назад, убежищ почти не было. Тогда все ближе к центру селились.

— А я Алику верю,— крикнула Веда.— И про лес, и про лодку. Верю, и все!

— Тихо ты,— цыкнул Фог.— Бабы еще будут советовать...

— Я ведь прошел в город,— настойчиво твердил Алик.— Три дня пути, и пустыня кончится. Там есть вода и пища. Вам тут только неделю нужно продержаться. Мы вернемся на лодке и вывезем всех.

От всеобщего неверия, от собственной беспомощности его охватило отчаяние. Все они здесь были обречены, как был обречен на смерть город. И он был обречен вместе со всеми. И он, землянин, ничем не мог помочь им. Это было ужасно, противостественно, дико и неизбежно.

— А что, если попробовать пройти мимо порта? — размышлял вслух Ронд.

— Там огнеметы,— ответил Фог.— Я два раза проходил и то подпалился. А всем и подавно не пройти.

Подошла Пара, жена Ронда.

— Ронд, банку со сладкой водой можно открыть? Уже неделю детям не давали.

— Там всего три и осталось,— ворчливо сказал Увиц.

— Послушайте,— произнес Алик.— Пускай вы правы. Нет леса, нет лодки. Но что-то должно быть? Поймите вы, должно еще что-то быть на свете, кроме города, кроме убежищ ваших! Почему вы думаете, что худшее? Не верите? Не верьте. Тогда я один пойду. Дойду и вернусь обратно.

— Один ты куда не дойдешь,— сказал Ронд.— Подстрелит первый же автоматический снайпер. Ты же по городу ходить совсем не умеешь. Хуже младенца. И никто тебя за город не выведет. Очень уж далеко до окраины. Разве что Фог. Он тебя невесть откуда притащил, значит, он сможет и вывести. Только Фог здесь нужен. Без него совсем плохо будет.

— Да не пойду я,— пожал плечами Фог.— Что я, сумасшедший?

— Алик, возьми меня с собой,— попросилась Веда.— Я город знаю и ходить быстро могу.

— Неделю, конечно, мы продержимся,— задумчиво сказал Увиц,— еды пока хватает. И патронов тоже. Вот как дальше быть?..

* * *

Заслон торговцев они миновали по канализационной трубе, когда Ронд с остальными мужчинами убежища поднял отвлекающую стрельбу. Труба была узкая, под ногами хлюпала жидкая многолетняя грязь и пахло падалью. Они ползли в этой грязи на четвереньках, как показалось Алику, целый час. Наконец Фог куда-то исчез, шепнув, чтоб сидели тихо и ждали, через минуту появился снова и, потянув Алика за рукав, вытащил его, а вслед за ним и Веду через рваный пролом в маленькое темное помещение.

— Дальше ночью идти нельзя,— прошептал он.— Точки по ночам палят не хуже, чем днем, а я не крыса, по ночам не вижу. Подождем рассвета.

Перестрелка продолжалась совсем близко — Алик понял, что прошли-то они от силы метров триста. Фог растянулся возле узкого окошка, обнял автомат и мгновенно уснул крепким и одновременно чутким звериным сном.

«А ведь Фог выживет в городе,— внезапно подумал Алик, услышав его ровное дыхание.— Несмотря ни на что выживет. Только много ли здесь таких фогов!»

Веда не спала, но сидела молча — устала или не хотела досажать мужчинам. Фог и так был против того, чтобы ее взять. Только Алик и уговорил. Алик тоже устал, он чувствовал себя еще не вполне окрепшим после ранения, однако заснуть подавно не мог. Сидел с закрытыми глазами около стены в полугрезе-полудреме, вздрагивая от каждого шороха, хотя шорохи эти были давно уже привычны. Те же, что и в убежище. Крысы бегают и мыши. Да еще кошки. Только они в городе из животных выжили. Собак — тех сразу убивало, а кошки выжили, приспособились, лазают в развалинах по ночам и едят крыс. Интересно, а крысы-то чем тут питаются? Кошками что ли?..

Фог проснулся в тот самый момент, когда Алик осознал, что рассвет наконец начался. Уверенно осмотрелся, пощупал автомат, приказал свистящим шепотом: «За мной по одному. И пригнуться!» — и первым выскочил из окошка.

Они крались за ним вдоль стен, пролезали в проломы, по команде перебегали перекрестки и снова скрывались в развалинах. Пока в них стреляли только один раз. Фог даже ухом не повел, и Алик усомнился: в них ли? Во время короткой передышки Фог объяснил, что палила в белый свет снайперская установка со здания региональной ратуши, старая и разболтанная, что он давно бы ее ликвидировал, если бы нашел незаминированный подход.

Фог остановился на границе какого-то жуткого пустыря, сплошь в развалинах и воронках. Остановился, тщательно оглядел местность и довольно ухмыльнулся.

— Ну вот,— сказал Фог,— тут бояться нечего. Сюда крепость лупит постоянно, тут ни точек, ни гнезд не осталось в помине. Все размолочено в пыль. Как в твоём лесу, Алик. До утреннего обстрела тут самое спокойное место во всем секторе, а может, и в городе.

Скоро ли будет обстрел, Алик не знал, но поверил Фогу безоговорочно. Как и Веда, сразу приободрившаяся и начавшая что-то у Фога выпрашивать. К разговорам Фог настроен не был и велел ей помалкивать. Веда не обиделась, заняла свое место в арьергарде и молча шагала, обходя воронки свежие, сухие и успевшие уже наполиться грунтовой водой, перешагивая через обломки стен и рваную, искореженную арматуру.

Как-то внезапно развалины кончились. Сразу же начинался обычный, в меру истрепанный квартал — видно, автокорректировка артиллерийского огня до сих пор была в полном порядке и переделов не давала. Алик еще раз, в который раз, горько покачал головой, думаясь о надежности смертоносной техники, человеком созданной и продолжающей десятки лет свою разрушительную работу, когда и создатели ее давным-давно уже разбежались кто куда.

Фог снова остановился, повернулся к Алику и Веде, произнес негромко, но достаточно торжественно:

— А сейчас я вам кое-что покажу. Никто, кроме меня, не знает! Сам обнаружил,— и добавил озабоченно,— только бы она работала, проклятая.

Через низкую длинную арку-тоннель они вошли в замкнутый каменный дворик. В центре во впадине асфальта врезан был массивный стальной люк, коричневый от ржавчины. Фог подошел к нему, повозился, дернул за какой-то стержень и отскочил в сторону. С лязгом люк распахнулся. Высунулась легкая металлическая лесенка.

— Вот! — гордо сказал Фог. — Коммуникационная линия. До сих пор работает. Может, она одна осталась такая во всем городе. Это я ее нашел. Теперь до южного сектора доберемся без всяких приключений. Ты, Алик, наверное, не помнишь, как я тебя оттуда тащил? Еще бы! Ты тогда едва теплый был после того, как тебя миной садануло.

— Давайте за мной по одному,— привычно скомандовал Фог, поставил ногу на ступеньку и замер. В арке зазвучали тяжелые шаги, эхом отдававшиеся во дворике. Фог, Алик и Веда, не сговариваясь, бросились к ближайшей двери, заскочили внутрь и прижались к стене, зажав дыхание.

— ...Скажи Люрику, чтобы принес огнемёт,— говорил удивительно знакомый Алику голос. — Только не вздумайте сразу палить убежище. Там у них припасы и бабы тоже есть. Держите на случай прорыва. Но тогда уж ушами не хлопайте. Это что такое? Почему люк не закрыт? Твоя работа, Гент?

— Ну что ты, старший,— испуганно пробасил другой голос,— я же знаю... все сделал, как ты велел. Закрыл и подергал еще.

— А кто же тогда? — подозрительно спросил первый. — Кроме тебя, сегодня никто не лазил. Ты мне брось тут... — он замолчал внезапно, будто поперхнулся нежданной мыслью и произнес совсем другим тоном: — Если не ты, значит...

— Гент! — прозвучал резкий оклик. — Быстро зови остальных. Все здесь обшарить! Все до последней щели. Нет, стой! Никуда не ходи, я сам пришлю. Смотри в оба!

Только один Фог еще мог успеть в оставшиеся короткие секунды. Он выскочил из подъезда, словно подброшенный катапультой, и открыл стрельбу. Те двое тоже были жителями города и многое умели, поэтому пули Фога не попали в цель, заставив, однако, врагов скрыться за углом.

— В люк! Быстро! — орал Фог, удерживая дергающийся автомат.

Из-за угла вылетел маленький черный предмет, подкатился к ногам Фог. Не прекращая пальбы, тот мгновенно подхватил гранату и швырнул в ближайший оконный проем. Грохнул взрыв, полетели мелкие каменные осколки, Алику царапнуло щеку, но в следующий момент все это осталось наверху. Алик спрыгнул в темный провал, ему на плечи скатилась Веда, сбила с ног, потом на них обоих навалился Фог, успевший на мгновение опередить новый взрыв и захлопнуть люк.

Фог тут же вскочил, схватил их обоих, как щенков, и, протаскив несколько шагов, швырнул на что-то мягкое. Пол качнулся, раздалось негромкое гудение, и они помчались с нарастающей скоростью, преодолевая сопротивление затхлого, застоявшегося воздуха тоннеля.

— Я везучий! — крикнул Фог и захохотал во весь голос.

Где-то рядом завозилась Веда, устраниваясь поудобней.

— Фог, они нас не догонят? — опасливо спросила она.

Фог только пренебрежительно хмыкнул в ответ.

Маленький экипаж несясь в абсолютной темноте. Освещение этого тоннеля перегорело раньше, чем Фог родился на свет. Несколько раз Алик ощущал, как его прижимает к борту на плавных поворотах тоннеля. Однообразное укачивающее движение во мраке лишало ориентации во времени. Алик даже приблизительно не смог бы сказать, час или два прошло с тех пор, как за их спиной захлопнулся люк в маленьком дворике. Наконец гудение смолкло и тележка начала постепенно замедлять ход. Впереди забрезжил неясный отсвет. Экипаж тряхнуло, и они остановились.

— Приехали, — пробормотал Фог, перепрыгивая через борт. — Вылезайте.

Алик с Ведой выбрались на небольшую площадку. Вверх уходила лесенка, такая же, как и та, по которой они спустились в тоннель. Из щели полуоткрытого люка сюда проникал дневной свет. Тем временем Фог ковырялся в экипаже. Поднял какую-то крышку, примерился, размахнулся прикладом автомата и несколько раз сильно ударил. Щелкнуло, полыхнуло синеватое пламя электрического разряда, и запахло горелым.

— Это чтоб не возвратилась обратно, — пояснил сопящий Фог, — все равно нам этой дорогой больше не ходить. И им тоже. Алик, ты его узнал?

— Кого? — не сразу понял Алик.

— Это же тот бритоголовый, что вчера к нам торговать приходил. Опять я его упустил, — сокрушенно сказал Фог.

Алик подумал, что ситуация несколько иная: это бритоголовый в данном случае упустил Фoga, но уточнять не стал. Фог уже вскарабкался по лесенке и выглядывал из щели.

Наверху снова был город. Те же изъязвленные пулями и осколками дома, пустые оконные проемы. Та же лживая тишина, готовая в любой момент, в любую секунду плюнуть пулеметной очередью.

— За мной! — крикнул Фог и, пригнувшись, бросился через улицу.

* * *

Фог не видел опасности, не ждал ее и был отчасти прав. Электронный снайпер, установленный неизвестно кем и для чего на вершине глинистого холма за последней городской чертой, за последним минным полем, молчал долгие годы. Он молчал, когда перед оптическим прицелом прокрался Фог и прошел Алик. А когда в прицельной рамке появилась Веда, снайпер внезапно проснулся и выстрелил. Выстрел прозвучал негромко, будто хлопок в ладоши. Алик и Фог обернулись. Держась рукой за бок, Веда медленно опускалась на землю. Алик рванулся к ней, но Фог удержал его. В несколько прыжков подскочил к холму и швырнул последнюю оставшуюся гранату. Взрыв поднял в воздух тучу пыли, стреляные гильзы, превращая повздуху в электронный клам.

— Мерзавцы! — закричал Алик, бессильно грозя городу кулаком. Он ненавидел город. И Фога в этот момент он тоже ненавидел как составляющую, неотъемлемую часть бесконечной вереницы бессмысленных убийств.

Веда сидела на земле и слабо улыбалась. Ее лицо быстро бледнело.

— Алик, я вижу лес, — сказала Веда. — Почему он такой красивый?..

Они похоронили Веду у подножия холма. Никто не произнес ни слова. Постояли немного и зашагали дальше, в сторону гор, постепенно поднимавшихся из-за раскаленного горизонта.

Теперь Фог не реался вперед. Здесь уже не было снайперов и пулеметных гнезд. Тем, кто начинал когда-то опустошительную междоусобную войну, не было причин драться из-за голой, выжженной солнцем земли. Но именно здесь Алик почувствовал, что Фог боится. Фог беспокойно оглядывал почву, горизонт, без причины вздрагивал и хватался за автомат. Он пытался отогнать страх, принимался учить Алика, чтоб внимательней смотрел под ноги и не нарвался на мину, но сбивался, не закончив, и снова начинал ози-раться.

Последнюю ночь, которую они провели в ложбине под открытым небом, Фог совсем не спал. Его бил крупная дрожь, хотя погода стояла теплая и тихая.

На следующий день они вошли в лес и отыскивали поляну с флаером. Тут все оставалось как прежде. Флаер лежал немного на боку, подмяв под себя левый надкрылок и уткнувшись носом в гущу кустарника. Алик убедился, что возни с аппаратом и в самом деле немного. Если бы не сломанная при аварии рука, он и сам бы сумел все сделать. Не нужно было бы идти в этот жуткий город... Алик решительно оборвал себя на этой мысли. Надо. Обязательно надо. Ради оставшихся в убежище и многих других, которых Алик ни разу не видел и которые тоже прятались где-то в подвалах и щелях. Ради Увица и Ронда. Ради Фога и Веды...

Нужно было заменить порванную лопасть винта и выправить стойку надкрылия. Потом освободить флаер из гущи растений, успевших основательно оплести корпус, и вытащить аппарат на середину поляны. Для двоих здоровых мужчин работы на день.

Фог находился в каком-то оцепенении. Он ничему не удивлялся, ничего не спрашивал и много молчал, выполняя все, что говорил Алик, словно робот. Он ни на минуту не расставался с автоматом. Напряжение, владевшее им с того момента, как они оставили город, все возрастало. Фог не верил лесу, не верил Алику, пытавшемуся незаметно его успокоить. Не верил этой тишине. Незнакомой, чуждой горожанину тишине леса. В лесу не было привычных Фогу опасностей, он ждал неведомых и оттого еще более страшных, ждал каждый час, каждую минуту, готовый к самому худшему.

Алик старался не выпускать его из виду, но не сумел предупредить срыва. Во время короткой передышки Фог вдруг с диким криком вскочил и выпустил обойму в зашелестевший кустарник. Алик бросился на него, выхватил из рук автомат. Фог дрожал и бессмысленно тыкал пальцем куда-то на край поляны.

— Ну что ты, Фог? — гладил его Алик по плечу, успокаивал.

— Там! Смотри, там! — бормотал Фог.

Алик сходил к кустам и увидел маленького зверька с длинными ушами, похожего на земного зайца, изрешеченного пулями.

* * *

...В убежище остался только один бочонок с водой. Ронд велел Увицу поить из него только детей и женщин. Прошлой ночью они пытались пробраться к колодцу, но из этого ничего не вышло — торговцы установили на перекрестке огнемёт и поливали улицу потоками пламени при малейшем шорохе. Двое мужчин на рассвете попытались пробраться к огнемётной установке по крышам и забросать ее гранатами, но были расстреляны в упор из засады.

Торговцы убрали заслон с площади, и вначале это обрадовало Ронда, решившего, что враги отказались от блокады и отступают. Однако уже к полудню он убедился в своей ошибке. Врагов стало

больше. Под прикрытием пулеметного огня они подбирались все ближе, отжимая защитников к убежищу и занимая позиции в близлежащих домах. Дорога к реке была теперь открыта, но Ронд понимал, что здесь кроется очередная ловушка и не решался даже на разведку в этом направлении. Теперь, как никогда, следовало беречь силы для решающего момента. Ронд не знал, когда именно настанет этот момент, хотя чувствовал его приближение.

Прошло уже шесть дней с тех пор, как Фог, Алик и Веда ушли из убежища. Ронд не верил в их возвращение с самого начала: слишком сказочными казались рассказы чужака о лесе и летающей лодке. Увиц, правда, говорил что-то о воздушных машинах, бросающих сверху гранаты, но поверить в это тоже было трудно — ведь, со слов Увица, последний раз он видел такую машину, когда ему было лет пять, не больше. Да и сам Увиц за эти дни вспоминал об ушедших все реже.

Зря Ронд разрешил им уйти. Сейчас отсутствие Фога сказывалось как никогда. В военных делах Фог был незаменим. Ведь только он не боялся в одиночку, без прикрытия разгуливать по городу.

На улице раздались приглушенные хлопки. Так рвутся дымовые гранаты. Это очень опасно, учитывая близость позиций врага. Торговцы пошли в атаку. Тут же застучал пулемет Увица, и Ронд бросился на тот участок обороны, который казался ему наиболее уязвимым.

Ветер помогал осажденным, быстро разреживая дым, но под его прикрытием торговцы все же успели пересечь открытое пространство перед развалинами ближайшего к убежищу дома.

В этот момент что-то изменилось. Прозвучали испуганные, изумленные крики. Откуда-то сверху посыпала длинная автоматная очередь, и в грохот пальбы вплелся новый, совершенно незнакомый и ни на что не похожий звук. Улица окончательно очистилась от дыма. В конце ее мелькали фигуры убежавших врагов, а с самого неба к дверям убежища плавно спускался невиданный аппарат с серебристым плоским брюхом.

Дверца аппарата откинулась, и оттуда выпрыгнул Фог.

— Удирают торговцы, — крикнул он. — Ронд, давай сюда мужчин, мы их еще дальше отгоним!

— Ронд, Увиц! — закричал появившийся вслед за ним Алик. — Зовите детей, скорее. Пускай летят первыми.

Фог забежал в подвал захватить побольше боеприпасов. Его появление, неожиданное, сказочное, вселяло уверенность во всех обитателей убежища.

— О! Фог пришел! — обрадовался толстый Коэр — увалень, совершенно беспомощный при внезапных изменениях ситуации. Такие в городе редко доживают до сорока. Фогу уже дважды приходи-

лось его вытаскивать. Он бы уже два раза был расстрелян автоматами, если бы не Фог.

— Фог вернулся! — загомонили женщины. — Тут без тебя совсем плохо стало, Фог.

Они ждали его. Его, а не чужака на летающей лодке. Он был им нужен. Он был необходим каждому.

Десяток мужчин по команде Ронда присоединились к Фогу и короткими перебежками двинулись за ним к площади. Торговцев следовало удерживать именно там, чтобы вход в убежище был вне досягаемости их пулеметов. Да если бы и не было приказа Ронда, они все равно пошли бы за Фогом — самым ловким и умелым бойцом убежища.

Выстрел справа. Фог на мгновение опередил его, распластавшись на мостовой. Очередь из автомата в ответ, туда, в дергающиеся серые фигуры, и снова бросок вперед, к чугунной тумбе у дверей районной муниципии. Этот даже не успел поднять оружия. Медленно раскрывался в крике рот... Очередь и еще бросок...

Алик взял на борт двенадцать человек — восемь детей и четырех женщин. Кабина и грузовой отсек были битком набиты, Алику едва оставалось место для управления, но маленькая могучая машина бойко взмыла в воздух и развернулась тупым носом к голубой дымке на горизонте.

Полчаса на максимальной скорости туда и двадцать минут обратно. Десять минут на погрузку и выгрузку. Шесть рейсов — шесть часов. Столько должен продержаться Фог...

Неведомая летающая машина испугала торговцев. Они отступили из предосторожности. Ничего, можно немного подождать. Рано или поздно весь город все равно будет принадлежать им. Отстреливаясь, выбрались из сектора и скрылись в развалинах.

Когда Алик в последний раз посадил флаер, около убежища переминались Ронд и пятеро мужчин, прикрывавшие эвакуацию.

— Все? — спросил Алик. — А где Фог?

Ронд растерянно пожал плечами:

— Куда-то пропал. Мы искали его, звали...

— Может, его ранило?

— Нет. Все уже кончилось, когда он ушел. Мы были здесь, все вместе, а он вдруг встал и пошел куда-то. Я крикнул: Фог, ты куда? А он только рукой махнул. Сначала ждали, потом стали искать. Все кругом обегали...

— Пошли, — решительно сказал Алик. — С ним что-то случилось.

Они еще раз обошли весь сектор от бульвара Президентов до реки — всю свободную от стреляющих роботов зону... Забирались в развалины, кричали, звали Фога — все было бесполезно.

Потом они сели во флаер, и Алик стал описывать широкие круги над пустыми кварталами. Он вел машину медленно и низко, всматриваясь в изломанные предвечерние тени каменных руин в надежде уловить движение.

Справа сильно грохнуло. Флаер швырнуло так, что Алик едва удержал в руках штурвал. Рядом с машиной расплывалось дымное облако разрыва гранаты, выброшенной базукой из какого-то окна снизу. Алик бросил флаер вверх и влево, почувствовал, как трудно слушается машина рулей. По-видимому, снова было повреждено надкрылье.

— Упадем сейчас,— неуверенно сказал Ронд, вцепившись в спинку пилотского кресла.

Флаер с натугой лез вверх. Осторожно описал полукруг и лег на курс. Постепенно превращались в тени дома, сливались друг с другом, и весь улывающий назад город становился похожим на огромную безобразную кляксу. Флаер уже летел над равниной по направлению к горам и опушке леса, где ждали их остальные члены группы, бывшие обитатели убежища.

— Посмотри, Ронд,— крикнул Алик,— вон там, левее холмов, кажется, видел днем дома. Там тоже живут люди. На свете есть и другие города. Ты слышишь? Совсем другие.

Наверное все-таки Ронд не расслышал сказанного в шуме двигателя и ветра, но послушно повернулся туда, куда указывал Алик. А может, расслышал, да не понял. Не до того ему сейчас было. Изумленными глазами смотрел на открывшийся мир и думал. Ему было о чем думать. Всем было о чем подумать теперь.

И Алик думал, что придется еще побыть с ними сколько-то, пока они немного привыкнут к своему новому миру. А может быть, стоит поискать поселки поблизости и установить контакт с их населением... Но потом, через какое-то время, нужно возвращаться к посадочному модулю и ждать спасателей. Заканчивать начатое в одиночку невозможно. В умирающем городе война продолжает собирать жертвы. Там еще остались люди. Услышат ведь его сигналы рано или поздно. Должны услышать. Лететь оставалось минут пятнадцать...

Фог различал крики разыскивавших его, пока не миновал газгольдеры. Он уверенно шагал по городу, привычно засекая позиции пулеметных точек и минуя зоны обстрела. Однажды он услышал над собой шум, мгновенно скользнул в развалины, провожая взглядом флаер с Аликом, Рондом и остальными, медленно проплывающий над улицей. Они еще продолжали его искать.

Пусть ищут. Скоро они улетят. У Фога впереди много дел. Он уйдет в нижний город, полный нетронутых складов и надежных убежищ. Ему не страшны автоснайперы и пулеметные точки. Фог

быстрее всех в этом городе. Ему не нужно учиться жить по-другому, да и нет, не может быть иной жизни. Он найдет новое убежище, и к нему придут люди, которые нуждаются в его, Фога, защите и покровительстве. Возможно, он женится. Пора уже жениться. Улиц в прежнем убежище ему об этом говорил, да только Фог не торопился.

Эти мысли и еще другие бродили в его голове, когда он вошел в Хаалитский квартал и дозорный торговец, дождавшись, когда фигура Фога четко отпечаталась на фоне заката, плавно потянул спусковой крючок...

МИХАИЛ ВЕЛЛЕР

Теперь он успеет

Когда маленькие недостатки приносят большие неприятности — это обидно. Грэхем Растеряха, приняв решение никогда никуда больше не опаздывать, начал с понедельника новую жизнь и ровно в восемь тридцать плюхнулся в свой «фордик».

Часы на щитке показывали восемь сорок. У Грэхема приопустилось настроение: какие правильные! С самого начала снова не ладится...

«Восемь часов сорок восемь минут», — сообщил включенный приемник. Грэхем дернулся и выжал акселератор: ну несчастье!..

Зорко высматривая появление патрульной машины или вертолета, он вовсю гнал по шоссе, и все же часы при въезде на мост показывали девять сорок четыре! Ну, этого уже не могло быть никак.

— Который час, приятель? — спросил он в пробке за мостом, открыв окошко, у голубого «Де Сото».

— Четверть одиннадцатого, — лениво отвечал последний, продвигаясь на корпус вперед.

В смятении Грэхем продолжал путь: десять пятьдесят на часах Национального музея! Холодок пополз по спине.

Восточный вокзал: одиннадцать двадцать! И толпа!..

— Который час, офицер? — высунулся он на перекрестке.

— Полдень, сэр, — флегматично доложил полисмен.

Нервы Грэхема натянулись и задребезжали. Вспотев от растерянности, он выкатил на Центральную площадь...

Восемь семафороподобных стрелок на четырех циферблатах башни указывали в восемь решительно разных сторон. В витринах опускались и поднимались шторы. Реклама вспыхивала и гасла. Толпа гудела и шевелилась беспорядочным пчелиным роем. И низким

непроницаемым колпаком висело над этим безобразием серое небо Большого Города — без малейших указующих признаков небесного светила.

Грэхем бросил бесполезную машину и сунулся в гущу, надеясь пролить лучик света в покренившиеся мозги. Однако микроб паники уже развил здесь свою разрушительную деятельность: сознание толпы, парализованное необъяснимым, томилось по простому и ясному спасительному действию. Из транзисторов верещали обрывки ночных программ, противоречивые последние известия и чушь о времени.

Полицейская машина медленно пробивалась через площадь:

— Сохраняйте спокойствие!..

Капитан полиции вскарабкался на ее крышу с мегафоном в руке:

— Сейчас, — гремел голос, — мы поставим часы по единому времени! Никаких проблем! И будем жить дальше! До выяснения причин!

Простота разумного решения после долгой смуты сознания и нездорового ажиотажа пришлась по вкусу. Действительно...

— Стойте!.. — человек в ветхом костюме завладел микрофоном. — Офицер, минутку! Мы же вне времени, что вы делаете! Это бывает один раз в истории! Вам же всегда не хватало времени! Зачем же спешить запускать снова эту карусель?!.. Пусть все разойдутся по своим делам, — которые они давно должны сделать, да времени не было... Теперь его нет — и оно есть!

Тысячеголосое гудение замерло.

— ...а потом... потом те... те, кто еще останется в живых... мы соберемся здесь и поставим наши часы... так, как захотим сами...

Среди щемящего безмолвия Грэхем вспоминал... свою первую любовь, которую двенадцать лет не видел... Индию, в которой никогда не был... торговое судно, матросом на которое не нанялся... лицо босса, в которое никогда не выплеснул стакан воды...

В молчании, страшноватом и торжественном, как молитва перед боем, толпа таяла...

Грэхем забеспокоился, что дел много, и он может не успеть обратно, когда придет время собираться и вновь ставить часы... а без этого как же!..

Он вздохнул, тихо улыбнулся и, взяв часы за ремешок, брызнул ими о цоколь здания. Задумчивость на его лице сменилась умиротворением, оживлением, он шел не ускоряя шага, зная, что теперь никогда не опоздает туда, куда должен прийти, и не обращал внимания на хруст миллионов крохотных стальных шестеренок и пружин под ногами.

■ ЗАРУБЕЖНАЯ ФАНТАСТИКА

КУРТ ВОННЕГУТ

Гаррисон Бержерон

Шел 2081 год. Все люди наконец стали равны — и не просто перед богом или перед законом. Люди стали равны во всех отношениях. Никто больше не выделялся особым умом. Никто больше не выделялся особой красотой. Никто больше не выделялся особой быстротой и силой. Этого равенства удалось добиться благодаря 211, 212 и 213-й поправкам к конституции, а также благодаря неусыпной бдительности агентов Главного Компенсатора Соединенных Штатов.

Однако в жизни общества равных тоже имелись свои недостатки. Люди, например, никак не могли привыкнуть к тому, что апрель больше не был весной, это буквально сводило их с ума. Именно в этот злополучный месяц агенты Главного Компенсатора и забрали Гаррисона Бержерона, четырнадцатилетнего сына супругов Джорджа и Хейзел Бержерон.

Безусловно, это была большая неприятность, тем не менее думать о происшедшем постоянно Джордж и Хейзел просто не могли. Умственные способности Хейзел точно соответствовали среднему уровню, а это значило, что ход ее мысли каждый раз круто обрывался, о чем бы она ни думала. Что касается Джорджа, то его умственные способности были выше установленного стандарта, поэтому он всегда носил в ухе маленький радиокомпенсатор — так повелел закон. Этот радиокомпенсатор был настроен на радиочастоту правительственного передатчика, который через каждые двадцать секунд посылал в эфир шумы и помехи. Это делалось для того, чтобы помешать Джорджу и ему подобным использовать свои мозги в корыстных целях, лишить их незаслуженного преимущества перед другими людьми.

Джордж и Хейзел смотрели телевизор. По щекам Хейзел текли слезы, однако она уже забыла, чем они были вызваны.

По телевизору балерины исполняли какой-то танец.

В голове у Джорджа завывала сирена. Мысли его, словно застигнутые врасплох взломщики, в панике разбежались.

— Как они здорово станцевали танец, просто чудесно! — воскликнула Хейзел.

— А? — спросил Джордж.

— Я говорю, этот танец. Просто прелесть, — повторила Хейзел.

— Угу, — согласился Джордж. Он попытался сосредоточиться на балеринах. Нельзя сказать, чтобы они были очень хороши — во всяком случае ничуть не лучше других людей. Балерины были обвешаны мешками с дробью, а лица их скрывались под масками — ведь иначе зрители, увидев грациозные жесты и хорошенькие лица, почувствовали бы себя неполноценными уродами. Джордж задумался было над тем, что распространять компенсацию на танцоров и танцовщиц, пожалуй, не стоило, но очередной шумовой импульс, принятый радиокompенсатором, разогнал его мысли.

Джордж поморщился. Две из восьми балерин на экране тоже.

Хейзел это заметила. Ее умственные способности в компенсаторе не нуждались, поэтому ей пришлось спросить у мужа, на что был похож этот последний звук.

— Как будто кто-то молотком разбил молочную бутылку, — ответил Джордж.

— Должно быть, очень интересно каждый раз слышать новые звуки, — с некоторой завистью сказала Хейзел. — Это делает жизнь разнообразней.

— Угу, — подтвердил Джордж.

— Только на месте Главного Компенсатора я бы кое-что изменила, — сказала Хейзел. Она, кстати говоря, внешне была очень похожа на Главного Компенсатора, женщину по имени Диана Мун Глемперс. — Будь я на месте Дианы Мун Глемперс, — продолжала она, — я бы по воскресеньям передавала только колокольный звон — и никаких других сигналов. Как бы отдавая дань религии.

— Если бы они все время передавали колокольный звон, я бы мог думать, — возразил Джордж.

— Ну, можно сделать его громким, вот и все, — предложила Хейзел. — Это не проблема. Я думаю, из меня получился бы неплохой Главный Компенсатор.

— Как из любого другого, — заметил Джордж.

— Уж кто-кто, а я прекрасно знаю, что такое норма, — с гордостью сообщила Хейзел.

— Это точно, — кивнул Джордж. Из тумана выплыл образ сына, Гаррисона, который сидел в тюрьме как раз за то, что не хотел мириться ни с какими нормами, но в следующий миг в голове Джорджа загремел двадцатипушечный залп, и мысль оборвалась.

— Ого! — воскликнула Хейзел. — Кажется, здорово шарахнуло, да?

Шарахнуло так, что на покрасневших глазах Джорджа выступили слезы, а сам он побелел и затрясся. На экране телевизора две балерины брякнулись на пол и сейчас поднимались, держась руками за виски.

— Ты как-то сразу побледнел, осунулся,— огорчилась Хейзел.— Слушай, дорогой, почему бы тебе не прилечь на диван и не положить компенсатор на подушку? — Она имела в виду двадцатикилограммовый мешок с дробью, который, словно огромный замок, висел на шее Джорджа.— Давай, пусть мешок полежит немного на подушке — тебе станет легче. Это ничего, что мы с тобой некоторое время будем неравны — я не против.

Джордж взял мешок в руки и попробовал его на вес.

— Он мне не мешает,— сказал он.— Я его просто не замечаю. Он стал частью моего тела.

— Последнее время у тебя такой усталый вид, на тебе прямо лица нет,— посоветовала Хейзел.— Было бы здорово, если бы мы могли проделать в дне мешка маленькую дырочку и вытащить из него несколько свинцовых шариков. Всего лишь несколько.

— За каждый вынутый шарик — два года тюрьмы плюс две тысячи долларов штрафа,— напомнил Джордж.— Хорошенькие условия, нечего сказать.

— Но я же не говорю о работе,— возразила Хейзел.— Я хочу, чтобы ты мог вынимать несколько шариков хотя бы здесь, дома. Ведь здесь ты ни с кем не соревнуешься, правда? Здесь ты просто отдыхаешь.

— Если бы я попытался схитрить подобным образом,— объяснил Джордж,— другие сделали бы то же самое. Подумай, что бы тогда произошло? Мы все просто вернулись бы назад, в те мрачные времена, когда над людьми довлела зверская конкуренция. Ты этого хочешь?

— Ну что ты! — испугалась Хейзел.

— Вот видишь,— сказал Джордж.— Если люди начинают заигрывать с законом, нарушать его — знаешь, что тогда случается с обществом?

Даже если бы Хейзел затруднилась с ответом, Джордж не смог бы ей помочь — гудок сирены насквозь прошел его череп.

— Оно, надо полагать, разваливается,— неуверенно предположила Хейзел.

— Что разваливается? — тупо спросил Джордж.

— Общество,— смешалась Хейзел.— Или я тебя не так поняла?

— А кто его знает? — ответил Джордж невпопад.

Неожиданно трансляцию балета прервали — передать сводку новостей. Поскольку у диктора, как у всех дикторов, был серьезный дефект речи, некоторое время нельзя было понять, о чем же свод-

ка. Будучи в состоянии крайнего возбуждения, диктор почти полминуты не мог произнести: «Леди и джентльмены!» Наконец, осознав бесплодность своих попыток, он протянул бюллетень с новостями одной из балерин.

— Все равно, он молодец, — похвалила диктора Хейзел. — Он старался, а это главное. Бог его обделил, но он старался во всю. На месте его начальства я бы повысила ему зарплату за такое рвение.

— Леди и джентльмены! — балерина начала читать бюллетень. Она, должно быть, была необычайно красива, потому что лицо ее скрывала отвратительнейшая маска. Среди восьми танцовщиц она, безусловно, была самой грациозной и самой сильной физически — ее мешки-компенсаторы были впору девяностокилограммовому мужчине.

Ей тут же пришлось извиниться за свой нежный, теплый, мелодичный голос — выступать с таким голосом по телевидению было просто нечестно. Она стала читать снова, стараясь звучать как можно менее привлекательно.

— Гаррисон Бержерон, четырнадцати лет, — прочитала она каркающим, скрипучим голосом, — только что сбежал из тюрьмы, где он содержался по подозрению в организации правительственного переворота. Он обладает редким умом и огромной физической силой, подвержен лишь частичному воздействию компенсаторов. Чрезвычайно опасен.

На экране возникла сделанная в полиции фотография Гаррисона Бержерона — сначала вверх ногами, потом боком, снова вверх ногами и, наконец, как надо. На фотографии Гаррисон был снят во весь рост, а роль фона выполняла метрическая сетка. Рост Гаррисона превышал два метра.

Гаррисон был сверху донизу обвешан металлическими болванками и брезентовыми мешками с дробью. Таких тяжелых компенсаторов не носил больше никто. Гаррисон развивался так быстро, что люди Главного Компенсатора просто не успевали изобретать для него новые помехи и ограничители. Например, вместо маленького радиокомпенсатора для ограничения умственных способностей ему приходилось носить огромные наушники. На глазах у него были очки с очень сильной диоптрией, которые, по замыслу проектировщиков, должны были не только сделать из него полуслепого, но еще и вызывать страшную головную боль.

Металлические доспехи болтались на Гаррисоне без всякой системы. Обычно компенсаторы для сильных людей изготавливались с военной аккуратностью, выглядели симметрично. Гаррисон же был похож на ходячий склад металлолома. Закон, стоящий между

всеми людьми знак равенства, обязывал Гаррисона носить на себе более ста тридцати килограммов.

Внешность Гаррисона тоже нуждалась в компенсации, и агенты Главного Компенсатора заставляли его носить на носу красную резиновую блямбу, сбривать брови и закрашивать некоторые зубы в черный цвет, превращая ровный ряд в кривую, редкую изгородь.

— Если вы увидите этого человека,— читала балерина,— не пытайтесь, повторяю, не пытайтесь, вступать с ним в какой-либо контакт.

Вдруг раздался громкий скрип — с петель сорвали дверь. По студии пронесся вопль изумления и ужаса. Фотография Гаррисона Бержерона, словно танцуя в такт толчкам землетрясения, подпрыгнула несколько раз на телеэкране.

Джордж Бержерон сразу определил истинную причину землетрясения, и в этом не было ничего удивительного — его собственный дом не раз отплясывал под ту же грохочущую мелодию.

— Боже мой! — произнес Джордж. — Это же Гаррисон!

Однако мысль эта, не успев толком дойти до сознания Джорджа, тут же вылетела прочь — в голове его визгливо заскрежетали тормоза автомобиля.

Когда Джордж снова открыл глаза, фотография Гаррисона уже исчезла. Ее место на экране занял настоящий, живой Гаррисон.

Огромный, по-клоунски неуклюжий, звенящий металлоломом Гаррисон стоял посреди студии. В руке он держал ручку вырванной с корнем входной двери. Перед ним, сжавшись от страха, на коленях стояли балерины, музыканты, дикторы и работники студии.

— Я — ваш император! — провозгласил Гаррисон. — Слышите? Я — ваш император! Вы все должны беспрекословно мне подчиняться.

Он топнул ногой, и студия затряслась.

— Даже сейчас,— выкрикнул Гаррисон,— когда я окован железом, изуродован и измучен, я все равно сильнее и значительнее любого из существовавших до меня властелинов. А теперь смотрите, какой я на самом деле!

Легко, словно бумажную веревку, Гаррисон разорвал ремни, на которых висели его доспехи-компенсаторы. А ведь эти ремни должны были выдерживать груз в две с половиной тонны!

Тррах! Груда металла рухнула на пол.

Гаррисон просунул большие пальцы рук под замок компенсатора мозговой деятельности. Дужки замка хрустнули, как ванильный сухарь. Гаррисон с силой швырнул в стену свои наушники и очки, и они разбились вдребезги.

Наконец, он сорвал с носа резиновую блямбу, и взору предстал человек, которого испугался бы сам бог-громовержец.

— А теперь я выберу себе императрицу! — объявил Гаррисон, глядя на коленопреклоненную толпу. — Первая, кто осмелится встать на ноги, получит доблестного супруга и трон!

После минутной паузы поднялась балерина, читавшая бюллетень. Она качалась, словно ива.

С величайшей учтивостью Гаррисон извлек из ее уха маленький радиокомпенсатор и освободил ее от тяжелых мешков. Затем он убрал с ее лица маску.

Девушка была ослепительно красива.

— Сейчас, — сказал Гаррисон, взяв ее за руку, — мы всем покажем, что такое настоящий танец. Музыка! — приказал он.

Музыканты поспешно взобрались на свои стулья. Гаррисон сошел с них компенсаторы.

— Покажите лучшее, на что вы способны, — потребовал он, — и я сделаю вас баронами, герцогами и графами.

Заиграла музыка. Сначала она была обычной — дешевой, пустой, фальшивой. Тогда Гаррисон вытащил двух музыкантов из кресел и начал размахивать ими, как дирижерскими палочками, а сам в это время напевал, давая оркестру понять, чего он от них хочет. Затем он вонзил двух музыкантов в их кресла.

Вновь заиграла музыка, на этот раз гораздо лучше.

Некоторое время Гаррисон и его императрица просто слушали музыку, слушали внимательно, как бы стараясь совместить с ней биение своих сердец.

Они замерли на кончиках пальцев.

Гаррисон положил свои большие руки на крошечную талию девушки, давая ей возможность проникнуться чувством невесомости.

И вдруг, словно подброшенные волной красоты и грации, они взлетели в воздух!

Они взлетели в воздух вопреки всем земным законам, вопреки законам притяжения и движения.

Они кружились, вертелись, вращались, выделяли антраша, пируэты и коленца.

Они прыгали, как олени на луне.

Потолок студии достигал десяти метров, но с каждым прыжком они приближались к нему все ближе.

Было ясно, что они хотят коснуться потолка губами.

Им это удалось.

И тогда, победив притяжение с помощью любви и простого желания, они на мгновение повисли в воздухе, в десяти сантиметрах от потолка, и подарили друг другу долгий, долгий поцелуй.

В эту минуту в студию вошла Диана Мун Глемперс, Главный Компенсатор. Она держала в руках двухстволку десятого калибра.

Она дважды нажала на курок, и император с императрицей нашли свою смерть, даже не долетев до пола.

Диана Мун Глэмперс перезарядила ружье. Она направила его на музыкантов и велела им надеть свои компенсаторы в течение десяти секунд.

В это время у Берджеронов что-то случилось с телевизором — исчезло изображение. Хейзел повернулась к мужу спросить, в чем дело, но Джордж только что вышел в кухню за банкой пива.

Джордж вернулся в комнату с банкой в руках. Он остановился и подождал, пока в голове отгремит очередной радиосигнал. Потом сел на диван.

— Ты плакала? — спросил он жену.

— Угу.

— О чем?

— Точно не помню, — ответила она. — Кажется, по телевизору показывали что-то очень грустное.

— Что именно? — спросил Джордж.

— У меня в голове все почему-то смешалось, — пожаловалась она.

— Не нужно думать о грустных вещах, — посоветовал он.

— Я никогда и не думаю, — ответила Хейзел.

— Вот умница, — похвалил Джордж. И тут же поморщился — в голове отбойный молоток дал короткую очередь.

— Ух ты! Видно, как следует тебя шарахнуло, — огорчилась Хейзел.

— Что ты сказала? Повтори, — пробормотал Джордж.

— Ух ты! — повторила Хейзел. — Видно, как следует тебя шарахнуло.

Перевод с английского М. Загота

ДЖОН РИЗ

Дождеолог

Телефонный звонок раздался ровно в 3.53 ночи. В полусне, все еще не открывая глаз, Билл Лоусон высунул руку из-под одеяла и со стоном взял трубку. К полудню будет чертовски жарко — как-никак Южная Калифорния, конец июня, но сейчас с гор тянет пронзительным холодом.

— Хелло, Лоусон слушает, — пробормотал он, уверенный, что ошиблись номером.

— Минуточку, Билл, — ответила девушка-оператор. — Вас вызывает мистер Бек.

Его отключили. Он сел, ощупью всунул ноги в тапки и нашарил сигарету, гадая, с чего он чувствует себя таким разбитым.

Через минуту Билл словно перешел какую-то невидимую черту и все вспомнил.

Он танцевал в Палладиуме с Патти Верньер до двух ночи. От Голливуда до дома Патти в Студио-сити — полчаса быстрой езды на машине. Студио-сити лежит в долине Сан-Фернандо к северо-западу от Лос-Анджелеса, а к северо-востоку от него, в долине Сан-Габриэль, в Темпл-сити — дом Билла. От ее дома до его хозяйской резиденции — час быстрой езды через Бэрбанк, Глендал, Пасадену и Сан-Габриэль. Иначе говоря, он спал всего двадцать минут, тут даже не скажешь «утро вечера мудренее», когда речь идет о Патти. Билл чувствовал, что ему не хватает тонкости в обращении, что Патти на него рассердилась, что он ее обидел. Ну, какой же девушке понравится, если ее принимают как что-то раз навсегда данное. Она прямо так и сказала. Он попытался было заикнуться, что доверяет, верит ей.

— Эй, Билл! — донесся до него сонно-бодряческий голос ночного оператора Сида Бека. Он говорил со станции Управления погодой штата Калифорния в Помоне, в тридцати милях к северу от долины Сан-Габриэль. — Как ты насчет хорошенького дождичка?

— В такое время? — простонал Билл.

— А почему бы и нет? Мне самому он нужен позарез. У меня циннии, вянут. Подожди минутку — звонят по другому телефону, наверное, полковник хочет записать Инглуд на очередь.

Билла опять отключили. Он встал, зажег свет и начал изучать большую метеорологическую карту Южной Калифорнии, висевшую на стене, над его кроватью.

С тех пор как двадцать с лишним лет назад ученые научились засеивать облака крупинками сухого льда, заставляя их отдавать влагу в виде искусственно вызванного дождя, в жизни произошло много перемен. Биллу было всего восемь лет, когда он впервые увидел, как маленький самолет сделал три захода на перисто-кучевые облака над степным пожаром в горах Санта-Моники.

В тот раз дождя не получилось, и пожар потух сам собою, но восьмилетний мальчишка уже знал, что он будет делать, когда вырастет. Он станет дождеологом. Теперь ему двадцать восемь, и вот уже шесть лет с тех пор, как в соответствии с решением Верховного суда государство начало субсидировать мероприятия по управлению погодой, он — обладатель свидетельства № 1 Калифорнийской службы осадков. Свидетельство удостоверяло, что он опытный пилот. Это означало, что он два года проучился в метеорологическом колледже. Это означало, что он в любое время может сказать, где какой зреет урожай и в каком состоянии находятся посевы. Это

означало, что он, не сверяясь с синоптическими картами, может сказать, в какой именно день жаркого, сухого калифорнийского лета дождь принесет больше всего пользы и никому не причинит вреда. Синоптические карты? Да большую часть из них он вычертил сам, своими руками!

Да, здесь он был пионером, но теперь управление погодой стало таким же делом, как и любое другое. От чего зависело создание облаков? Давно канули в Лету законы природы, по которым на ручьи и бассейны рек оказывала решающее воздействие прибрежная полоса. Биллу теперь то и дело приходилось выступать на судебных процессах, по большей части в качестве обвиняемого. Ему предъявляли иск в том, что он давал дождь, и в том, что он его не давал. В деле «Город Сан-Диего против Лоусона из Ассоциации садсводов» Билл был первым человеком, которому Федеральный окружной суд когда-либо выносил предписание запретить «производство» дождя. И все же так или иначе, когда пошел дождь, он выиграл это дело. «Бог тут ни при чем,— таково было единодушное решение Верховного суда.— Ответчик Лоусон явно не создает дождя, но он и не насилует божественных и естественных законов, когда идет дождь. По-видимому, он действует в прямом соответствии с этими законами, и запрет его деятельности был бы направлен скорее против создателя, чем против ответчика». Таким образом, запрет не был осуществлен, ибо вне власти человека сочинить или навязать любой закон, который отменяет или пытается создать иллюзию отмены божественного или естественного закона.

Билл, почесавшись, опять углубился в изучение карт, но тут к линии снова подключился Бек.

— Полковник утверждает, что появилось скопление облаков, которое надо куда-то направить. Большая черная холодная масса тяжелого воздуха широким фронтом движется со скоростью шесть миль в час с берегов Тихого океана через Уайт Пойнт, ее подгоняет южный ветер,— сказал Сид.

— Давай мне,— зевнул Билл.— Сейчас позвоню клиентам.

Он повесил трубку и попытался сфокусировать глаза на телефонной книге, а мысли — на своем деле. Перед ним все еще стояло порозовевшее от гнева личико Патти и ее сердитые карие глаза. Никано, немолодой японец, заменявший ему домоправительницу, не дожидаясь указаний, принес чашку черного кофе. Билл набрал номер аэропорта Роуз-мид и попросил подготовить машину.

Снова зазвонил телефон. На сей раз это был Джерри Руд; миллионер, обладатель скоропортящегося урожая и цитрусовых, он вызывал у Билла раздражение. Руд жил в долине Сан-Фернандо, у озера Толука, меньше чем в миле от Патти Верньер и ее матери, в доме, который обошелся ему в сто тысяч долларов. К несчастью,

намерения у него были самые серьезные. На медовый месяц он хотел взять Патти и ее мать в путешествие через Панаму к Флориде и Гаване на своей яхте стоимостью в триста тысяч долларов.

Все началось с того, что Патти сказала: «Мама — за это путешествие». Заслышав о таком предательстве, Билл пришел в ярость, так как он всегда хорошо относился к миссис Верньер. Слово за слово, и очень скоро Патти, сверкнув глазами, заявила: «Да, конечно, для тебя очень многое — как будто раз навсегда данное, в том числе и я! Может быть, я еще все передумаю». Пока она не вернула Биллу бриллиант — его подарок, но была близка к этому.

— Что тебе от меня нужно? — рявкнул вконец расстроенный Билл.

Джерри засмеялся заразительным смехом. Даже в четыре часа утра его воспринимали как опасного соперника с деньгами и с яхтой.

— Мне только что сообщил мой человек из Ньюпорта, что там скапливаются холодные массы воздуха, — сказал Джерри. — Он передает, что...

— Кто, кто? — прервал его Билл.

— Шкипер моей яхты. Говорит, что они в тумане, а Помона сообщает, что тебя уже известили. Нужно полить все — горox, шпинат и цитрусовые...

— Этот номер не пройдет! — отрезал Билл. — У вас уже был дождь, а мне пора! Кроме того, в ваших краях Государственный дорожный департамент перегоняет двадцать пять тысяч машин в день через поросшее жнивьем поле к туннелю Сепульведа.

— Я уже звонил губернатору насчет этого, — невозмутимо сказал Джерри.

— Позвони тем, кто ведет эти машины. Я совсем не собираюсь причинять людям неприятности, даже если ты с губернатором на короткой ноге. Не спорь! Пusti воду в систему орошения и проваливай к чертям собачьим! А мое дело — сторона! Я не желаю связываться в это!

Билл в сердцах помесил трубку, потом вызвал оператора и начал вести переговоры сразу по двум каналам — с Роем Мак Куином из Дуэрте, председателем Ассоциации по сбыту ранних помидоров в долине Сан-Габриэль, и с Олли Найхаузом из Азузы, выступающим от имени виноградарей долины Сан-Габриэль. Они обещали посоветоваться со своими людьми и перезвонить.

На пути к аэропорту они его вызвали по телефону и попросили дождя. Правда, кое-кто из тех, кто выращивает помидоры, уже привел в действие систему орошения, но тысячи квадратных футов драгоценной воды пока можно было спасти.

Его самолет уже вырuling из ангара на взлетную дорожку. Это была старая двухмоторная машина, но она еще могла сослужить службу. Билл загрузил шесть баллонов крупинками сухого льда из морозильника, ровно в 4.36 оторвался от земли и по спирали пошел вверх. Настроение у него было хуже некуда. Ему всегда приходилось совершать над собой насилие, чтобы вставать в этот час и видеть, как под ним сгущаются или раздвигаются тучи. Поднявшись на 4500 футов, он сквозь высокую легкую дымку на востоке увидел проблески солнца. Под ним было только плотное серое одеяло-облако. Годится в работу, но настроение у Билла от этого не улучшилось. «Ни одной девушке не понравится, если ее будут считать чем-то раз навсегда данным». Господи, он только хотел сказать ей, что знает, что она не из породы расчетливых...

Прожужжали два долгих гудка, один короткий, потом опять два долгих. Он включил автопилот и откинулся на мягкую спинку кресла.

— Лоусон слушает.

— Это опять Сид. Ты где, Билл? У меня ничего нового, потому что все заволкло туманом. Держи меня в курсе.

— Я над Алгамброй,— Билл посмотрел в окно.— У меня слишком широкий фронт, чтобы следить за частными перемещениями, но туча большая, черная, и кажется, в ней порядочно влаги. Наверно, я полечу к океану и войду в нее. А как в Помоне?

— Там яснее ясного. Вот что меня тревожит: пока с той стороны ничего не идет. Мне сейчас звонили, что в Уиттьер Нарроуз ветер может перемениться. Ну, все. Билл, собирай облака в кучу!

— Конечно! — ответил Билл.

Он повесил трубку, выключил автопилот и сам повел машину на юг. Серое одеяло тумана начало полого снижаться. Он только по приборам знал, что прошел над Лос-Анджелесом, Харбором, Сан-Педро. Моряк назвал бы это туманом, коммивояжер — симпатичной утренней дымкой, а метеоролог — обособленной массой холодного воздуха. Для Билла же это было скопление насыщенных влагой облаков, которое означало 3500 долларов на банковском счету, если туча пойдет туда, куда он ее направит.

Отрезок в двадцать миль он прошел со скоростью 210 миль в час и вдруг увидел под собой океан. Билл позвонил Сиду.

— Да, это тебе не прибрежная полоса! Здесь яснее ясного. Вхожу в этот район и постараюсь перехватить местные воздушные течения.

— Вот и чудесно! — сказал Сид, нанося на карту новые линии.

В три минуты шестого Билл опять пересек Уайт Пойнт. Одеяло внизу было теперь скорее черным, чем серым, и Билл уже четко видел, что оно движется на север. Большие массы воздуха, насы-

щенный влагой морской воздух — облако на фоне земли — двигались к горам, которые окаймляли прибрежную полосу, ища выхода на восток, в пустыню.

Билл выключил моторы и пошел прямо на север, к центру Лос-Анджелеса. Он все еще продолжал думать о своем — о Патти и ее матери, о Джерри Руде и его яхте, но в то же время наблюдал за всем, что делалось под ним. Облака теперь больше всего напоминали стадо овец.

Справа от него, внизу, распростерся невидимый Уиттьер Нарроуз, узкое ущелье между невысокими холмами, ведущее в графство Орандж.

В этом ущелье образовалась небольшая туча, совсем как в трубе. Какое-то количество холодного воздуха уже протиснулось в него и двинулось на восток. Но оно было так мало, что о нем можно было не беспокоиться. Билл доложил об этом Сиду, значит, Сид мог дать сведения метеолетчикам в Анахайме и Буллертоне. Полет продолжался.

Под серым пологом скрывались самые населенные районы Лос-Анджелесского графства, а впереди — горы. Похоже было, что летишь к высокому, изогнутому дугой забору с тремя воротами в нем. Слева — ущелье Кахуэнга, соединяющее Голливуд с долиной Сан-Фернандо. Прямо перед ним лежало Арройо Секо, ведущее к Пасадене и к предгорным районам. Направо было ущелье Койоте, через которое можно попасть в долину Сан-Габриэль.

Если стадо овец не пойдет к правым воротам, то вся драгоценная, черная, насыщенная влагой туча — миллионы галлонов воды — будет потеряна для урожая. Холодные массы нагреются от солнца и станут легче. Дождь выльется над пустыней за горами, а потом массы облаков, размытые сухим, палящим воздухом пустыни, окончательно растают.

«Посмотрим, что делается у Кахуэнги», — сказал он себе. Кахуэнга была самым глубоким ущельем между самыми высокими в этих местах горами. Билл свернул налево.

Когда он на малой высоте проходил над Кахуэнгой, началась болтанка. Потом болтанка прекратилась, и он понял, что сейчас проходит над Студио-сити и озером Толука, первыми поселениями Сан-Фернандо. Там, внизу, мирно спит Патти. Там, внизу, Джерри Руд сидит у телефона и спрашивает шкипера своей яхты о новостях, собирает заказы на дождь у собственных арендаторов, просит разрешения у губернатора промочить государственную автостраду, на которой ведутся дорогостоящие работы.

«И что это я снова и снова возвращаюсь мыслью к Патти? Конечно, девушке льстит, когда ей предлагают провести медовый месяц на яхте. Ничего-то ты не понимаешь, Билл». Он взял слишком

резкий тон? Где-то в глубине души он был убежден: Джерри сходит с ума из-за Пат главным образом потому, что она — единственная вещь, которую ему нельзя купить за деньги — вот оно что. Может, он, Билл, не проявил особого такта...

При мысли о Патти, которая была сейчас так близко, там, внизу, он почувствовал себя глубоко несчастным. Не успев осознать, что делает, он схватился за телефонную трубку и попросил соединить с ней. Ему ответила миссис Верньер, очень неприветливо. Но он не мог винить ее за то, что она предпочитает зятя-миллионера. Пусть бы она только не лезла в его дела.

— Она спит, и я не хочу ее будить, ведь это из-за вас она легла так поздно, — холодно заявила миссис Верньер. — Сегодня у меня стирка и один бог знает, какая уйма дел, но, впрочем, если вы настаиваете...

Он настаивал и через несколько минут услышал заспанный голосок Патти.

— Билл!.. Что случилось? Ради бога, где ты?

По мере того как он отлетал от одной релейной линии связи и приближался к другой, голос ее то слабел, то становился громче.

— Сейчас качну левым крылом над Нортбриджем. — Она ничего не ответила, и ему стало стыдно, что он разбудил ее в такой ранний час. — Я звоню просто, чтоб извиниться.

После минутного молчания она холодно спросила:

— За что?

— Да за вчерашнее. Что я ни делал — все хуже некуда. Думал одно, а говорил другое, детка. Я вел себя по-хамски и решил, что лучше повинюсь перед тобой. А теперь иди спать.

— Билл! Ты поднял меня только из-за этого?

— Да, — уныло подтвердил он.

— Лучше сам скорей возвращайся домой и проспись как следует. Все это похоже на бред.

— Еще бы, дорогая. До свиданья.

Он повесил трубку. Толку от его звонка явно не было, ни до чего хорошего они не договорились, но ему стало легче на душе. Теперь дело за ней.

Опять затрещал зуммер. На сей раз это был Рой Мак Кунн из Дуарте, злой как черт.

— Ты что там копаешься, Билл? Здесь с самого утра солнце сияет на небе, как новенький доллар. Наверно, будет чертовская жара. Мне уже три раза звонили, спрашивали, нужно ли подавать воду в канавы. А я-то думал, ты скажешь, что над нами тучи.

— Над тобой еще нет, Рой. Подожди немного, посмотрим.

Он снова повернул на юг, продолжая переговариваться по радио, а Мак Кунн там, в Дуарте, нетерпеливо шептал ему прямо

в ухо. На полпути к гавани он повернул обратно. Теперь он мог наблюдать за тем, как мощные воздушные толщи движутся через Кахуэнгу, кое-что просачивается через Арройо Секо и ущелье Койоте. Арройо Секо не очень беспокоило его, чего нельзя было сказать о Кахуэнге.

— Не порите горячку с канавами, Рой,— сказал он.— Дайте мне еще часок.

— Ну, если у нас тут все сгорит, с тебя три шкуры сдерут,— с угрозой сказал Мак Куин.— Просят тебя, помоги!

— Не сгорит,— утешил его Билл, хотя совершенно не был в этом уверен.— Туча как раз над Алгамброй, Монтери-парком, Темплсити и частью Аркадии. Я сейчас, в один момент буду возле тебя.

Рой повесил трубку, а Билл повернул опять к Голливуду и покачал головой. Туча явно шла через Кахуэнгу. Что ему делать — попытаться остановить ее или сбить Руду и его людям с их горохом, шпинатом и цитрусовыми? У садоводов Сан-Габриэля эта туча была на носу, и Билл хотел, чтобы она у них пролилась. Но, быть может, она совсем и не собиралась идти через ущелье Койоте. Может быть, лучше пустить ее к долине Сан-Фернандо, чем рисковать и потерять всю эту массу воды?

Он решил действовать, основываясь прежде всего на собственном опыте. К черту Джерри Руда! Теперь Билл больше чем когда-либо чувствовал, что он постыдно уступил самому худшему в себе.

— Попробую-ка я дать местное орошение Кахуэнге и установить там стационарный холодный фронт, который остановит ток воздуха по ущелью,— сказал он Сиду Беку.— Свяжись с кем надо и давай мне знать, что у меня получается. Ну, я пошел.

Он пролетел над долиной Сан-Фернандо и опять вернулся к ущелью Кахуэнге. Как только он почувствовал, что начинается болтанка, он пустил в ход распылитель. Двуокись углерода, выпущенная крупинками, создала в распылителе высокое давление. Двух выстрелов было вполне достаточно. Как только перед ним замаячила уродливая круглая вершина горы Голливуд, он выстрелил и услышал, как из ракетницы с жужжанием вылетели крупинки. Оставив сбоку Голливуд, он выпрямил трассу и по спирали поднялся вверх — наблюдать. Теперь внизу, под ним, там, где должно было быть ущелье, вместо гладкого быстрого потока виднелись буйные завихрения.

Но тут позвонил Сид Бек.

— Ну, кажется, ты сработал на славу! Над Голливудской чашей льет чертовский ливень и симпатичный душ — над Локхидским аэропортом,— отрапортовал Сид.— А что ты видишь из кабины?

— По-моему, туча сбавила скорость, еще когда проходила через Кахуэнгу,— с сомнением проговорил Билл,— и сейчас она движется немного быстрее вверх на Арройо Секо, но ущелье Койоте обошла стороной. Пока еще в Помоне небо чистое?

— Пока чистое.

— Сейчас я могу только ждать и наблюдать.

Облака были точь-в-точь как стадо овец. Нескольким из них он преградил путь, так как они пытались просочиться через Кахуэнгу. Теперь они кружились там, внизу, как бы желая выбраться оттуда, но им словно не хватало сообразительности прорваться сквозь другие ворота. Но вот сразу за Кахуэнгой в массе облаков появился маленький просвет. Билл уже мог явственно различить Гриффит-парк.

Он закрыл эти ворота, воздвиг этот барьер. Крупинки сухого льда выделили влагу в ущелье, подобно тому как в жаркий день запотевают стенки кувшина с водой. Дождь шел на пространстве, не большем чем квадратная миля. В этом месте холодная масса не только не была холодной, она даже не была массой. Равномерный поток, вытяжная труба Кахуэнги, овцы, беспорядочной волной бегущие через ворота,— все было нарушено.

Это удавалось сделать не всегда. Билл кружил над центром Лос-Анджелеса. Там, внизу, было отличное «сырье», насыщенное влагой; теперь, когда облако было сжато горами, оно было чернее обычного. Ветер немного изменился и стал уже не южным, а юго-западным.

— Есть какие-нибудь новости с земли? — опять спросил он у Сиды.

— Уиндсок и Локхид попали в зону увлажнения, но у них там только немного попрыскало. А что у тебя? Да, Билл, мне звонил Мак Куин. Над Дуарте стоит небольшая дымка, но он обеспокоен.

— Попробую еще разок, Сид,— сказал Билл, заведя приближающийся просвет над Гриффит-парком.— Черт возьми, опять все пошло через Кахуэнгу.

— Поверни тучу и веди сюда.

Под ним была долина Сан-Фернандо и, снова пройдя над всем ущельем, он вытаскил вторую обойму, сейчас уже на большей высоте. Когда он с рокотом пролетел над Голливудом, распылитель еще шипел в его руках. Он поднялся вверх и усмехнулся, когда увидел, как там, внизу, все кипит.

Люди ходили через перевал Кахуэнгу вот уже больше ста лет. За это время здесь в засушливом месяце июне сильный дождь шел не больше пяти-шести раз. А Билл устроил тут хороший дождь меньше чем за двадцать минут. Голливуд неплохо промокнул; для подтверждения этого ему не нужен был и звонок Сиды.

— Теперь через Койоте идет мощный поток, Сид! — радостно объявил он. — Ради бога, сообщай, что и как! Для меня из-за солнечных отсветов все места на одно лицо. Иду к тебе.

Когда он с ревом пронесился над долиной Сан-Габриэль, Дуарте и Пуэнте скрылись под пологом облаков, но над Помоной висела только легкая дымка, а Фонтана и Клермон были видны как на ладони. Он поднялся на шесть тысяч футов и скрылся там на двадцать минут — автопилот вел его по широкому кругу, телефонная трубка была прижата к уху.

Когда они опять наладили связь, Сид доложил ему о том, что делается на земле.

— Над Аркадией — сплошная облачность, на первый взгляд высокая плотность. Над Сан-Димасом и Ковиной тоже. Не так жарко в Спадре — переменная облачность, есть и тень. В ущелье Койоте ветер — 7,3 мили в час. В Кахуэнге все еще заблокировано, но в Локхиде ветровой клин опять отодвинулся, и, наверное, поток воздуха возобновится. Над Спадрой сплошная облачность — похоже, что там был грозовой очаг. Сплошная облачность и на подходах к Футхилл Бульвар, на основных аэролиниях. Билл, да облачность здесь повсюду! Теперь ты знаешь обстановку не хуже моего.

— Ну, я пошел, — сказал Билл. — Держи меня под контролем.

Ровно в 6.34 он начал снижаться, держа курс на север, в долину Сан-Габриэль, к горам Сьерра Мадре, и пустил в ход два распылителя, а когда все крупинки кончились, стал стрелять из третьего.

Началась болтанка, и он понял, что проходит над Сан-Марино. Тогда он взмыл вверх, сделал круг над Пасаденой — там не было черной тучи, так как местные жители не хотели дождя. Завихрения над Кахуэнгой были еще различимы, но ток воздуха через ущелье возобновился.

Но теперь это было уже неважно. Все оставшиеся тучи могли пройти над долиной Сан-Фернандо, ну и пусть! Он повернул назад и над Алгамброй разрядил четвертую обойму. Когда он опять миновал Помону, магазин с патронами опустел. Билл снова повернул к Лос-Анджелесу и с южной стороны прочесал долину пятой обоймой. Как только крупинки зашелестели над ущельем Койоте, он начал принимать от Сиды сообщение о земных делах.

— В Санта-Фернандо — чертовски симпатичный дождик, и все еще идет. Холодный, резкий ветер! Молодец, Билл! Вот уж работа так работа! Аэропорт Эль-Монто прямо затопило! В колледже Помоны воды уже по щиколотку, у меня пока нет ареометра, из окна, на глазок, похоже, что шесть миль в час. У Паддингстонского водохранилища проливной дождь! Везде идет дождь! Больше всего

осадков в западной части долины, но и нашему захолустью, кажется, тоже достаточно перепало!

Внезапно Билл почувствовал, что устал. Гонять ветер, выдвигать облака — при этом его охватывал не меньший азарт, чем в детстве, когда он наблюдал, как маленький зверек проделывал фантастические трюки среди горевшей травы. Но теперь дело сделано. После пререканий с Патти ему бы поспать хоть двадцать минут.

— И что это пришло в голову просить извинения? — бормотал он себе под нос. — Когда человек пристаёт с извинениями, он только сам остается в дураках.

Он пролетел над аэропортом Розмид, но в тех местах еще лил им же созданный дождь, так что туда не стоило лезть. Он сказал Сиду о своих последних наблюдениях и сделал это не из чувства долга. Просто ему было приятно внести свой вклад в синоптические карты. А то, что он опять оказался над домом Патти Верньер, конечно, было простой случайностью.

Над долиной Сан-Фернандо скопилось много туч, правда, рваных. Эти клочья тут образовались благодаря двум барьерам холодного воздуха, которые создал он. Студио-сити, где жила Патти, терялся в облаках. Повинуясь порыву, он спикировал вниз и пронесся всего в трехстах футах над ее домом, на полном газу с двумя воющими моторами.

На сей раз он все хорошенько рассмотрел. Вон стоит большой красный автомобиль с открытым верхом, бесцеремонно припаркованный к подъездной аллее. Вон миссис Верньер развешивает мокрое белье, а Джерри ей помогает. Конечно, Джерри всегда очень демократичен. Сильный мира сего чудит — помогает своим «поданным» в работе по дому! Билл скрипнул зубами.

«Я работаю, надрываюсь, а этот тип во фланелевом костюме развешивает себе старушкины кружевные скатерочки! Но если я снова извинюсь перед Патти, надеюсь, что она...»

Но вот затрещал зуммер. Он снял трубку, крикнул: «Алло!» Он думал, что это Рой Мак Куин, но это оказалась Патти.

— Билл, ах дуралей ты этакий! Конечно, это ты пролетел сейчас над домом на бреющем полете? Господи, если Джерри доложит куда следует и ты потеряешь лицензию...

— У меня метеосамолет, детка, и я имею право проводить наблюдения там, где пожелаю! — отрезал он. — Но какая светская сценка разыгрывается у вас на заднем дворе! Я вижу, что этот подонок, который там у вас подвизается в роли прачки, успевает как следует разбудить тебя!

— Да что ты, Билл! — заворковала Патти. — Уж не ревнуешь ли ты?

— Ты чертовски права, я ревную! Я всегда устраивал дождь на участке твоей старухи и всегда шел навстречу Джерри, и вот чем они мне отплатили!

— Билл, мне бы так хотелось подразнить тебя еще немного, но ты сказал, что у тебя все хуже некуда. Я уже объявила Джерри — пусть катится куда глаза глядят. Я и не проснулась, а просто не могла заснуть после твоего звонка. Это так мило с твоей стороны, Билл. Маленькие знаки внимания от тебя значат для меня так много. Если бы ты... Где ты, Билл?

— Я здесь! Просто дело у нас зашло слишком далеко, чтобы его откладывать. Ты это хочешь сказать, радость моя?

— Вот именно, мой дорогой.

— И мама тебе не помеха?

— Ну, я ее не очень-то слушаю.

Теперь он был на высоте 2400 футов и отчетливо видел, как из Студио-сити к Ван-Ньюсу движется облако средней плотности.

— Слушай, детка,— сказал он.— Я скоро опять поговорю с твоей мамой, но сейчас преподам ей маленький урок. Поддержи меня. Передай Джерри, что я собираюсь позаботиться о его горохе, шпинате и цитрусовых, хорошо?

Он услышал, как она пошла сказать об этом Джерри, но тут же повесил трубку. Дело сделано. Джерри сказал ему, что хочет дождя, и он должен за все расплатиться. Таков закон.

Он опять взял курс на Ван-Ньюс, развернулся и, когда пошел над долиной к ущелью Кахуэнги, медленно нажал на курок последнего магазина. Потом взмыл ввысь, какое-то время поболтался там, издавая радостные восклицания и не обращая внимания на неистовый треск зуммера. У Патти есть чувство юмора. Патти поняла шутку! Патти опять на его стороне! Ему стало легче. Он только чуть-чуть соснет, а потом позвонит ей, и они оба посмеются над тем, как это выглядело на земле.

Сверху-то это выглядело здорово. Он как следует изрешетил облако, и вся вода, какая в нем была, внезапно и с силой хлынула вниз. Через десять минут прояснилось настолько, что он на одно мгновение отчетливо увидел все в бинокль.

Там, внизу, миссис Верньер собственной персоной галопом неслась к дому с последней порцией накрахмаленного белого белья — конечно, она его внесла в дом, когда дождь уже кончился. Должно быть, ей придется его перекрахмаливать, а может быть, и снова перестирывать. Во всяком случае он надеялся на это.

А белье миссис Верньер спасал от дождя именно Джерри Руд самолично в насквозь промокшем белом фланелевом костюме. Когда Джерри развешивал белье, он выглядел совсем молодцом, но сейчас у него был жалкий вид. Билл мог бы дать некоторые объяс-

нения миссис Верньер, но пусть лучше это сделает Джерри. В конце концов кто как не Джерри заказал дождь?!

Он заметил, как кто-то прошел к парадному крыльцу. Миссис Верньер и Джерри не могли видеть этой маленькой фигурки в розовом платье — руки у нее были сомкнуты над головой жестом победителя.

Билл покачал крыльями в знак того, что заметил ее. Потом зевнул, улыбнулся и повел машину на посадку. Когда он заглушил мотор и вылез из самолета перед своим ангаром, часы показывали 7.42. У него было такое ощущение, будто он вкалывал весь день с утра до вечера.

Перевод с английского Е. В а н с л о в о й

ГЕНРИ КАТТНЕР

Пчхи-хологическая война

Глава 1. последний из пу

В жизни не видывал никого уродливее младшего Пу. Вот уж действительно неприятный малый, чтобы мне провалиться! Как маленькая горилла, вот какой он был. Жирное лицо и глаза, сидящие так близко, что оба можно выбить одним пальцем. Его Па, однако, мнил о нем невесть что. Еще бы, крошка Младший — вылитый папуля.

— Последний из Пу, — говаривал старик, расплываясь в улыбке своей маленькой горилле. — Наираспрекраснейший парень из всех, ступавших по этой земле.

У меня, бывало, кровь в жилах стыла, когда я глядел на эту парочку.

Мы, Хогбены, люди маленькие. Живем себе тише воды и ниже травы в укромной долине, где никто не появится до тех пор, пока мы того не захотим. Соседи из деревни к нам уже привыкли.

Если Па насосется, как на прошлой неделе, и начнет летать в своей красной майке над Главной Улицей, они делают вид, будто ничего не замечают, чтобы не смущать Ма. Ведь когда он трезв, благочестивее христианина не сыщешь.

Сейчас Па набрался из-за Крошки Сзма, нашего младшенького, которого мы держим в цистерне в подвале. У него снова режутся зубки. Впервые после Войны между Штатами.

Проффессор, живущий у нас в бутылке, как-то сказал, будто Крошка Сзм испускает какие-то инфразвуки. Ерунда. Просто нервы

у вас начинают дергаться. Па не может этого выносить. На сей раз проснулся даже Деда, а ведь он с Рождества не шелохнулся. Протер глаза и сразу набросился на Па.

— Я вижу тебя, нечестивец! — ревел он. — Снова летаешь, олух небесный?! О, позор на мои седины! Ужель не приземлю тебя я?..

Послышался отдаленный удар.

— Я падал добрых десять футов! — завопил Па. — Так не честно! Запросто мог что-нибудь раздолбать!

— Ты нас всех раздолбаешь, пьяный губошлеп, — оборвал Деда. — Летать среди бела дня! В мое время сжигали за меньшее. А теперь замолкни и дай мне успокоить Крошку.

Деда всегда находил общий язык с Крошкой. Сейчас он пропел ему маленькую песенку на санскрите, и вскорости оба уже мирно похрапывали.

Я мастерил одну штуковину, чтоб молоко для пирогов у Ма скорей скисало. У меня ничего не было, кроме старых саней и двух проволочек, да мне и немного надо. Только я пристроил один конец проволочки на северо-северо-восток, как заметил промелькнувшие в зарослях клетчатые штаны.

Это был дядюшка Лем. Я слышал, как он думал: «Это вовсе не я, — твердил он, по-настоящему громко, прямо у меня в голове. — Между нами миля с гаком. Твой дядя Лем славный парень и не станет врать. Думаешь, я обману тебя, Сонки, мальчик?»

«Ясное дело! — ответил я ему. — Если б только мог. Что стряслось?»

Тогда он остановился и заметался в разные стороны.

«О, просто мне пришло в голову, что твоя Ма захочет чернички... Но если кто-нибудь спросит, говори, что меня не видал. Ты не соврешь. Ведь не видишь?»

«Дядя Лем, — подумал я, тоже по-настоящему громко. — Я дал Ма честное слово, что никуда тебя не отпущу, после того случая, когда ты...»

«Ладно, ладно, мальчуган, — быстро отозвался дядюшка Лем. — Кто старое помянет, тому глаз вон».

«Ты же никому не можешь отказать, — напомнил я, закручивая проволоку спиралькой. — Подожди, вот только заквашу молоко, и пойдем вместе куда ты там намылился».

Клетчатые штаны в последний раз мелькнули в зарослях, и, виновато улыбаясь, дядюшка Лем появился собственной персоной. Наш Лем и мухи не обидит — до того он безвольный. Каждый может вертеть им, как хочет, вот нам и приходится за ним хорошенько присматривать.

— Как ты это сварганишь? — поинтересовался он, глядя на молоко. — Заставишь этих крошек работать быстрее?

— Дядя Лем! — возмущился я. — Стыдись! Представляешь, как они вкалывают, сквашивая молоко?!

Когда Па насосется, то косеет от тех же самых трудов, которых кличет Ферментами.

— Вот эта штука, — гордо объяснил я, — отправит молоко в следующую неделю. При нынешних жарких деньках этого за глаза хватит. Потом назад — хлоп — готово, скисло.

— Ну и хитрюга! — восхитился дядюшка Лем, загибая крестом одну проволочку. — Только здесь надо поправить, а не то помешает гроза в следующий вторник. Ну, давай.

Ну я и дал. А вернул — будь спок! Все скисло так, что хоть мышь бегай. В крынке копошился шершень из той недели, и я его щелкнул.

Эх, опростоволосился. Все шуточки дядюшки Лема!

Он юркнул назад в заросли, от удовольствия притопывая ногой.

— Надул я тебя, молокосос! — закричал он. — Посмотрим, как ты вытащишь палец из середины следующей недели!

Ни про какую грозу он и не думал, закручивая ту проволочку. Минут десять я угробил на то, чтобы освободиться, — все из-за одного малого по имени Инерция, который вечно ошивается где ни попадя. Вообще сам-то я не слишком в этом кумекаю. Не дорос еще. Дядюшка Лем говорит, что уже забыл больше, чем я когда-нибудь буду знать.

Я так завозился, что не успел переодеться в городское платье, а вот дядюшка Лем чего-то выфрантился, как твой индюк.

А уж волновался он!.. Я бежал по следу его вертлявых мыслей. Толком в них было не разобраться, но чего-то он там натворил. Это асякий бы понял. Вот какие были мысли:

«Ох, ох, — зачем я это сделал? — да помогут мне небеса, если об этом проведаст Деда — ох, эти гнусные Пу, какой я болван! Ох, ох, — такой бедняга, хороший парень, чистая душа, никого пальцем не тронул, а посмотрите на меня сейчас! Этот Сонк, паршивец зеленый, ха-ха, как я его проучил. Ох, ох, ничего, держи хвост пистолетом, ты отличный парень, господь тебе поможет, Лемуэль».

Его клетчатые штаны то и дело мелькали среди веток, потом выскочили на поле, тянувшееся до города, и вскоре дядюшка Лем уже стучал в билетное окошко испанским дублоном, стянутым из дедулиного сундука.

То, что он попросил билет до Столицы Штата, меня совсем не удивило. О чем-то он заспорил с молодым человеком за окошком, наконец общарил свои штаны и выудил серебряный доллар, на чем они и порешили.

Паровоз уже вовсю пускал дым, когда подскочил дядюшка Лем. Я еле-еле поспел. Последнюю дюжину ярдов пришлось пролететь, но, по-моему, никто не заметил.

Однажды, когда у меня еще молоко на губах не обсохло, случилась в Лондоне, где мы в ту пору жили, Великая Чума, и всем нам Хогбенам пришлось выметаться. Я помню тогдашний гвалт, но куда ему до того, который стоял в Столице Штата, куда пришел наш поезд!

Свистки свистят, гудки гудят, машины ревут, радио орет что-то кошмарное — похоже, что каждое изобретение за последние две сотни лет шумнее предыдущего. У меня аж голова затрещала, пока я не установил то, что Па как-то обозвал повышенным слуховым порогом — попросту, заглушку.

Дядя Лем чесал во все лопатки. Я едва не летел, поспевая за ним. Хотел связаться со своими на всякий случай, но ничего не вышло. Ма оказалась на церковном собрании, а она еще в прошлый раз дала мне взбучку за то, что я заговорил с ней как бы с небес прямо перед преподобным отцом Джонсом. Тот все никак не может к нам, Хогбенам, привыкнуть.

Па был мертвецки пьян. Его буди — не буди. А окликнуть Дедулю я боялся, мог разбудить малыша.

Дядюшка мчал вперед на всех парах. Вскоре я увидел большую толпу, запрудившую всю улицу, грузовик и человека на нем, размахивающего какими-то бутылками.

По-моему, он бубнил про головную боль. Я слышал его еще из-за угла. С двух сторон грузовик украшали плакаты: «СРЕДСТВО ПУ ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ».

«Ох, ох! — думал дядюшка Лем. — О горе, горе! Что делать мне, несчастному? Я и вообразить не мог, что кто-нибудь женится на Лили Лу Матц. Ох, ох!»

Ну, скажу я вам, мы все были порядком удивлены, когда Лили Лу Матц выскочила замуж, с той поры еще десяти годов не минуло. Но при чем тут дядюшка Лем, не могу взять в толк.

Безобразнее Лили Лу нигде не сыскать, страшна, как смертный грех. Уродливая — не то слово для нее, бедняжки. Дедуля сказал как-то, что она напоминает ему одну семейку по фамилии Горгоны, которую он знал. Жила Лили Лу одна, на отшибе, и ей, почитай, уж сорок стукнуло, когда откуда-то с той стороны гор явился один малый и, представьте, предложил выйти за него замуж. Чтоб мне провалиться! Сам-то я не видал этого друга, но, говорят, и он не писанный красавец.

«А если припомнить, — думал я, глядя на грузовик, — если припомнить, фамилия его была Пу».

Глава 2. ДОБРЫЙ МАЛЫЙ

Дядюшка Лем заметил кого-то у фонарного столба и засеменил туда. Казалось, две гориллы, большая и маленькая, стояли рядышком и глазели на малого с бутылками в руках.

— Подходите,— взывал тот,— и получайте свою бутылку Надежного Средства Пу от Головной Боли!

— Ну, Пу, вот и я,— произнес дядюшка Лем, обращаясь к большей горилле.— Привет, Младший,— добавил он, взглянув на маленькую.

Я заметил, как дядюшка поежился.

Ничего удивительного. Более мерзких представителей рода человеческого я не видал со дня своего рождения. Старший был одет в воскресный сюртук с золотой цепочкой на пузе, а уж важничал и задавался!..

— Привет, Лем,— бросил он.— Младший, поздоровайся с мистером Лемом Хогбенем. Ты многим ему обязан, сынуля.— И гнусно рассмеялся.

Младший и ухом не повел. Его маленькие глазки-бусинки впились в толпу по ту сторону улицы. Было ему лет семь.

— Сделай мне сейчас, па? — спросил он скрипучим голосом.— Дай я им сделаю, па. А, па? — Судя по его тону, будь у него под рукой пулемет, он бы всех уколошил.

— Чудный парень, не правда ли, Лем? — ухмыляясь, спросил Пу-старший.— Если бы его видел дедушка!.. Вообще, замечательная семья — мы, Пу. Подобных нам нет. Беда лишь в том, что Младший — последний. Дошло, зачем я связался с вами, Лем?

Дядюшка Лем снова поежился.

— Да,— сказал он,— дошло. Но вы зря сотрясаете воздух. Я не собираюсь ничего делать.

Юному Пу не терпелось.

— Дай я им устрою,— проскрипел он.— Сейчас, па. А?

— Заткнись, сынок,— ответил старший и съездил своему отпрыску по лбу. А уж ручки у него были — будь спок!

Другой бы от такого шлепка перелетел через дорогу, но Младший был коренастый такой пацан. Только пошатнулся, потряс головой и покраснел.

— Па, я предупреждал тебя! — закричал он своим скрипучим голосом.— Когда ты стукнул меня в последний раз, я предупреждал тебя! Теперь ты у меня получишь!

Он набрал полную грудь воздуха, и его крошечные глазки вдруг засверкали и так выпучились, что чуть не сошлись у переносицы.

— Хорошо,— быстро отозвался Пу-старший.— Толпа готова — не стоит тратить силы на меня, сынок.

Тут кто-то вцепился в мой локоть, и тоненький голос произнес — очень вежливо:

— Простите за беспокойство, могу я задать вам вопрос?

Это оказался худенький типчик с блокнотом в руке.

— Что ж,— ответил я столь же вежливо,— валяйте, мистер.

— Меня интересует, как вы себя чувствуете, вот и все.

— О, прекрасно,— сказал я.— Как это любезно с вашей стороны. Надеюсь, что вы тоже в добром здравии, мистер.

Он с недоумением кивнул:

— В том-то и дело. Просто не могу понять. Я чувствую себя превосходно.

— Почему бы и нет? — удивился я.— Чудесный день.

— Здесь все чувствуют себя хорошо,— продолжал он, будто не слыша.— Не считая естественных отклонений, народ собрался вполне здоровый. Но, думаю, не пройдет и пары минут...

Он взглянул на свои часы.

И тут кто-то гвозданил меня молотком прямо по макушке.

Нас, Хогбенюв, хоть целый день по башке молоти — уж будь спок. Попробуйте — убедитесь. Коленки, правда, дрогнули, но через секунду я уже был в порядке и обернулся, чтобы посмотреть, кто же меня стукнул.

И ни души. Но, боже, как мычала и стонала толпа! Обхватив головы руками, все они, отпихивая друг друга, рвались к грузовику. А тот приятель раздавал бутылки с такой скоростью, что только поспевал хватать деньги.

Глаза у худенького полезли на лоб, что у селезня в грозу.

— О, моя голова! — стонал он.— Ну, что я вам говорил! О, моя голова!

И он заковылял прочь, роясь в карманах.

У нас в семье я считаюсь тупоголовым, но провалиться мне на этом месте, если я тут же не сообразил, что дело не чисто! Я не простофиля, что бы там Ма ни говорила.

— Колдовство,— подумал я совершенно спокойно.— Никогда бы не поверил, но это настоящее заклятье. Каким образом...

Тут я вспомнил Лили Лу Матц. И мысли дядюшки Лема. И передо мной — как это говорят? — задрезбужал свет.

Проталкиваясь вперед, я решил, что больше помогать дядюшке Лему не буду: уж слишком мягкое у него сердце — и мозги тоже.

— Нет-нет,— твердил он.— Ни за что!

— Дядя Лем,— окликнул я.

— Сони!

Он покраснел, и позеленел, и вообще всячески выражал свое негодование, но я-то чувствовал, что ему полегчало.

— Сказано тебе было — не ходи за мной! — прохрипел он.

— Ма велела мне не спускать с тебя глаз,— ответил я.— Я пообещал, а мы, Хогбены, никогда не нарушаем обещаний. Что здесь происходит, дядя Лем?

— Ах, Сонк, все идет совершенно не так! — запричитал дядюшка Лем.— Взгляни на меня — вот стою я, с сердцем из чистого золота, а нет мне ни вдоха, ни продыха. Познакомься с мистером Эдом Пу, Сонк. Он меня хочет сгубить.

— Послушайте, Лем,— вмешался Эд Пу.— Вы же знаете, что это неправда. Я добиваюсь осуществления своих прав, вот и все. Рад познакомиться с вами, молодой человек. Еще один Хогбен, я полагаю. Может быть, вы могли бы уговорить вашего дядю...

— Простите, что перебиваю, мистер Пу,— сказал я по-настоящему вежливо,— но лучше объясните по порядку.

Он прокашлялся и важно выпятил грудь. Видать, в охотку ему было поговорить об этом. Должно быть, чувствовал себя большой шишкой.

— Не знаю, были ль вы знакомы с моей незабвенной покойной женой, ах, Лили Лу Матц,— начал он.— Вот наше дитя, Младший. Прекрасный малый. Как жаль, что не было у нас еще восьмерых или десятерых таких же.— Он глубоко вздохнул.— Что ж, жизнь есть жизнь. Мечтал я рано жениться и украсить старость заботами детей... А Младший — последний из славной линии. И я не хочу, чтобы она оборвалась.

Тут Пу эдак взглянул на дядюшку Лема. Дядюшка Лем поежился.

— Не собираюсь,— все же петушился он.— Вы не сможете меня заставить.

— Посмотрим,— угрожающе проговорил Эд Пу.— Возможно, ваш юный родственник окажется благоразумнее. Должен предупредить, что я мало-помалу набираю силу в этом штете, и все будет так, как я скажу.

— Па,— квакнул вдруг Младший,— они стихают, па. Дай, я им двойную закачу, а, па? Спорим, что смогу уложить парочку. А, па?

Эд Пу собрался снова погладить своего шалопая; но вовремя передумал.

— Не перебивай старших, сынок,— сказал он.— Папочка занят. Занимайся своим делом и умолкни.— Он оглядел стонущую толпу.— Добавь-ка тем, у грузовика, чтоб поживее покупали. Береги силы, Младший. У тебя растущий организм.

Он снова повернулся ко мне.

— Одаренный парень,— заметил он по-настоящему гордо.— Сам видишь. Унаследовал это от дорогой нашей усопшей мамочки, Лили Лу. Я уже говорил о ней. Да, так вот, хотел я жениться молодым, но как-то все дело до женитьбы не доходило, и довелось уже в расцвете сил. Никак не мог найти женщину, которая посмотрела бы, то есть никак не мог найти подходящую пару до того дня, как повстречал Лили Лу Матц.

— Понимаю.

Действительно, я понимал. Немало, должно быть, исколесил он в поисках той, которая согласилась бы взглянуть на него второй раз. Даже Лили Лу, несчастная душа, небось долго думала, прежде чем сказать «да».

— Вот тут-то,— продолжал Эд Пу,— и замешан ваш дядюшка. Вроде бы он научил Лили Лу ворожить.

— Никогда! — завопил дядюшка Лем.— А если и так, откуда я знал, что она выйдет замуж и родит ребенка? Кто мог подумать...

— Он наделил ее колдовством,— повысил голос Эд Пу.— Да только она мне в этом призналась, лежа на смертном одре, год назад. Ух, и поколотил бы я ее за то, что держала меня в неведении все это время!

— Я хотел лишь защитить ее,— быстро вставил дядюшка Лем.— Ты же знаешь, что я не вру, Сонки, мальчик. Бедняжка Лили Лу была так страшна, что люди подчас кидали в нее чем попало, прежде чем успевали взять себя в руки. Мне было так ее жалко! Эх, Сонки, как долго я сдерживал добрые намерения! Но из-за своего золотого сердца я вечно попадаю в передраги. Однажды я так расстрогался, что научил ее накладывать заклятья. Так поступил бы каждый, Сонки!

— Как это ты сделал? — Мне было действительно интересно. Кто знает, может пригодится иной раз.

Он объяснял страшно туманно, но я сразу усек, что все устроил один его приятель по имени Ген Хромосом. А эти альфа-волны, про которые дядюшка распространялся,— так кто ж про них не знает? Небось каждый видел: ма-ахонькие волночки, мельтешащие туда-сюда. У Деды порой по шести сотен разных мыслей бегают — по узеньким таким извилинам, где мозги находятся. У меня аж в глазах рябит, когда он размыслится.

— Вот так, Сонк,— закружился дядюшка Лем.— А этот змееныш получил все в наследство.

— А что б тебе не попросить этого друга, Хромосома, перекрыть Младшего на обычный лад? — спросил я.— Это же очень просто.

Я сфокусировал на Младшем глаза, по-настоящему резко, и сделал эдак... ну, знаете, так, когда надо заглянуть в кого-нибудь.

Ясное дело, я сообразил, что имел в виду дядюшка Лем. Крохотулечки-махотулечки лемовы приятели, цепочкой держащиеся друг за дружки, и тоненькие малюсенькие палочки, шныряющие в клетках, из которых сделаны все — кроме, может быть, Крошки Сама, нашего младшенького.

— Дядя Лем,— сказал я,— ты тогда засунул вот те палочки в цепочку вот так. Почему бы сейчас не сделать наоборот?

Дядюшка Лем укоризненно покачал головой.

— Дубина ты стовросовая, Сонк. Ведь я же при этом убью его, а мы обещали Деду — больше никаких убийств!

— Но дядюшка Лем! — не выдержал я.— Кошмар! Этот змее-ныш всю свою жизнь будет околдовывать людей!

— Хуже, Сонк,— проговорил бедный дядюшка, чуть не плача.— Эту способность он передаст своим детям!

Уж будьте уверены — мрачноватая перспектива. Но потом я рассмеялся.

— Успокойся, дядя Лем. Не стоит волноваться. Взгляни на эту жабу. Ни одна женщина к нему и близко не подойдет. Чтоб он женился?! Да ни в жисть!

— А вот тут ты ошибаешься,— оборвал Эд Пу по-настоящему громко. Он весь прямо кипел.— Не думайте, что я ничего не слышал. И не думайте, что я забуду, как вы отзывались о моем ребеночке. Это вам с рук не сойдет. Мы с ним далеко пойдем. Я уже олдермен, а на той неделе откроется вакансия в сенате штата — если только один старый плешак не крепче, чем кажется. Я предупреждаю тебя, юный Хогбен, ты и вся твоя семья будете отвечать за оскорбления! Нас, Пу, трудно понять. Души наши слишком глубоки, я полагаю. Но у нас есть своя честь. Я в лепешку разобьюсь, но не позволю исчезнуть фамильной линии. Вы слышите, Лемуэль?

Дядюшка Лем лишь плотно закрыл глаза и быстро закачал головой.

— Нет,— выдавил он,— я не соглашусь. Никогда, никогда, никогда...

— Лемуэль,— дурным тоном произнес Эд Пу.— Лемуэль, вы хотите, чтобы я спустил на вас Младшего?

— О, это бесполезно,— заверил я.— Хогбена нельзя околдовать.

— Ну...— замялся он, не зная, что придумать,— хм-м... вы мягкосердечные, да? Пообещали своему дедульке, что никого не убьете? Лемуэль, откройте глаза и посмотрите на улицу. Видите эту симпатичную старушку с палочкой? Что вы скажете, если благодаря Младшему она сейчас откинет копыта?!

Дядюшка Лем еще крепче сжал глаза.

— Или вон та фигуристая дамочка с младенцем на руках. Взгляните-ка, Лемуэль. Ах, какой прелестный ребенок! Младший, приготовься. Нашли для начала на них бубонную чуму. А потом...

— Дядюшка Лем,— неуверенно промолвил я,— не знаю, что скажет Деда. Может быть...

Дядюшка Лем внезапно выпучил глаза и безумным взглядом уставился на меня.

— Что же делать, если у меня сердце из чистого золота?! — воскликнул он.— Я такой хороший, и все этим пользуются. Так вот — мне наплевать. Мне на все наплевать!

Тут он весь вытянулся, окостенел и шлепнулся лицом на асфальт, твердый, как кочерга.

Глава 3. НА ПРИЦЕЛЕ

Как я ни волновался, нельзя было не улыбнуться. Я-то понял, что дядюшка Лем просто заснул: он всегда так поступает, стоит лишь запахнуть жареным. Па, кажись, называет это кот-ле-пснией, но коты и псы спят не так крепко.

Когда дядюшка Лем грохнулся на асфальт, Младший испустил вопль радости и, подбежав к нему, ударил ногой по голове. Просто не мог спокойно смотреть на лежащего и беспомощного.

Ну, я уже говорил: мы, Хогбены, крепки головой. Младший взвизгнул и затанцевал на одной ноге, обхватив другую руками.

— И заколдую же я тебя! — завопил он дядюшке Лему.— Ну я тебе — я тебе!..

Он набрал воздуха, побагровел и...

Па потом пытался мне объяснить, что произошло, и понес какую-то ахинею о дезоксирибонуклеиновой кислоте, каппа-волнах и микровольтах. Надо знать Па. Ему же лень рассказать все на обычном языке, знай крадет эти дурацкие слова из чужих мозгов.

А на самом деле случилось вот что. Вся ярость этого гаденыша, припасенная для толпы, жахнула дядюшку Лема прямо, так сказать, в темечко. Он позеленел буквально на наших глазах.

Одновременно наступила гробовая тишина. Я удивленно огляделся и понял, что произошло.

Стенания и рыдания прекратились. Люди прикладывались к своим бутылочкам, облегченно потирали лбы и слабо улыбались. Все колдовство Младшего ушло на дядюшку Лема, и, натурально, головная боль исчезла.

— Что здесь случилось? — раздался знакомый голос.— Этот человек потерял сознание? Почему вы не оказываете ему помощь? Эй, позвольте, я доктор...

Это был тот самый худенький добряк. Он тоже посасывал из бутылки, пробиваясь к нам сквозь толпу, но блокнот уже спрятал. Заметив Эда Пу, он вспыхнул.

— Это вы, олдермен Пу? Как получается, что вы вечно оказываетесь замешанным в странных делах? И что вы сделали с этим человеком? По-моему, на сей раз вы зашли слишком далеко.

— Ничего я ему не делал,— прогнусавил Эд Пу.— Пальцем его не тронул. Последите за своим языком, доктор Браун, а не то пожалеете. Я не последний человек в здешних краях.

— Вы только посмотрите! — вскричал доктор Браун, вглядываясь в дядюшку Лема.— Он умирает! Эй, кто-нибудь, вызовите скорую помощь, быстро!

Дядюшка Лем снова менялся в цвете. Я знал, что происходит, и даже посмеялся немного про себя. В каждом из нас постоянно копошатся целые орды микробов, вирусов и прочих разных крохотулечек. Заклятье Младшего страшно раззадорило всю эту ораву, и пришлось взяться за работу другой компании, которую Па обзывает антителами. Они вовсе не такие хилые, как кажутся, просто очень бледные от рождения.

Когда в ваших внутренностях заваривается какая-нибудь каша, эти друзья сломя голову летят туда, на поле боя. И такие там драки разгораются — вам и привидеться не может!

Наши, хогбенковские, крошки кого хошь одолеют. Они так яро бросились на врага, что дядюшка Лем прошел все цвета, от зеленого до бордового, а большие желтые и синие пятна показывали на очаги сражений. Дядюшке Лему хоть бы хны, но вид у него был — нездоровый, будь спок!

Худенький доктор присел и пощупал пульс.

— Итак, вы своего добились,— произнес он, подняв глаза на Эда Пу.— Не знаю, как вас угораздило, но у бедяги, похоже, бубонная чума. Теперь вы с вашей обезьяной так не отделаетесь.

Эд Пу только рассмеялся. Но я видел, как он бесится.

— Не беспокойтесь обо мне, доктор Браун,— процедил он.— Когда я стану губернатором — а мои планы всегда сбываются,— ваша любимая больница, которой вы так гордитесь, не получит ни гроша из федеральных денег! Хорошенькое дельце! Нечего валяться без толку, вставай и иди! Вот что я вам скажу. Мы, Пу, никогда не боеем. Я найду лучшее применение деньгам в своем штате!

— Где же скорая помощь? — как будто ничего не слыша, поинтересовался доктор.

— Если вы имеете в виду большую длинную машину, производящую много шума,— ответил я,— то она в трех милях отсюда, но быстро приближается. Однако дядюшке Лему не нужна никакая помощь. Это у него просто приступ. Чепуха.

— Боже всемогущий! — воскликнул док, глядя вниз на дядюшку Лема. — Вы хотите сказать, что с ним такое случилось раньше, и он выжил?! — Тогда он посмотрел вверх на меня и неожиданно улыбнулся. — А, понимаю, бонтесь больницы? Не волнуйтесь, мы не сделаем ему ничего плохого.

Я малость соврал, потому что больница — не место для Хогбена. Надо что-то предпринимать.

«Дядя Лем! — заорал я, только про себя, а не вслух. — Дядя Лем, быстро проснись! Деда спустит с тебя шкуру и приколотит к двери амбара, если ты позволишь увезти себя в больницу! Или ты хочешь, чтобы у тебя нашли второе сердце? Или то, как скрепляются у тебя кости? Дядя Лем! Вставай!!»

Напрасно... он и ухом не повел.

Вот тогда я по-настоящему начал пугаться. Дядюшка Лем впутал меня в историю. Понятия не имею, как тут быть. Я в конце концов еще совсем молодой. Стыдно сказать, но раньше Великого пожара в Лондоне ничего не помню.

— Мистер Пу, — заявил я, — вы должны отозвать Младшего. Нельзя допустить, чтобы дядюшку Лема уехали в больницу.

— Давай, Младший, вливай дальше, — сказал Эд Пу, гнусно улымаясь. — Мне надо потолковать с юным Хогбеном.

Желтые и синие пятна на дядюшке Леме позеленели по краям. Доктор аж рот раскрыл, а Эд Пу ухватил меня за руку и отвел в сторону.

— По-моему, ты понял, чего мне надо, Хогбен. Я хочу, чтобы Пу были всегда. Я хочу быть уверен, что мой род не вымрет. У меня у самого была масса хлопот с женитьбой, и сынуле моему будет не легче. У женщин в наши дни совсем нет вкуса. Сделай так, чтобы наш род имел продолжение, и я заставлю Младшего снять заклятье с Лемуэля.

— Но если не вымрет ваша семья, — возразил я, — тогда вымрут все остальные, как только наберется достаточно Пу.

— Ну и что? — усмехнулся Эд Пу. — И мы не лыком шиты. — Он поиграл бицепсом. — Не беда, если такие славные люди заселят землю. И ты нам в этом поможешь, юный Хогбен!

— О, нет, — забормотал я. — Нет! Даже если бы я знал как...

Из-за угла раздался страшный вой, и толпа расступилась, давая дорогу машине. Из нее выскочила пара типов в белых халатах с какой-то койкой на палках. Доктор Браун с облегчением поднялся.

— Я уж думал, вы никогда не приедете, — сказал он. — Этого человека необходимо поместить в карантин. Одному богу известно, что мы обнаружим, начав его обследовать. Дайте-ка мне стетоскоп. У него что-то не то с сердцем...

Скажу вам прямо, у меня душа в пятки ушла. Мы пропали — все мы, Хогбены. Как только эти доктора и ученые про нас пронохают — не будет нам ни житья, ни покоя до скончания века нашего!

А Эд Пу смотрит на меня с гнусной усмешкой.

— Беспокоишься? — говорит он. — И не зря. Знаю я вас, Хогбенов. Все вы колдуны. А попадет он в больницу?.. Нет такого закону, чтоб ведьмаком быть. Тебе на раздумье меньше минуты, юный Хогбен. Ну, что скажешь?

А что я мог сказать? Ведь не мог я пообещать выполнить его просьбу, правда? У нас, Хогбенов, есть кое-какие важные планы на будущее, когда все люди станут такими, как мы. Но если к тому времени на Земле будут одни Пу, то и жить не стоит. Я не мог сказать «да».

Но я не мог сказать и «нет».

Как ни верти, дело, похоже, швах.

Оставалось только одно. Я вздохнул поглубже, закрыл глаза и отчаянно закричал, внутри головы.

«Де-да!!!» — звал я.

«Да, мой мальчик?» — отозвался глубокий голос у меня внутри. Деда был в доброй сотне миль от меня и спал. Но когда Хогбен зовет так, он имеет полное право получить ответ, причем быстро. И я его получил.

Вообще-то Деда имеет обыкновение битых полчаса задавать пространные вопросы и, не слушая ответов, читать длиннющие морали на разных мертвых языках. Но тут он сразу понял, что дело нештучное.

«Да, мой мальчик?» — все, что он сказал.

Времени почти не оставалось, и я просто широко распахнул перед ним свой мозг. Доктор уже вытаскивал какую-то штуковину, чтобы прослушать дядюшку Лема, а стоит ему услышать бьющиеся в разноречивой сердца, как всем нам, Хогбенам, каюк.

Молчание тянулось ужасно долго. Док вставлял в уши маленькие черные трубочки. Эд Пу пожирал меня глазами, как коршун. Младший багровел и надувался все больше, постреливая злыми глазками в поисках новой жертвы.

Деда вздохнул у меня в голове.

«Мы у них в руках, Сонк. — Я даже удивился, что Деда может выражаться на обычном языке, если захочет. — Скажи, что мы согласны».

«Но, Деда...»

«Делай, как я велел! — У меня аж в голове зашумело, так твердо он приказал. — Быстро, Сонк! Скажи Пу, что мы принимаем его условия».

Я не посмел послушаться. Но впервые усомнился в правоте Деда. Возможно, и Хогбены в один прекрасный день выживают из ума, и Деда подошел к этому возрасту.

Но вслух я сказал:

— Хорошо, мистер Пу, ваша взяла. Снимайте заклатье. Живо, пока еще не поздно.

Глава 4. ПУ ГРЯДУТ

У мистера Пу был длинный желтый автомобиль с открытым верхом. Он шел ужасно быстро. И ужасно шумно.

Господи, сколько я с ними возился, уговаривая поехать к нам! Так велел Деда.

— Откуда мне знать, что вы не прикончите нас в вашей дикой глуши? — волновался мистер Пу.

— Я могу прикончить вас, где захочу, — успокоил я. — И прикончил бы, да Деда запретил. Вы в безопасности, мистер Пу. Слово Хогбена никогда не нарушалось.

Дядюшку Лема после долгих споров с доктором погрузили в багажник. Этот упрямец так и не проснулся, когда Младший снял с него заклатье, но кожа его мгновенно порозовела. Док никак не мог поверить, хотя все произошло у него на глазах. Мистеру Пу пришлось чертовски долго ругаться и угрожать, прежде чем мы уехали. А док так и остался сидеть на мостовой, что-то бормоча и ошарашенно потирая лоб.

Когда мы подъехали к дому, вокруг не было ни души. Я слышал, как ворчит и ворочается Деда в своем мешке на чердаке, а Па сделался невидимым и даже не отозвался, до того был пьян. Малыш спал. Ма была еще в церкви, и Деда велел ее не трогать.

«Мы управимся вдвоем, Сонк, — сказал он, как только я вылез из машины. — Я тут пораскинул мозгами. Ну-ка, тащи те сани, на которых ты нынче молоко сквашивал!»

Я сразу усек, что он в виду имеет.

— О нет, Деда! — выпалил я по-настоящему вслух.

— С кем это ты болтаешь? — подозрительно спросил Эд Пу, выбираясь из машины. — Я никого не вижу. Это твой дом? Порядочное дерьмо. Держись ближе ко мне, Младший. Этому народу доверять нельзя.

«Бери сани! — прикрикнул Деда. — Я все продумал. Зашвырнем их подальше, в самое прошлое».

«Но Деда, — взыв я, только теперь про себя. — Надо все обсудить. Давай посоветуемся с Ма. Да и Па, когда трезв, неплохо соображает. Может, подождем, пока он очухается?»

Больше всего меня беспокоило, что Деда говорит на обычном языке, чего в нормальном состоянии никогда с ним не случалось. Я подумал, что, может быть, годы берут свое, и Деда повредился головой.

«Неужели ты не видишь,— продолжал я, стараясь говорить спокойно,— если мы забросим их сквозь время и выполним обещание, все будет в миллион раз хуже. Или мы их обманем?»

«Сонк!»

«Знаю. Если мы обещали, что род Пу не исчезнет, то уж будь спок. Они будут размножаться с каждым поколением. Через пять секунд после того, как мы зашвырнем их в прошлое, весь мир превратится в Пу!»

«Умолкни, паскудный нечестивец! Ты предо мной, что червь несчастный, копошащийся во прахе! — взревел Деда.— Немедленно веление мое исполни, неслух!»

Я почувствовал себя немного лучше и вытащил санк. Мистер Пу по этому поводу затеял перебранку.

— Сызмальства не ездил на санях,— сварливо сказал он.— Чего это вдруг? Здесь что-то не так. Нет, не пойдет.

Младший попытался меня укусить.

— Мистер Пу,— заявил я.— Делайте, что я скажу, иначе у вас ничего не получится. Садитесь. Младший, здесь и для тебя есть местечко. Вот так.

— А где твой старый хрыч? — засомневался Пу.— Ты ведь не собираешься все делать сам? Такой неотесанный чурбан... Мне это не нравится. А если ты ошибешься?

— Мы дали слово,— напомнил я ему.— А теперь сидите тихо и не отвлекайте меня. Может быть, вы уже не желаете продолжения рода Пу?

— Да-да, вы обещали,— бормотал он, устроиваясь,— а теперь выполняйте...

«Ну хорошо, Сонк,— произнес Деда с чердака.— Смотри и учись. Сфокусируй глаза и выбери ген. Любой ген».

Хоть и чувствовал я себя не в своей тарелке, а все ж меня любопытство заело. Уж коли за дело берется Деда...

Так вот, значит, там было полным-полно страшно маленьких изогнутых шмакодавок — генов. Они прямо-таки неразлучны со своими корешами, жуть какими худющими — хромосомами зовутся. Куда бы вы ни взглянули, всюду увидите эту парочку — если, конечно, прищурите глаза, как я.

«Достаточно хорошей дозы ультрафиолета,— пробормотал Деда.— Сонк, ты ближе».

Я сказал: «Хорошо»,— и как бы эдак повернул свет, падающий

на Пу сквозь листья. Ультрафиолет — это на другом конце линии, где цвета не имеют названий для большинства людей.

Гены начали шебуршиться в такт световым волнам. Младший проквалал:

— Па, мне щекотно.

— Заткнись,— буркнул Эд Пу.

Деда что-то бормотал сам себе. Готов биться об заклад, что такие мудреные слова он стащил из головы профессора, которого мы держим в бутылке. А впрочем, кто его знает. Может, он первый их и придумал.

— Наследственность, мутации...— бурчал он.— Гм-м. Примерно шесть взрывов гетерозиготной активности... Готово, Сонк, кончай. Я развернул ультрафиолет назад.

— Год Первый, Деда? — спросил я, все еще сомневаясь.

— Да,— изрек Деда.— Не медли боле, отрок.

Я нагнулся и дал им необходимый толчок.

Последнее, что я услышал, был крик мистера Пу.

— Что ты делаешь? — свирепо орал он.— Что ты задумал? Смотри мне, юный Хогбен... что это! Хогбен, предупреждаю, если это какой-то фокус, я напущу на тебя Младшего! Я наложу такое заклятье, что даже ты-ы-ы!..

Вой перешел в писк, не громче комариного, все тише, все тоньше, и исчез.

Я весь напрягся, готовый, если смогу, не допустить своего превращения в Пу. Эти крохотные гены — продувные бесити!

Ясно, что Деда совершил кошмарную ошибку. Знать не знаю, сколько лет назад был Год Первый, но времени предостаточно, чтобы Пу заселили всю планету. Я приставил два пальца к глазам, чтобы растянуть их, когда они начнут выпучиваться и сближаться, как у Пу...

— Ты еще не Пу, сынок,— произнес Деда, посмеиваясь.— Видишь их?

— Не-а,— ответил я.— А что там происходит?

— Сани останавливаются... Остановились. Да, это Год Первый. Взгляни на этих мужчин и женщин, высыпающих из своих пещер, чтобы приветствовать новых товарищей. Ой-ой-ой, какие широкие плечи у этих мужчин... И ох! Только посмотри на женщин. Да Младший просто красавчиком среди них ходить будет! За такого любая пойдет.

— Но, Деда, это же ужасно! — воскликнул я.

— Не прерывай старших, Сонк,— закудаhtал Деда.— А вот Младший пускает в ход свои способности. Какой-то ребенок схватился за свою голову. Мать ребенка посылает Младшего в нокадаун.

А теперь папаша взялся за Пу-старшего. О-го-го, какая схватка!.. Да, о семействе Пу позаботятся!

— А как насчет нашего семейства? — взмолился я, чуть не плача.

— Не беспокойся. О нем позаботится время. Подожди... Гм-м. Поколение — вовсе не много, когда знаешь, как смотреть. Ай-ай-ай, что за мерзкие уродины, эти десять отпрысков Пу! Почище своего папули. А вот каждый из них вырастает, обзаводится семьей и, в свою очередь, имеет десять детей. Приятно видеть, как выполняется мое обещание, Сонк.

Я лишь простонал.

— Ну, хорошо, — решил Деда, — давай перепрыгнем через пару столетий. Да, они здесь и усиленно размножаются. Семейное сходство превосходное! Еще тысячу лет. Древняя Греция! Нисколько не изменились! Помнишь, я говорил, что Лили Лу напоминает мою давешнюю приятельницу по имени Горгона? Не удивительно!

Он молчал минуты три, а потом рассмеялся.

— Бах. Первый гетерозиготный взрыв. Начались изменения.

— Какие изменения, Деда? — упавшим голосом спросил я.

— Изменения, доказывающие, что твой старый дедушка не такой уж осел, как ты думал. Я знаю, что делаю. Смотри, какие мутации претерпевают эти маленькие гены!

— Так, значит, я не превращусь в Пу? — обрадовался я. — Но, Деда, мы обещали, что их род продлится.

— Я сдержу свое слово, — с достоинством молвил Деда. — Гены сохраняют их семейные черты тюленька в тюленьку. Вплоть... — Тут он рассмеялся. — Отбывая в Год Первый, они собирались наложить на тебя заклятье. Готовься.

— О, боже! — воскликнул я. — Их же будет миллион, когда они попадут сюда. Деда! Что мне делать?

— Держись, Сонк, — без сочувствия ответил Деда. — Миллион, говоришь? Что ты, гораздо больше!

— Сколько же? — спросил я.

Он начал говорить. Вы можете не поверить, но он до сих пор говорит. Вот их сколько!

В общем, гены поработали на совесть. Пу остались Пу и сохранили способность наводить порчу. Пожалуй, можно с уверенностью сказать, что они в конце концов завоевали весь мир.

Но могло быть и хуже. Пу могли сохранить свой рост. А они становились все меньше, и меньше, и меньше. Гены Пу получили такую взбучку от гетерозиготных взрывов, подстроенных Дедулей, что вконец спятили и думать позабыли о размере. Этих Пу можно назвать вирусами — что-то вроде гена, только порезвее.

И тут они до меня добрались.

Я чихнул и услышал, как чихнул сквозь сон дядюшка Лем, лежащий в багажнике желтой машины. Деда все бубнил, сколько именно Пу взялось за меня в эту минуту, и обращаться к нему было бесполезно. Я по-особому прищурил глаза и посмотрел прямо в свой чих, чтобы узнать, что меня щекотало...

Вы никогда в жизни не видели столько Пу! Да, это настоящая порча. По всему свету эти Пу насылают порчу на людей, на всех, до кого только могут добраться.

Говорят, что даже в микроскоп нельзя рассмотреть некоторых вирусов. Представляю, как переполошатся все эти прохфессоры, когда наконец увидят крошечных злобных дьяволов, уродливых, как смертный грех, с близко посаженными выпученными глазами, околдовывающих всех, кто окажется поблизости.

Деда с Геном Хромосомом все устроили наилучшим образом. Так что Младший Пу уже не сидит, если можно так выразиться, занозой в шее.

Зато, должен признаться, от него страшно дерет горло.

Перевод с английского В. Б а к а н о в а

■ ПУБЛИЦИСТИКА

ВЛ. ГАКОВ

„Рассвет космической эры“

(Когда фантастика была юной)

Лукиану из Самосаты и всем другим, не подозревавшим, что они пишут страницы действительно правдивой истории

Это рассказ о времени, когда научная фантастика была юной. Когда она родилась, никто в точности не знает, зато ее детство и юность изучены сравнительно хорошо.

Детство было бурным. Постоянно понукаемый родителями, воспитываемый, но так до конца и не воспитавшийся, литературный вундеркинд предпочитал глазеть звездными ночами на небо, бегать по пустырям воображения, без конца мастерить и фантазировать, а не заниматься делом. Не желая брать пример с окружающих его взрослых жанров, ребенок скверно учился, а нравоучительные наставления пропускал мимо ушей. Мысли жанра-подростка витали далеко, в мечтах он уносился в неоткрытые еще земли «за тридцать звезд» и, подобно всем мальчишкам, строил грандиозные планы на будущее.

Дитя уважаемых родителей — Науки и Литературы — было упрямо, ершисто и не желало идти по стопам кого-либо из них. Не привлекал его мир одних лишь точных знаний, фактов и цифр, но равно не тянулся он к миру «только» чувств и непознанных эмоций. С детским максимализмом хотелось ему соединить и то, и другое. Но как — этого ребенок не знал...

С годами пришло умение работать, появились устойчивые привязанности, забрезжила, наконец, одна из главных, а может быть, и единственная цель — воспитывать человеческое воображение, подготавливать людей к стремительно надвигающемуся будущему. Ибо стало ясно — сначала специалистам, затем всем здравомыслящим людям, — что успешно противостоять все сминающей на своем пути лавине изменений, привносимых в мир наукой и техни-

кой (а с этим пришлось столкнуться лицом к лицу человеку второй половины XX века), могут только гибкий, натренированный мозг, богатое воображение, развитая творческая фантазия. До нашего века все эти качества были желательными, не более; сейчас без них человечеству просто не справиться со своими трудностями...

И тогда вспомнили о фантастике. Пришло признание, юноша был принят в литературный салон. Фантастика стала модной, не считаться с ней было уже нельзя.

Как сложится дальнейшая судьба нашего героя, что ему придется вынести и до каких озарений дойти (а может быть, и до разочарований?), что он оставит людям (ибо ничто не вечно в этом мире, тем более вкусы читающей публики), не знают ни он сам и никто другой. Но вера в то, что много прекрасного, неожиданного, возвышенного ждет его впереди, не покидала нас и никогда не покинет.

Трудно пересказать «биографию» научной фантастики: большая, бурная и сложная жизнь обычно требует больших и сложных книг. Наш рассказ лишь об одном периоде этой жизни — о времени, когда фантастика была юной. И речь пойдет лишь о ее части — фантастике космической. Летопись мысленных полетов в небо, к иным мирам фантастична и захватывающа сама по себе, и нельзя без волнения перелистывать ее страницы.

Потому что это одно из древнейших и самых устойчивых мечтаний человечества. И безусловно, одно из самых прекрасных.

Потому что ни в какой другой проблемной области научной фантастики не было мысленного штурма столь яростного, массового и победоносного.

Потому что не только иронию вызывают пожелтевшие от времени страницы, но и чувство уважения к первооткрывателям.

Потому, наконец, что о грезах юности помнишь всю жизнь.

1. РАССВЕТ

Двадцать пять лет назад у нашей планеты, до того довольствовавшейся одним естественным спутником, появился второй — искусственный. Четверть века человечество живет в новой, космической, эре, и за давностью времен забыто, кому первому и когда именно пришло в голову удачное сочетание, ставшее общепринятым: «Утро космической эры». Действительно, запуск первого искусственного спутника обещал долгий и многотрудный космический день человечества.

Впрочем, если говорить точнее, утро наступило еще раньше, оно пришло вместе с началом века, с формулами Циолковского и стартами первых ракет. А вот что ему предшествовало, этому утру космической эры, чем были заполнены томительно-прекрасные предрассветные «часы», исконное время романтиков и поэтов,— об этом и пойдет у нас рассказ.

Нет ничего удивительного в том, что фантазия и мечта обжили беспредельный космос намного раньше, чем туда вступил человек. Небо было самым древним и мощным магнитом, к которому направлялись мысли, желания, фантазия... Идея путешествия на небеса, изучения заоблачных диковин возникла на самой заре человечества. А возникнув однажды, уже никогда не покидала человека Земли.

Достаточно перевернуть древние мифологические сказания разных народов, чтобы везде — буквально везде — обнаружить искру этой самой святой мечты: мечты о полете на небо.

Некоторые ведут счет «палеокосмонавтам» от древневавилонского «Сказания о Гильгамеше», насчитывающего четыре тысячи лет,—что ж, мечта действительно была древней как мир. Когда археологи, производившие раскопки легендарной Ниневии, наткнулись на библиотеку царя Ашшурбанипала, то среди множества глиняных клинописных табличек была обнаружена запись легенды об Этана, верхом на орле воспарившем в небо...

Время шло, и в сочинении знаменитого древнегреческого сатирика Лукиана из Самосаты (жившего примерно в 120—190 годах нашей эры) уже можно прочесть о полете на Луку. Впрочем, произведение Лукиана, хотя и названо было «Правдивой историей», по существу, писалось как пародия, однако в те времена встречались и вполне «серьезные» упоминания о первых аэронавтах и космонавтах.

Разумеется, до XVII века авторы-фантасты никаких аппаратов в космос не запускали, а обходились техническими средствами сообразно духу времени. Например, искусственными крыльями.

Древнегреческий автор Аполлодор в своей «строго научной» «Мифологической библиотеке» (II век до нашей эры) бесстрастно сообщает «факты» об Икаре и Дедале (более известные по взволнованным поэтическим описаниям Овидия). «...Дедал изготовил крылья для себя и для сына, наказав поднявшемуся в воздух Икару не подниматься слишком высоко, чтобы клей, которыми были соединены перья, не расплавился под лучами солнца, и не опускаться слишком низко к морю, чтобы крылья не распались под влиянием сырости... Икар, однако, пренебрег советами отца и, увлеченный полетом, поднимался все выше. Клей расплавился, и Икар погиб, упав в море...»

Официозный мифописец Аполлодор менее всего был склонен к проявлению эмоций, но даже в его сухом, подчеркнуто нейтральном повествовании прорвались интересные нотки. «Увлеченный полетом...» — как часто мы будем вспоминать эти слова! Люди еще никуда и ни на чем не летали, но знаменательно, что уже в те далекие времена полет, пусть и фантастический, представал в воображении как нечто захватывающее, преодолевающее даже инстинкт самосохранения!

Икар был не одинок — столь же дерзновенно посягнул на святая святых древних, на Солнце, царевич Сампати из древнеиндийского героического эпоса «Рамаяна». И этот полет на искусственных крыльях произошел около двух тысяч лет назад...

Помогали и естественные крылья — вероятно, первым с помощью прирученных орлов, привязанных к паланкину, поднялся на небеса «царь-космонавт» Кей-Кавус из поэмы классика таджикской поэзии Фирдоуси «Шахнаме» (X—XI века). Об этом эпизоде сообщается вскользь, но обратите внимание: «...вскоре дивы вновь совершили Кавуса с истинного пути и надоумили его подняться на небо, дабы познать тайны мироздания». Все указано точно — и какой именно импульс гнал смельчака, и насколько греховным, злонамеренным было такое желание...

Потом мысленные полеты прекратились, как прервалась на время и литература, сама древняя культура. В Европе наступили темные времена средневековья, и мечта о небесах, о других мирах отодвинулась в тень: «совершенных с истинного пути» и «желавших познать тайны мироздания» церковники-инквизиторы, как известно, не прощали. Но стоило чуть ослабить путам религиозного мракобесия, как из пепла сожженных еретиков вновь восставала крылатая, как птица Феникс, мечта.

1516 год. На Луну запущен... ну что ж, назовем его так: «первый космический аппарат» — путешествие на нашу небесную соседку Астольф, герой поэмы Лудовико Ариосто «Неистовый Роланд», совершил в повозке Ильи-пророка. Итак, космическое путешествие на другое небесное тело — не в мыслях или сновидениях, а с помощью машины, аппарата...

Вероятнее всего, Ариосто был действительно первым. Его описание межпланетного путешествия пребывало в гордом одиночестве целое столетие. Не наступило еще время для мечтателей и фантазеров, хотя оно уже показалось на горизонте. Фантазеров церковь гноила и жгла, однако бесследно уничтожить фантазию была не в силах.

Битва разума с мракобесием еще только начиналась, и все старое, отжившее, косное не собиралось отступать без борьбы перед нарождающимся научным знанием. Потому-то гениальные

откровения лучших умов человечества соседствовали в те времена со схоластическими диспутами на тему о том, сколько ангелов может уместиться на острие булавочной головки.

Научное и религиозное, светлое и темное порой удивительным образом соединялись в одной личности. Подчас мы по традиции продолжаем трактовать духовную обстановку Средневековья как борьбу «попов» против «еретиков-ученых». И забываем при этом, что и Бруно был монах, и Кампанелла — монах, да еще какой — настоящий религиозный фанатик! Великий Иоганн Кеплер не только вывел математический закон обращения планет вокруг Солнца, но и считался незаурядным по меркам своего времени составителем гороскопов, верил в черную магию. И на кострах сжигали не обязательно правдолюбца и гения — значительно чаще ведьм и колдунов.

История этого сложного, смутного, грозного времени, когда зарождалось современное научное знание, как раз и предостерегает от упрощений. Еретик Мартин Лютер пришел в ярость, узнав об учении Коперника, и даже призывал к расправе над ним. Но коперниковское учение, которое «условно» (для реформы календаря) приняла церковь, наотрез отказался понять и Фрэнсис Бэкон, чьему имени мы обязаны самим понятием «научный метод». Вот такое было время.

Поэтому среди ранних подвижников «космонавтики» (вот уж ересь так ересь!) можно встретить и ученых-естествоиспытателей, и писателей, и светских кавалеров, и даже отцов церкви. Все грешили этим манящим и запретным — фантазией.

Говоря об истории ранних лунных путешествий, невозможно обойти молчанием имя великого немецкого астронома Иоганна Кеплера (1571—1630). Жизнь его была сложной и трагичной, и только дошедшие до нас фрагменты позволяют судить, что это была за противоречивая натура: последователь Галилея и придворный астролог императора Рудольфа II (астрономия была не в счет, ею он занимался во «внеслужбное» время), скрупулезный исследователь и азартный игрок, а еще философ и писатель...

Сложной и трагичной оказалась и судьба фантастического произведения Кеплера. Во время учебы в Тюбингенском университете в 1593 году он пишет диссертацию, посвященную гелиоцентрической системе мира, в которой, в частности, описываются небесные явления, наблюдаемые с... Луны. Позже, в 1609 году он пишет еще одну главу, где объясняет, как именно наблюдатель попал на Луну — с помощью демона, вызванного заклинаниями матери героя. Рукопись лежала без движения два года, после чего была украдена.

Наконец, между 1620 и 1630 годами Иоганн Кеплер заново вос-

становил свой «Сомниум» («сон» — по-латыни), но, так и не подготовив рукопись к публикации, умер. Затем еще одно из цепи несчастий: чума, в те годы свирепствовавшая в Европе, унесла предполагавшегося издателя рукописи. И только в 1634 году кеплеровский «Сон» о лунной стране Левании увидел свет.

Странное это было сочинение. В нем откровенная мистика соседствует с поразительными по точности научными наблюдениями и блестящими образцами научно организованной фантазии — чего стоят хотя бы последние страницы, на которых описывается гипотетическая лунная жизнь. И фантазируя, Кеплер остается ученым, логически выводя изображаемые им лунные формы жизни из тех данных, какие давала в ту пору наука.

Что же касается самих космических путешествий, то тут были мыслители посильнее. Удивительно, но наиболее научные проекты в вопросах межпланетных сообщений предложены как раз «полами». Известный английский писатель-фантаст Брайн Олдисс, описывая в своей истории научной фантастики ее предтечу, бросил удивительно меткую фразу: «...и целая компания английских епископов XVII века». Их действительно было четверо или пятеро — епископов, отдавших дань утопии и фантастике, причем двое самым непосредственным образом связаны с предметом нашего разговора.

Один из них читателю известен — это Фрэнсис Годвин (1562 — 1633), епископ Хирфордский, автор первого в литературе научно-фантастического романа о полете на Луну. Роман был написан в самом начале XVII века, а опубликован под псевдонимом «Доминго Гонзалес» после смерти автора, в 1638 году *. Однако мало кто знает, что этим же годом датировано сочинение коллеги и соотечественника Годвина — Джона Уилкинса, епископа Честерского. И посвящено это сочинение также Луне!

Джон Уилкинс (1614—1672), которого по праву можно было бы назвать «английским Ломоносовым», — одна из ярких фигур британской науки. Известный философ, лингвист и математик, удивительно совмещавший эти свои ипостаси с теологией, был бессменным ректором знаменитого Оксфорда и одним из основателей в 1662 году академии наук в Англии — Британского Королевского Общества. Им же написана, вероятно, первая научно-популярная книга в истории литературы.

Насчет «научно-популярной» — это не оговорка, сочинение Уилкинса в большей степени популярное изложение идей автора, нежели роман. К третьему изданию, вышедшему в 1640 году, добавлены общие рассуждения автора о возможностях полета на Луну,

* Орывки из его книги «Человек на Луне» можно прочитать в сборнике «Лунариум» (М., Молодая гвардия, 1975).

и в этих фрагментах Уилкинс высказал такие взгляды, которые нельзя не признать революционными (инквизиция и за меньшие вольности отправляла на костер...). Судите сами.

«Прочитав Плутарха, Галилея, Кеплера и некоторых других и обнаружив, что мысли мои собственные совпадают с высказываниями столь известных авторитетов, я заключил, что не только возможно, но и вероятно встретить на Луне другой обитаемый мир». Или вот еще: «Изобретение снаряда, при помощи которого можно добраться до Луны, не должно казаться нам более невероятным, чем казавшиеся вначале таковыми изобретения морских кораблей; и нет никаких поводов отказываться от надежды на успех в этом деле...» Этим словам почти три с половиной века!

А десятилетие спустя неутомимый епископ выпускает другой научно-популярный трактат о технологии и ее влиянии на жизнь общества. Книга была названа «Математическая магия», и в ней автор обсуждает такие чудеса, как подводная лодка и летательные аппараты, а также весьма скептически рассматривает идею «вечного двигателя». А уж что касается интересующих нас космических полетов, то тут, как говорится, расставлены все точки над «и»: «Четыре различных способа назову я, посредством коих полет в небеса был (!) или будет осуществлен. Два первых достигаются с помощью иных материй, остальные — с помощью нашей собственной силы: 1. С помощью духов или ангелов. 2. С помощью птиц небесных. 3. С помощью искусственных крыльев, пристегнутых непосредственно к телу. 4. На летающих колесницах...»

Если Уилкинс только размышлял о возможности межпланетных сообщений, то вот Годвин в своем фантастическом романе точно себе представил, с помощью какого аппарата можно эту идею реализовать. Мы называли Годвина автором первого научно-фантастического произведения о полете на Луну, и к тому есть все основания.

Да, герои Лукиана побывали на Луне еще во II веке нашей эры. И в более поздние времена у Годвина, казалось бы, хватает конкурентов в борьбе за приоритет. Например, герой упомянутого кеплеровского «Сомниума». Но то была помощь духов... Заслуга вольнодумца-епископа из Хирфорда в том, что его воображаемое путешествие на Луну было первым, как пишет известный исследователь Роберт Филмус, «обоснованным с точки зрения научных или квазинаучных принципов, какими бы примитивными ни были сами эти принципы».

Доминго Гонзалес, автор и единственный герой повествования, выдрессировал стаю диких лебедей так, что они могли переносить по воздуху корзину с полезным грузом. Случайно этот живой механизм — сложная конструкция из деревянных рам, канатов и живых «винтиков», а внизу — деревянное сиденье, напоминающее зна-

комый каждому горнолыжнику бугельный подъемник,— забрасывает героя на Луну. Почему это произошло? Тут автор, не мудрствуя лукаво, просто сообщает замороженному читателю, что дикие лебеди обычно в это время мигрируют на Луну. Почему бы и нет — в те времена, когда был написан роман, Африка казалась местом не менее «экзотическим»...

А вот дальше начинаются откровения, которые делают честь интуиции Годвина. На некотором расстоянии от Земли Гонзалес ощущает... невесомость (1638 год!), а наблюдая звезды, которые вне Земли светят ярче, герой заключает, что многие из них «кажутся намного дальше, чем наблюдателю с Земли». И это пишет епископ...

Дальше, правда, разворачивается довольно-таки неоригинальный, полуутопический, полусатирический сюжет, но и перечисленного достаточно. Титул одного из основоположников «воображаемой космонавтики» Фрэнсис Годвин заслужил по праву.

2. ПЕРВАЯ РАКЕТА

До конца века появилось еще несколько занятных описаний полетов на Луну, из коих самым занятным (и уже точно — самым знаменитым) было сочинение француза Сирано де Бержерака. Искушенный любитель фантастики знает, вероятно, что речь идет не только о ловком дуэлянте и кавалере, которого описал Эдмон Ростан, но и об удивительном мыслителе-гуманисте, фантазере, авторе одной из ранних «лунных» фантазий.

Бесстрашный вояка, гасконский дворянин Сирано де Савиньен (1619—1655), владелец родового замка Бержерак, после ранений, полученных им при осаде Мюзона и Арраса, вышел в отставку. Погрузился с головой в книги, а начитавшись как следует, и сам взялся за перо. Так появилась на свет диалогия «Другой мир»; первая ее часть, названная «Путешествие на Луну», вышла в 1657 году, а незаконченные фрагменты второй — «Государства и империи Солнца» — в 1662-м. Долгое время обе рукописи находились под дружеской цензурой приятеля Сирано, не без оснований опасавшегося неприятностей для автора со стороны церкви.

Сирано зачастую наделяют титулом «пионера космонавтики» и, надо думать, не без оснований: герой его романа отправляется на Луну... в аппарате, приводимом в действие ракетой. И пусть бы это была одна ракета — так нет же, сначала пламя уничтожило шесть ракет, расположенных по одному краю платформы, потом заработали шесть других, включилась третья «ступень», затем четвертая! По сравнению с нашими сегодняшними представи-

ями отличия лишь количественные — ракеты побольше, ступеней поменьше — сам же принцип угадан безошибочно.

Роман Сирано пользовался широкой популярностью, и все же понадобились еще долгие два с половиной века, пока к этой идее не вернулись романисты, о которых речь впереди, а вслед за ними, уже на строго научной основе, — Циолковский. Почему так произошло? Быть может, ответ на этот вопрос станет более прозрачным, если мы задумаемся над другим: а как сам автор отнесся к собственному более чем дерзкому предвидению?

А никак... Стоит призадуматься, перечитать роман, и желание увенчать Сирано лаврами «пионера космонавтики» само собой поуляжется. Ибо храбрый гасконец, хотя и был по меркам своего времени чрезвычайно начитан (он с легкостью рассуждает об астрономии, термодинамике, теории магнетизма и даже атомистике), по отношению к точной науке сохранял поистине святую невинность. По своей природе он был сатириком, а не ученым.

Давайте вспомним его первую попытку добраться до Луны, ту, что предшествовала «ракетной». Итак, «потешив воображение разумными возможностями осуществить свой план, я следующим образом отправился на небо... Я обвешался множеством склянок с росой, а солнечные лучи устремились на них столь яростно, что тепло, притягивающее склянки, подобно тому, как оно притягивает влагу, образуя огромные тучи, подняло меня на такую высоту, что...», и так далее в том же духе.

А теперь небольшое отступление. Один из многих современных методов поиска «безумных» идей, в которых так остро нуждается сейчас наука, назван методом «мозговой атаки», или брейнстормингом. В чем он заключается? Собирают группу специалистов, ставят перед ними сложную задачу и предлагают дать варианты решения. Варианты любые — сколь угодно фантастические, явно нереальные, даже бредовые. После чего эксперты внимательнейшим образом изучают ответы, выуживая то, что поддается реализации: где-то среди этой «фантастической чепухи», как правило, встречается верное, хотя и невероятное на первый взгляд решение. Смысл брейнсторминга в том, чтобы снять перед учеными вековой барьер под названием «нельзя». В результате казавшееся невозможным находит легкое и изящное, но главное — неожиданное решение.

Так вот, Сирано был бы идеальным испытуемым для брейнсторминга. Он не задумывался над технической осуществимостью предложенных решений (а задача стояла следующая: попасть на Луну) и многое предложил, наверное, просто в шутку. В его романе с небрежной легкостью нагромождено еще с дюжину столь же бредовых (в глазах тогдашней читающей публики) проектов. И не менее бредовых, вероятно, в глазах самого Сирано... К счастью,

метод «пиши все, что придет на ум» в данном случае пригодился. Ум у гасконца был острый и гибкий, а фантазия богатой. Что же удивляться его сверхточному попаданию!

Сирано де Бержерак с ракетой действительно угадал. К сожалению, в XVII веке еще не слышали о брейнсторминге и не нашлось эксперта, способного порыться в идеях гасконца и откопать одну-единственную, верную. Что касается самой фантастической картины — полет на Луну при помощи ракет, — то она никого особенно не увлекла; фантазировали тогда не в пример занятнее и изобретательнее...

К описываемым временам ракеты никак не могли претендовать на новизну. Парадоксально, но идея была стара как мир.

По свидетельству историков, китайцы забавлялись ракетными фейерверками еще в XI веке, а два столетия спустя уже применяли ракеты в военном деле. С течением времени идею заимствовали европейцы, но потом, когда более эффективными стали мушкетные пули, о ракетах забыли. Однако в конце XVIII века боевые ракеты применялись англичанами в боевых операциях против индусов-повстанцев, а еще полвека спустя — против наполеоновских войск. Но как только бурными темпами стала развиваться полевая артиллерия, ракеты вновь отошли в тень.

А теперь мысленно возвратимся в XVII век. Ясно, что своей «новинкой» Сирано никого особенно поразить не сумел. По сравнению с обычными ракетами, которыми тешились на придворных маскарадах, какие-нибудь духи или астральные субстанции выглядели куда эффектнее.

Но уже в начале следующего века, «века лунатиков», по меткому замечанию одного из историков научной фантастики, доставлять героев на Луну и планеты стала исключительно техника. И нельзя сказать, что способы были примитивными, скорее наоборот.

Вот, например, в скучном и заслуженно забытом романе английского писателя Дэвида Рассена «Лунный мир, или Путешествие на Луну», содержащее некоторые размышления о природе этой планеты, о возможных способах добраться туда, а также другие приятные замечания о ее обитателях, их образе жизни и обычаях» (1703), явившемся, по сути, научной рецензией на книгу Сирано, автор предлагает использовать для межпланетного путешествия... гигантские «качели» — сложное сооружение из шкивов и блоков. Ось качелей предполагалось установить на высокой горе, а два сиденья должны были соединить Землю и Луну. Рассен предусмотрел даже возвращение космонавта после лунного вояжа: для этого нужно было просто сесть на сиденье, находившееся на поверхности Луны. Остальное сделает притяжение Земли...

Наивно, конечно, но в каком-то смысле «научнее», чем у современника Рассена, великого Даниэля Дефо, автора фантастического (а по сути дела — чисто сатирического) романа «Консолидатор» (1705). У Дефо механический летательный аппарат, с помощью которого герой летит на Луну, приводится в действие... все тем же астральным духом, что и века назад. Зато другой великий современник, автор бессмертного «Гулливера» Джонатан Свифт, хотя и не вошел в плеяду ранних подвижников межпланетных путешествий, все же указал способ, который, когда будет открыт (или так: «если будет открыт...»), послужит будущей космонавтике. Ведь что такое летающий остров Лапута, как не фантастическая пока еще идея антигравитации!

Шли годы, количество проектов росло.

Многие считают, что именно Жюль Верн держит патент на использование пушки для межпланетного путешествия. Но, оказывается, идея «межпланетного орудия», то есть использования отталкивающей силы в безвоздушном пространстве, появилась веком раньше, в романе некоего Мурто Макдермотта «Полет на Луну» (1728). Правда, в космическое пространство героя поднял самый прозаический смерч, но вот дальше... «[герой] вцепился руками в огромное облако из градин, которое повстречал на пути, после чего, упершись изо всех сил, стал «давить» на облако, а сила отдачи двигала [героя] по направлению к Луне...» Болезненный удар по самолюбию членов жюльверновского Пушечного клуба.

А знаете, когда в сочинениях фантастов человек впервые удостоился заглянуть не на Луну, а на Марс, превратившийся позднее в настоящую Мекку для писателей? Давно — в 1744 году, в романе немецкого астронома Эберхарда Христиана Киндермана «Очень быстрое путешествие, совершенное пятью молодыми людьми на воздушном корабле в Иной мир, с целью проверить, правда ли, что планета Марс 10 июля сего года появится на небесах в первый раз за все время существования мира со своим спутником, или Луною» *. (Уж так повелось, что чем скучнее роман, тем внушительнее у него название.)

Итак, в романе речь идет о спутнике Марса. О наличии спутников догадывался еще гениальный провидец Свифт — за век с лишним до их открытия американским астрономом-самоучкой Асафом Холлом. Тем не менее роман Киндермана является, пожалуй, первым, в котором герои хотя бы своими глазами убедиться, что спутник имеет место. В романе пятеро смельчаков отправляются в

* Кстати, и вторая по счету «марсианская одиссея» была также совершена в немецкой литературе — в романе Карла Игнаца Гейгера «Путешествие жителей Земли на Марс» (1790).

космос, свято веруя в теорию итальянского иезуита Франческо Лама, полагавшего, что две соединенные вместе железные полушеры, из которых выкачан воздух, станут «легче» и взлетят в небо, как воздушные шары. Кажется, ни Лама ни Киндерман не придали большого значения знаменитым опытам Отто Герике, доказавшего существование атмосферного давления...^{*} Но как вам понравились слова «воздушный корабль» — в XVIII веке!

Тем не менее в ранних воображаемых космических путешествиях подобное название космических аппаратов не было в диковинку: поскольку еще долго бытовала вера в то, что воздух будет сопровождать путешественников на всем протяжении полета к Луне, проект «космического аэроплана» не казался таким уж нереальным.

Кстати, одно из первых описаний аэроплана, еще очень смутное и фактически лишь угадываемое («деревянная прямоугольная платформа с трапом, с насосом-помпой посередине, а по бокам с ситцевыми крыльями, натянутыми на тонкие металлические ребра трех ярдов длины»), можно найти в вышедшем в Лондоне анонимном «Рассказе о жизни и удивительных приключениях Джона Даниэля» (1751).

Прекрасны все-таки названия старинных романов — после прочтения такого названия сразу же отпадает необходимость раскрывать книгу: весь сюжет пунктуально изложен в заголовке! Вот и пример. «Джон Даниэль» в оригинале назван так: «Повеествование о жизни и удивительных приключениях Джона Даниэля, кузнеца в Рокстауне, Хертфордшир, в последние семьдесят лет его жизни. Содержащее следующие события. Меланхолическое описание его странствий. Кораблекрушение, которое он потерпел и в результате оказался с товарищем на необитаемом острове. Как они там жили. Его случайное открытие, что компаньоном является женщина (фантастика! — В. Г.). О том, как они заселили остров своими детьми. Равно, как и описание самого невероятного аппарата, построенного его сыном Джекобом, на котором он совершил полет на Луну, с приложением описания ее обитателей... Его возвращение на Землю...» и так далее, приблизительно еще на полстраницы... Нужно ли что-то добавлять?

Детальнее и серьезнее «разобран» летательный аппарат (странная комбинация вертолета и парашюта) в романе «Открытие в Южном полушарии, совершенное летающим человеком, или французский Дедал» (1781) известного французского писателя Никола-Анны-Эдма Ретифа де Ля Бретонна. В этой книге есть даже наметки на использование авианауки в военном деле!

^{*} А ведь опыт с «магдебургской сферой», известный теперь каждому школьнику, был проведен еще в 1654 году.

Открылась «эра космических путешествий» и в России. Специалисты до сих пор спорят, кому присудить титул первого русского фантаста, но в одном можно быть абсолютно уверенным: первый межпланетный перелет в отечественной литературе совершил мудрец Нарсим из «Новейшего путешествия, сочиненного в городе Белеве» (1784) Василия Левшина. Удивительно, до чего параллельно двигалась мысль фантазеров, разделенных многими тысячами километров: агрегат с машущими крыльями в английском «Джоне Даниэле», у француза Ретифа де Ля Бретонна и у русского Левшина.

«Во сне обращает он взоры свои на стену, где висело у него несколько орлиных крыл. Берет из них самые большие и надежные; укрепляет края оных самым тем местом, где они отрезаны, к ящику, сделанному из легчайших буковых дощечек, посредством стальных петель с пробоями, имеющими при себе малые пружины, кои бы нагнетали крылья снизу. С каждой стороны ящика расположил он по два крыла, привязав к ним проволоку и приведши оную к рукояти, чтоб можно было управлять четырью противу расположенными двух сторон крылами одною рукою; равномерно и прочих сторон крылья укрепил к особливой рукояти. Сие средство почитал он удобным к его намерению: что и в самом деле оказалось, ибо, вынеся сию машину на открытое место и сев в нее, когда двух сторон крылья опустил с ящиком горизонтально, а двумя других начал махать, поднялся он вдруг на воздух...»

Описывая «аппарат» Нарсима, Левшин предельно точен и даже сух, но стоит ему перейти к описанию самого полета, как стиль меняется — автор словно сам ощутил себя на месте Нарсима. Куда девалась инженерная обстоятельность! Из-под пера выходят строки, которые подтверждают нашу мысль: в те годы полет на небеса еще был бесконечно далек от технической задачи, даже и не претендовал на какую-то научность. Всего лишь мечта — подсознательная, будоражащая, опьяняющая.

«Какой восторг! Что стал Нарсим, увидев себя восходяще выше возможности человека... Он ободряется, начинает двигать рукояти, рассекает прозрачную бездну, удаляется и забывает о себе самом... Но разве не то ж делают все, коими владело любопытство? Нарсим был человек».

Слова, сказанные два века назад...

3. ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД ШТУРМОМ

И вот мы на пороге XIX столетия.

Столетия, когда на полные обороты заработал мотор научно-технического прогресса. Какую бы тему, какую бы линию научно-

фантастической литературы мы ни исследовали, их «пик» обязательно придется на XIX век. В этом веке впервые дала себя знать «нелинейность» времени. С приходом прогресса время начало растягиваться, и теперь каждый год приносил столько изменений, сколько раньше их не случалось и в столетие.

Давайте не поленимся пробежать взором этапы этого фантастического восхождения мысли. Фантастика каждого периода становится понятнее после анализа самого периода. Что такое XIX век? Приходит на ум сразу же — век технического прогресса! И все-таки освежим свою память...

Научное знание: атомистическая теория Дальтона (1803), первые идеи вычислительных машин (Бэббидж, 1823), органический синтез (Волер, 1828), законы термодинамики (Клаузевиц, Гельмгольц, Джоуль, Майер, 1840—1850), булевы алгебры (1855), «Происхождение видов» Дарвина (1859), максвелловская теория электромагнетизма (1864), законы генетики Менделя (1866), периодическая система Менделеева (1869), теория распространения радиоволн (Герц, 1887), рентгеновские лучи (1895) и под занавес века, в 1896 году — открытие радиоактивности Беккерелем и в 1897 — электрона Томсоном! Наконец, пионерские работы Циолковского...

Не отставала и техника: электрическая батарея Вольта (1800), а затем — колесный пароход Фултона (1807), велосипед фон Зауэрбрэнна (1816), стетоскоп Леннека (1819), электромотор Фарадея (1822), электромагнит Стёрджена (1825), трактор Кили (1825), генератор тока (1831), телеграф Морзе (1837), динамит (1867), телефон Белла (1876), четырехтактный газовый двигатель внутреннего сгорания Отто (1876), фонограф Эдисона (1877), многоступенчатая реактивная паровая турбина Парсонса (1884), цветная фотография Истмена и Гудвина (1891)... Воистину ни года без открытия!

Наверняка в этом списке кто-нибудь незаслуженно забыт, но всех и не перечислишь. Прогресс прорывался везде, во всех областях науки и техники. Вот только в космос не слетали...

Это «упущение» с лихвой окупил научная фантастика. С приходом века прогресса она заиграла всеми мыслимыми красками и оттенками — особенно это относится к ее космической ветви. Писателей словно подстегивало наитие, что не за горами век следующий, когда человечеству предстоит сделать едва ли не решающий шаг в своей эволюции. Шаг за пределы колыбели.

Что такое век для стереотипов массового сознания? Не мгновение, но и не вечность. А за этот, XIX, век предстояло полностью обжить космос в воображении, подготовить к нему человечество. «Космический ажиотаж» захватил всех — и ученых и поэтов. Рационалисты проигрывали варианты и анализировали возможные последствия, люди эмоционального склада, вслушиваясь в грядущие изме-

нения, заглядывали в духовные бездны «внутреннего космоса», сопрягали его с внезапно открывшимся внешним. Впрочем, таких — и рациональных и эмоциональных — было еще немного, взор их был туманен, но опирались они на надежного поводыря — научную фантастику.

Мысль писателей-фантастов, подстегиваемая их недюжинным воображением, двигалась не плавно и не последовательно, а резкими, неожиданными скачками. Периоды затишья иногда затягивались, но зато за каждым прыжком открывалась бесконечность — бесконечность деталей и сюжетов, запретов и новых соблазнительных возможностей.

Одно из временных затиший пришлось как раз на начало XIX века.

Нельзя сказать, что научная фантастика этой поры отставала от бурно развивавшихся науки и техники. Фантасты продолжали идти «вперед», не собирались уступать и по темпам: только из-под пера английской писательницы Мэри Шелли в те годы вышли два романа, которым была уготована долгая и замечательная судьба — «Франкенштейн» (1818) и «Последний человек» (1825). От них ведут свое начало популярнейшие темы современной фантастики — «человек и робот» и «цивилизация перед лицом катастрофы». А вот космическая волна на время утихла. Хотя ни для кого не было секретом, что то было затишье перед решающим штурмом.

В эти годы почувствовалась усталость от космоса. Парадоксально, но факт: космические путешествия в фантастических произведениях исчислялись «всего лишь» десятками, а читатель устал. Еще были преждевременны слова о том, что книжный рынок затоплен космической фантастикой, но... романов год от года становилось все больше, неизбежных сюжетных повторов — тоже; к космическим чудесам стали потихоньку привыкать.

Кроме того, следует обратить внимание и на другой факт.

До сих пор книги, о которых шла речь, заслуживали лишь упоминания и пересказа, а ни в коем случае не прочтения (редкие исключения не в счет).

Какими бы интересными ни были высказанные в них идеи, дальше идей дело обычно не шло. Судьба книг подтвердила это со всей наглядностью: потребовался труд не одного десятка современных исследователей, чтобы выудить из безвестности запылившиеся фолианты. Тяжелый труд — промывать тонны песка и ила ради нескольких крупниц золотого песка, тех самых удивительных идей, о которых мы сообщаем лишь парой строчек!

Ясно, что такой количественный рост романов «про космос» рано или поздно должен был привести к какому-то качественному

повороту. Либо космической фантастике было суждено умереть, как следует и не родившись, либо...

Не только космическая — вообще вся фантастическая литература ждала своего доброго гения, художника, который сопряг бы ее окончательно с большой литературой. Или привлек бы к ней теперь уже миллионы читателей, сделал бы в лучшем смысле слова массовой, заразив сердца молодых романтиков мечтой.

Одним таким добрым гением стал для нее Эдгар По, другим — Жюль Верн, оставившие свой след — и значительный! — и в космической фантастике.

Для таких гигантских прыжков в Незнаемое потребовалось время. Но и в период затишья продолжалась работа, кропотливая и последовательная, и когда на сцене появился Эдгар По, почва для произрастания его таланта была заботливо подготовлена известными предшественниками.

В 1813 году романом некоего Джорджа Фаулера дорогу в космос «открывает» американская литература — более чем за столетие до официального рождения жанра в Америке.

Первые ласточки — книга Фаулера и вышедшая спустя 14 лет книга Джозефа Эттерли (под таким псевдонимом печатался известный ученый, профессор Джордж Такер) — были названы на редкость «оригинально»: «Полет на Луну». Чем они были интересны? Практически ничем, если не считать соображений приоритета. Правда, в книге Такера впервые упоминается «антигравитационный металл», предшественник узлсовского «кейворита». Ну и еще, пожалуй, представляет интерес тот факт, что профессор Джордж Такер заведовал кафедрой в Университете штата Вирджиния в те годы, когда там учился молодой Эдгар Аллан По...

Что ж, чудес ждали и с Луны. Она давно превратилась в старый добрый полигон фантастики, и от испытаний, которые проводили на этом полигоне писатели, действительно, можно было ждать всего, чего угодно. Читатель был приучен к мысли, что что-нибудь связанное с нашей космической соседкой да случится.

Поэтому когда в последние августовские дни 1835 года на страницах газеты «Нью-Йорк Сан» пошел с продолжением сенсационный материал о Луне, никто не заподозрил неладное. Репортаж назывался «Великие открытия в астрономии», и сообщалось в нем об открытии астронома сэра Джона Гершеля, сына знаменитого Уильяма Гершеля, сделанном в обсерватории на мысе Доброй Надежды. Судя по сообщению, обнаружены были крылатые обитатели Луны!..

Вскоре выяснилось, что весь репортаж был чистой воды розыгрышем, сочиненным журналистом Ричардом Адамсом Локком. Однако впечатление от его затей было равносильно взрыву бомбы.

Поверили абсолютно все. Здание редакции беспрерывно осаждалось возбужденными толпами, день ото дня все более многочисленными, и достать экземпляр газеты не было никакой возможности. И даже когда мистификация рассеялась, в открытие селени-тов Гершелем верили еще целых два десятилетия... Этот первый образец «вотума доверия» молодой фантастике со стороны читателей вошел в ее историю как научно-фантастический рассказ Ричарда Адамса Локка «Лунная мистификация».

Итак, первые симптомы того, что космос начал «обживать-ся», веком позже, когда молодой американский режиссер Орсон Уэл-лес в аналогичном духе решил инсценировать на радио «Войну миров», он, вероятно, знал об опыте Локка. Однако явно не учел, бутылку с каким джинном раскупоривает: начавшаяся в резуль-тате знаменитая паника 1938 года охватила все Соединенные Шта-ты и послужила темой не одного десятка исследований, написан-ных литературоведами, психологами и психиатрами.

В истории литературы шутка Локка тоже оставила свой след. Правда, заслуга тут не автора, а читателей. И не всех, а одного-единственного. Им оказался молодой американский поэт, пробо-вавший свои силы и в фантастике,— Эдгар Аллан По (1809—1849).

По вспоминает о мистификации Локка в серии статей под на-званием «Литераторы Нью-Йорка». Еще бы не вспомнить! За два месяца до выхода сенсационного материала в «Сан» небольшой журнальчик, издающийся в городе Ричмонде, опубликовал рассказ молодого По на сходный «лунный» сюжет. Это было «Необыкновен-ное приключение некоего Ганса Пфааля», герой которого добрался до Луны уже совершенно по моде времени — на воздушном шаре...

Сама идея воздушного шара после полета Монгольфье не ка-залась столь уж фантастической в глазах тогдашней читающей публики. Воздушные шары были у всех на устах — интересно, что использование их в качестве космического транспортного средства предложил не один Эдгар По. Его опередил другой замечательный поэт, на этот раз из России, Вильгельм Кюхельбекер, опубликовав-ший в 1824 году сатирический рассказ «Земля безглазцев». Герой рассказа, увидев в Париже воздушный шар, «вспомнил наше роди-мое небось, поручил себя богу и отправился искать похождения и счастья»... на Луну. Действительно, идеи не подвластны географи-ческим границам!

Самое интересное, однако, не это. В примечаниях ко второй публикации рассказа в сборнике «Гротески и арабески» Эдгар По посвятил разбору рассказа Локка шесть страниц. То, что две шутки (а из текста «Пфааля» можно заключить, что прибытие космичес-кого путешественника состоялось... 1 апреля!) появились практиче-ски одновременно, заставило многих усомниться, не написаны ли они

одним и тем же автором. Эдгар По официально открестился от шуток Локка, после чего подверг его «сообщение» беспощадному разгрому с точки зрения научной достоверности. Вывод одного из предтеч современной фантастики был столь же неутешителен, сколь и категоричен: «Если публика могла хоть на минуту поверить ему (Локку.— В. Г.), то это лишь доказывает ее глубокое невежество по части астрономии». Увы, публика в последующие годы верила еще и не такому.

Затишье было лишь видимым, шторм приближался, и нервное напряжение искало себе выхода...

4. АРТПОДГОТОВКА

Применяя военную терминологию, можно сказать, что в первой половине XIX века космические вояжи писателей-фантастов напоминали редкие, одиночные выстрелы, а в 60—70-х годах началось решающее наступление. И началось, как положено, залпами «тяжелой артиллерии».

Впрочем, не так. За грохотом пушек, за победными реляциями с поля сражения никто, вероятно, не расслышал тихого одиночного «выстрела» — не замеченной практически никем одной фразы в русской газете «Московские губернские ведомости» за 1848 год. Символичной она стала уже в наши дни, когда попала на глаза кому-то, кто рылся в архивах московских дореволюционных газет. Вот ее текст:

«Мещанина Никифора Никитина за крамольные речи о полете на Луну сослать в киргизское поселение Байконур».

Ну как после этого не верить в «роковые» совпадения!..

Но то была отсталая царская Россия, весьма далекая от «космических идей» (еще не родились Циолковский и Кибальчич, и только через полвека с лишним появится на свет Королев). В европейской же фантастике начался бурный взлет космической тематики, к концу века перешедший в настоящий шторм.

Чтобы перечислить все этапы этого беспримерного мысленного штурма, предпринятого фантастами, не хватит и целой книги, не то что статьи. Небесные миры еще не превратились в откровенную условность, какими они стали впоследствии, — нет, писатели с увлечением осваивали их, заселяли флорой и фауной, не говоря уж о разумных аборигенах. Мы как-то привыкли к тому, что фантастика лишь «чуть-чуть» обогнала науку в изучении планет, но это заблуждение, и его легко развеять. Стоит только углубиться в предысторию этой литературы...

В XX веке фактически космос уже исследовали всюю, разрабатывали жилу. Открыли ее и освоили веком раньше. Трудно

даже представить себе, как много кирпичиков и даже увесистых блоков было заложено в фундамент космической фантастики в прошлом веке. Мы расскажем лишь о некоторых.

Итак, через три десятилетия после появления рассказа По, о котором речь шла выше, наступил-таки звездный год научно-фантастической литературы. Хотя формально он оказался «лунным» годом... Чтобы продолжить нашу летопись, покинем на время Американский континент и вновь перенесемся в Европу. На этот раз — Париж 1865 года.

Две с лишним недели начиная с 15 сентября редакцию парижской газеты «Журналь де Деба» лихорадило. Так же, вероятно, как и нью-йоркскую «Сан», когда там печатался материал Локка: от читателей просто не было отбоя. Еще бы, в газете с продолжением шел восхитительный, увлекательный роман, названный, увы, длинно и скучно: «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут». Русскому читателю этот роман знаком под более лаконичным, врезавшимся в память с детства названием — «Из пушки на Луну». Надо ли сообщать имя автора?

Четвертому по счету роману уже завоевавшего популярность Жюль Верна (1828—1905) выпала удивительная судьба. Взволновавший современников, он через полвека подтолкнул мысль и скромного учителя математики из русского города Калуги. «Не помню хорошо, как мне пришло в голову сделать вычисления, относящиеся к ракете. Мне кажется, первые семена мысли заронены были известным фантазером Ж. Верном; он пробудил работу моего мозга в известном направлении. Явились желания; за желаниями возникла деятельность ума. Конечно, она ни к чему не повела, если бы не встретила помощи науки», — писал Константин Эдуардович Циолковский, отдавая дань уважения французскому писателю-фантасту.

Заведомо неверная в том, что касается научного обоснования, книга по-прежнему живет своей жизнью, заражая жаждой поиска каждое новое поколение читателей. Впрочем, так ли уж и неверная?

Во-первых, Жюль Верн не многим погрешил против взглядов своего времени — научных и, так сказать, «литературных». Пушка, используемая для межпланетных путешествий, еще долго будет завораживать романистов — среди самых известных произведений конца прошлого — начала нынешнего века можно отметить романы французов Ж. Ле Фора и А. Графиньи* и знаменитую лунную

* Правда, в романе «Необыкновенные приключения русского ученого» (1899) Ж. Ле Фор и А. Графиньи изобразили «пушку» естественного происхождения: пять членов лунной экспедиции стартуют к цели своего путешествия в снаряде, выпущенном из жерла действующего вулкана Котопахи в Америке...

трилогию поляка Ежи Жулавского. Удивительно, что даже в романе американского автора Эдвина Нортрапа «Ноль к восьмидесяти», вышедшем под псевдонимом «Акад Псевдоман» в 1937 (I) году, все еще описывается стартовая установка, выстреливающая космические корабли к Луне!..

Пушкой заинтересовались не только романисты. В печати проскочило сообщение о проекте молодого ученого из Монреальского университета, уже в наши дни решившего «реанимировать» идею Жюль Верна. Действительно, ругали ее, ругали почему зря, а в сущности, за что? Да, экипаж «Колумбиады» в первое же мгновение был бы раздавлен в лепешку. Но разве в космос, на околоземную орбиту в частности, летают только пилотируемые аппараты? Так, оказалось, что запускать мелкие спутники на орбиту баллистическим способом можно было бы и в 20-е годы нашего века, если бы на идее Жюль Верна не лежала печать неосуществимого.

Допустив ошибку в главном — принципе межпланетных полетов, — Жюль Верн, однако, с непостижимой интуицией угадывал одну деталь за другой. Пока еще угадывал, а не предвидел.

Многие ли знают, что жюльверновская «Колумбиада» не только стартовала с полуострова Флорида, откуда век спустя начал свое лунное путешествие «Аполлон-8» (также американский и также с тремя астронавтами на борту), но и совпадала с ним по размерам и весу? А облетев Луну, — что сделали и Фрэнк Борман с товарищами, — приводнилась всего в четырех (I) километрах от места, где завершил свою миссию американский космический корабль (последнее относится, разумеется, к продолжению — роману «Вокруг Луны», вышедшему пять лет спустя). Не слишком ли много совпадений?

Однако поразительнее другое. В тот же 1865 год вышла в свет еще одна книжка, автором которой был также француз Ашиль Эйро. Его роман «Путешествие на Венеру» — первый, кстати, о полете именно на эту планету Солнечной системы — прочно и навсегда забыт*. Хотя в этой книжке, при полном отсутствии каких-либо художественных достоинств было нечто, мимо чего прошел вели-

* По крайней мере всем так казалось до самого последнего времени. Но вот в интервью, данном корреспонденту «Литературной газеты», известный советский конструктор космической техники, член-корреспондент Академии наук СССР Б. В. Раушенбах ссылается наряду с книгами Жюль Верна и на сочинение Эйро. Оно, оказывается, также послужило одним из импульсов, которые определили судьбу будущего ученого. Как, где, когда «раскопали» талантливый ученый запылившуюся книгу, которая сейчас является библиографической редкостью даже на родине писателя, во Франции, остается только гадать. Но счастье, что раскопал...

кий Жюль Верн: поразительно точное и ясное научное предвидение, верная идея. Да какая! Ашилла Эйро, вероятнее всего, первым из писателей-фантастов (не считая случайно угадавшего Сирано) предложил, и судя по всему достаточно четко, идею движения в межпланетном пространстве при помощи многоступенчатых ракет. Но... никто на это не обратил внимания, а жаль.

Легче всего было бы объяснить разные судьбы романов-одногодков полной беспомощностью Эйро как писателя. Однако читателя, сделавшего столь поспешный вывод, ждет большой сюрприз: в том же 1865 году вышел еще один научно-фантастический роман о полете на Луну. И автором был опять-таки французский писатель: романом «Путешествие на Луну» (и как им не прискущило это название!) в космической фантастике дебютировал не кто-нибудь, а сам Александр Дюма. Он, правда, на свои технические познания не очень-то надеялся, посему вместо объяснения принципа межпланетного перелета просто намекнул на некое фантастическое вещество, «отталкиваемое» Землей... На этот раз роман был написан признанным метром, но и об этой книге сейчас мало кто помнит.

Есть смысл прервать наше путешествие на машине времени и оглядеться. Основной штурм еще впереди, а пока надо кое над чем призадуматься.

Итак, еще один парадокс, точнее, даже два. Во-первых, выходит, не так они и бесперспективны — эти «нехудожественные», утилитарно-прогностические романы писателей-фантастов? И вместе с тем для написания хорошего научно-фантастического романа одного литературного дарования, оказывается, недостаточно. Нужно еще что-то, что не укладывается в привычные схемы литературоведов. В противном случае надо признать, что роман Дюма сыграл более важную роль в жизни общества, чем книга Эйро.

Вот ведь какая получается странная цепочка. Три книги, три судьбы. Роман Эйро: художественные достоинства отсутствуют, зато есть отличное «предсказание». Роман Дюма: художественные достоинства присутствуют, но нет идеи, сугубо научно-фантастической изюминки. Наконец, роман Жюль Верна... И тут-то схема трещит по швам.

Художественные достоинства в романе Жюль Верна имеются, но это все равно «слабовато» по меркам большой литературы; имеется идея, но теперь «слабовато» уже по меркам прогностической фантастики.

И все-таки его читают запоем, поколение за поколением, между тем как книги Дюма и Эйро... Может быть, в этой двойственности, в этом неуловимом балансировании на лезвии бритвы, отделяющей

«чистый роман идей» (ах, как ему порой достается от критиков!) от «чистого романа людей» (но, с другой стороны,— вот, пожалуйста, пример Александра Дюма), и заложено главное, что сделало Жюль Верна Жюлем Верном? Не запятан ли где-то здесь секрет действительно хорошей фантастики?

Жюль Верн с прогнозом ошибся, это верно. Но разве безошибочный Эйро подсказал Циолковскому основную идею? Ведь Константин Эдуардович, как это явствует из его собственных высказываний, книги Эйро не читал, а напротив, зачитывался именно «ошибочными» произведениями Жюль Верна, которые и подтолкнули мысль «отца космонавтики».

Выделим эти два слова: не «подсказал», а «подтолкнул». Не здесь ли кроется загадка научно-фантастических предвидений фантастов? В конце концов для столь еретической литературы не покажется удивительным и такой вывод: может быть, именно в ошибках фантастов заложены ростки их триумфа...

5. ШТУРМ

Однако продолжим наше путешествие. Мы находимся совсем недалеко от XX века, и космический шторм достиг своей кульминации.

В 1870 году совершен облет Луны (в романе «Вокруг Луны» Жюль Верна), и в том же году на страницах американского журнала «Атлантик Мансли» печаталась с продолжением повесть сотрудника редакции, писателя Эдварда Э. Хэйла «Кирпичная Луна»; в этом произведении впервые в истории литературы описан искусственный спутник Земли.

Через десять лет выходит роман англичанина Перси Грега «Через Зодиак», в котором среди прочих новшеств на борту космического корабля, направляющегося к Марсу, описано нечто уж совершенно необыкновенное: «...на другом конце я соорудил небольшую земляную клумбу трех футов глубиной и пяти футов шириной, разделив ее на две части. Каждую половину я засадил кустарником и другими цветущими растениями, подобрав их, насколько можно было, поразнообразнее...» Эта «иккебана» на космическом корабле — отнюдь не дань эстетике: перед нами первое в фантастике описание некоей зачаточной системы гидропоники, призванной очищать воздух в отсеках корабля.

Прогресс уже не мчался — летел, и скоро возникла иллюзия обжитого, ставшего ясным и давно знакомым космоса. Сложилось положение, в чем-то сходное с нынешней ситуацией в фантастике: оказалось, что передвижение по «литературному» космосу становится опасным, того и гляди с кем-нибудь столкнешься...

Разумеется, веков не хватит, чтобы в реальном космосе стало по-настоящему тесно, однако у читателя научной фантастики, как мы уже сказали, появилось ощущение усталости от межпланетных перелетов. И век назад, как и сейчас, кому-то, вероятно, показалось, что космическая фантастика изжила себя, замкнулась в монотонном круговороте тем, сюжетов и решений.

Не будем обсуждать здесь, как насчет «сейчас», но в то время иллюзию быстро развеяли. Опередив Уэллса на десять лет, известный французский писатель-фантаст Жозеф-Рони-старший (1856—1940) предлагает нечто совершенно новое: в повести «Ксипехузы» (1887) он сталкивает землян с пришельцами из космоса, намерения которых далеко не миролюбивы. Вот она — тема тем научной фантастики, вот чего фантастам хватит еще по меньшей мере на столетие!

Саму тему пришельцев в 80-е годы прошлого века новой не назовешь: первый «пришелец», хотя и не агрессивный, появился в литературе в III (I) веке нашей эры. Именно тогда, если верить свидетельству Гераклита, появилось сочинение Диогена Лаэртского, названное «Легенда о спуске селенита на Землю»... Что было нового у Рони, так это сами загадочные инопланетяне — абсолютно чуждые людям, то ли кибернетические, то ли кристаллические. И если марсиане Уэллса вызывают чисто человеческую антипатию, то ксипехузы Рони вызывают лишь страх: уж очень они непохожие, чужие.

Так французский писатель смело открыл еще одну, потаенную до поры до времени дверь научной фантастики. Пришельцы из космоса, обитатели других планет, как известно, могут быть «добрыми», а могут быть и «злыми» — об этом писали сотни раз. Но вот если они окажутся ни теми ни другими, а по-настоящему иными, такими, что разум наш, не то что эмоции, спасует — что тогда? В раствор этой «двери» читатель той поры, умевший глядеть в будущее, рассмотрел бы многое: Океан Соляриса и «Зону» братьев Стругацких...

А еще раньше, в романе «Звезда (Пси Кассиопеи)» (1854) французский писатель Шарль Дефонтенэ, вероятно, впервые в деталях описал жизнь обитателей далекой планеты, вращающейся вокруг иного солнца. Об этом повествует загадочная шкатулка, неведомо какими путями попавшая в Гималаи и там случайно обнаруженная. Наконец, в 1900 году выходит книга, которая должна была открыть новую страницу истории космической фантастики — должна, но... не случилось: роман англичанина Роберта Коула «Битва за Империю: рассказ о жизни в 2236 году» прочно забыли сразу же после выхода в свет (и лишь недавно его обнаружили исследователи, как, впрочем, и роман Дефонтенэ). А ведь в книге Коула описывается

первая в истории фантастической литературы межзвездная война, там рассказывается о том, как агрессивная цивилизация с планетной системы Сириуса посылает свой истребительный космический флот к Солнечной системе.

Битвы звездных армад, смертоносные космические торпеды, барражирующие в околоземном пространстве, сама идея варварской колонизации других планет, подсказанная земным «опытом», — вот еще одна тема тем западной, особенно американской, фантастики. Позже критики назовут ее (по аналогии с примитивными радио- и телефестивалами — «мыльными операми») «космической оперой». Иначе говоря, это авантюрный боевик, некая мешанина из вестерна, пиратского романа и псевдонсторического «романа плаща и шпаги»; только зачем-то все это вынесено на галактические просторы. Видимо, авторы всерьез считали, что только там есть где разгуляться...

Выиграла ли от такого «открытия» научная фантастика? Наверяд ли. Но если говорить о возможностях дальнейшей коммерческой разработки, то Коул, увы, открыл настоящую золотую жилу для не очень щепетильных своих коллег-потомков. Правда, и эту жилу пришлось фактически переоткрывать три десятилетия спустя.

«Космическую оперу» писатели-фантасты конца прошлого века пропустили, но вот планеты продолжали осваивать с удивительным педантизмом и тщательностью.

В романе англичанина Роберта Кроми «Погружение в космос» (1890) полет на Марс совершается в «стальной сфере», непонятно как движущейся, а годом позже — теперь уже в романе американского автора Роберта Блота «Марсианин» — герой перебирается с Марса на Землю более модным ныне способом телепортации. В незаконченном романе Валерия Брюсова «Гора Звезды» (1895—1899) есть намек на то, что марсианам были известны принципы реактивного движения.

Не оставили фантасты своим вниманием и другие планеты, прежде всего Венеру. В романе англичанина Джона Муиро «Полет на Венеру» (1897) герои летят на Венеру в аппарате, использующем «электричество», а вышедшей пятью годами раньше «астрономической» одиссее «В океане звезд» русского писателя А. Лякида для полетов на планеты Солнечной системы (в том числе Меркурий, Венеру, Марс) предлагается использовать летательный аппарат с машущими крыльями — орнитоптер. Вопрос о наличии воздуха в межпланетном пространстве при этом, разумеется, не ставится...

В 1909 году выходит роман англичанина Джона Мэстона «В воздушном корабле — на Солнце», название которого говорит само за себя. Соотечественник Мэстона Джон Джекоб Эстор в популярном романе «Путешествие к другим мирам» (1894) посылает своих

героев на Юпитер и Сатурн с помощью «алергии», гипотетического противовеса тяготению,— идея, кстати, довольно беззащитно украденная из книги Перси Грегга, о которой речь шла выше.

Чем ближе был XX век, тем больше проектов выходило из-под пера писателей-фантастов — воистину от великих до смешных.

К примеру, в популярном романе классика немецкой фантастики Курда Лассвица «На двух планетах» (1897) искусственные спутники Земли, построенные марсианами, используются как эффективные перевалочные пункты в межпланетных перелетах. Неподвижно висащие над полюсами гигантские диски сразу же наводят на мысль о свифтовской Лануте. Но если Свифта посетило, видимо, все-таки случайное озарение, то Лассвиц с извечной немецкой педантичностью рассчитал все до мелочей — недаром такой большой энтузиаст и знаток ранней космической фантастики, как профессор Н. А. Рынин, посвятил строго научному разбору проекта Лассвица шесть страниц своей книги «Космические корабли» (1928).

А проект в романе Андре Лори (псевдоним писателя-коммунара Паскаля Груссе) «Изгнанник Земли» (1888) неизбежно вызовет у современного читателя улыбку. Герои его, вместо того чтобы самим лететь на Луну, «подтягивают» нашу космическую соседку к Земле с помощью гигантского магнита. Магнитом служат естественные залежи железа в горах Судана...

Одиссею, как известно, выпала нелегкая задача: провести свой корабль между двумя утесами, на одном из которых жило чудище Сцилла, а на другом — не менее ужасная Харибда. Молодой научной фантастике тоже пришлось лавировать между двух зол: сенсационной популярностью у массового читателя, который проглатывал любое чтиво, поставляемое романистами, и равнодушием читателя серьезного. Между тем уже многое, что выходило под маркой «научная фантастика», выглядело вполне серьезно (впрочем, традиционная реалистическая литература тоже состояла не из одних Бальзаков...). От фантастов требовали фантастического — так рождались «бредовые идеи», вызывавшие бурный и, главное, шумный энтузиазм; а действительно интересные предложения по большей части просто не доходили до своих возможных адресатов. Мы сейчас можем сколько угодно восклицать: «Эх, если бы ученый Икс в свое время прочел бы сочинение фантаста Игрека...» — да что толку.

Успеха добивались те, кто усвоил принцип «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». Для того чтобы увлечь идеей, мало было дойти до нее — требовалась еще и «подача». Ведь уже появился писатель, который мог послужить примером любому, кого одолело искушение взяться за написание научно-фантастического романа. Этот писатель на переломе веков как бы

замкнул историческую триаду, совместив в своем творчестве две «крайности» — романтическую недосказанность, поэтический порыв Эдгара По и научную эрудицию, фундаментальность, точность Жюль Верна. «Художественная» и «научно-техническая» фантастики (как ни условны сами эти названия) сплелись воедино в романах Герберта Уэллса.

Но тогда этого еще никто не знал. Молодой жанр научной фантастики, плутая и частенько ошибаясь, плыл-таки в свой Золотой, XX век. Плутая между наивностью и прозорливостью, мешая курьезы с действительными откровениями, фантасты просто не замечали критиков, с негодованием поглядывавших на буйства молодого жанра, и продолжали все делать по-своему.

И делали все — от гиганта Уэллса до скромного, благополучно забытого автора очередного «романа о будущем». Подстегивало время: новый век был на пороге и значил не просто смену цифр на листке календаря. Грядущий век обещал быть действительно новым, и фантасты, надо все-таки отдать им должное, прилагали недюжинные усилия, чтобы подготовить читателей к его приходу.

Космическая летопись продолжалась, а все новые и новые детали, добавляемые писателями-фантастами, главного не меняли: человек к концу прошлого века был «морально» подготовлен к выходу на свою звездную дорогу.

И даже научно — в 1881 году революционером и ученым Николаем Кибальчичем был составлен проект реактивного двигателя. Кибальчич набросал этот проект в тюремной камере, уже зная приговор, и боялся лишь одного: как бы не забыли, не прошли мимо этой удивительной идеи... А в Калуге в последние два десятилетия века появились сочинения, обессмертившие имя автора, местного преподавателя гимназии Константина Эдуардовича Циолковского (1857—1935) — глуховатого чудака, которого никто не принимал всерьез, так что и издавать свои труды ему приходилось на собственные средства, отказывая себе даже в малом.

В 80-е годы прошлого века тогда еще молодой преподаватель гимназии космическими полетами, вероятно, не интересовался, но космос властно притягивал его мысли и чувства. В двадцатилетнем возрасте он записывает в дневнике: «С этого времени начал составлять астрономические чертежи». А пять лет спустя, 12 апреля (ему надо же было случиться такому совпадению!) 1883 года, Циолковский заканчивает рукопись своего «космического дневника», скромно озаглавив труд — «Свободное пространство». Затем вышла другая книга — «На Луне» (1893) и, наконец, научно-фантастическая повесть «Грезы о земле и небе и эффекты всемирного тяготения». Вышла повесть в 1896 году, на год позже знаменитой «Машины времени» — повести другого дебютанта.

Грезам пришел конец, и отныне мечта перестает быть только мечтой — она получает материальное обрамление. А что же писатели-фантасты — остались без работы? Конечно, нет.

В литературе первый и единственный принципиальный шаг — из колыбели — человечеством был сделан. Первый, но единственный ли? Колыбель, потом детская, потом дом, а за его пределами открывался еще поистине необъятный мир, который потребует на освоение, на осмысление всех его загадок не тысячелетия — вечность. Так что научная фантастика, особенно ее космическая «составляющая», еще только начиналась, и сколько же открытий ждало ее впереди!

6. НАЧАЛО РАСШИРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ

Мысленный выход из колыбели еще не означал первого шага за пределы родного дома, Солнечной системы. И однако для свершения этого второго, казавшегося таким естественным, шага — к звездам — научной фантастике потребовалось время, и немалое. Больше века герои фантастических произведений «колесили» вдоль и поперек Солнечной системы, но от этого главная мечта ближе не стала.

Итак, еще одна загадка. До конца 20-х годов нашего века никому из фантастов и в голову не пришло отправить своих героев к звездам*.

Что их сдерживало — несовершенство воображаемой космической техники? К этим временам писатели на страницах своих произведений уже научились справляться с техническими трудностями. И были вполне в состоянии послать космический корабль в соседнюю галактику — ну хотя бы с использованием той же «антигравитации». Неинтересно им было у звезд? Ничего подобного: в Солнечной системе становилось тесновато, да и звезды как символ были куда притягательнее планет. И тем не менее законы фантазии, еще не открытые до сих пор, словно поставили перед писателями невидимый барьер.

К счастью, в свое время пал и он.

* Романы Дефонтенз, Коула, да еще, пожалуй, «Любовный роман в двух мирах» (1886) популярнейшей английской писательницы Марии Корелли (там межзвездное путешествие совершается с помощью маловразумительного «личного электричества») — вот, пожалуй, и все исключения. К тому же Дефонтенз межзвездных пелетов не описывал, книга Корелли — это скорее религиозная фантазия, нежели научно-фантастический роман, а что касается Коула, то о нем, как было сказано выше, быстро забыли...

1928 год. На страницах только что появившихся дешевых американских журнальчиков научной фантастики опубликованы среди прочих три новых произведения. Литературными достоинствами все три, скажем прямо, не блистали. Однако не зря самое знаменитое из них, роман «Космический жаворонок» Эдварда («Доктора») Смита, вызывало в стане любителей фантастики не меньшее потрясение, чем появившаяся ранее концепция расширяющейся Вселенной — у ученых.

Что же произошло?

Гипотеза расширяющейся Вселенной впервые была сформулирована в 1912 году, специальная теория относительности Эйнштейна — в 1905-м, общая теория относительности — приблизительно десятилетием позже... Ученые, популяризаторы, даже теологи на страницах своих книг «забирались» аж в другие галактики — молчали только писатели-фантасты. Как писал большой знаток ранней американской фантастики Сэм Московиц, «воображение писателей-фантастов буквально загнивало, ограниченное рамками Солнечной системы, пока, наконец, в 1928 году «Космический жаворонок» Эдварда Смита не раздвинул духовные горизонты до возбуждающих, удивительных галактических просторов». Московиц явно польстил Смиту, но суть схвачена верно.

Эдвард Смит — еще одна невольная звезда научной фантастики. Но как бы то ни было, он оказался пионером*.

Герой-супермен Ричард Сетон, наделенный от природы не только фантастическими мускулами, но, видимо, и фантастическими мозгами, а также всеми прочими добродетелями, которые только можно нафантазировать; его невеста-инженер; «суперзлодей» Дюкен (Дюквеснэ) по прозвищу «Чернуха», умыкающий невесту Сетона на «суперзвездолете»... гонки по всей Галактике... солидные «научные» разглагольствования о скоростях, превосходящих световую в «несколько» раз, о материи, которая управляется одним усилием мысли, и прочая и прочая... — все это вызовет в лучшем случае улыбку. Но нас сейчас интересует не литературное качество романа Смита, а его по-своему удивительная судьба.

* Правда, тем же месяцем датировано и другое произведение, действие которого разворачивается также в галактической шкале, — повесть Эдмонда Гамильтона «Сталкивающиеся светила», но оно по популярности заметно уступает «Жаворонку». Кроме того, в романе «Межпланетный путешественник» (1924) изобретательного советского фантаста 20—30-х годов Виктора Гончарова также описан полет за границы Солнечной системы, но этот роман был откровенно сатирическим, даже пародийным, и на роль первого НФ произведения о полете к звездам явно не подходит.

Шутки ради начав вместе с приятелем писать роман еще в 1915 году, Смит потом забросил это дело и случайно вернулся к рукописи в 1920-м. А дальше началось невероятное: мир фантастики с нетерпением ожидал пионера, который смело устремился бы к звездам, увлекая за собой и других, а рукопись Смита кочевала из редакции в редакцию, везде встречая отказ. Ну что, казалось бы, стоило Уэллсу или Конан-Дойлю написать роман, забросив героя, например, за Плутон — не пришлось бы впоследствии краснеть за «первый роман о полете к звездам»... Однако классики молчали, а рукопись настырного Смита пробивалась к славе.

Утверждается, что почти каждый издатель и редактор в Америке, занимавшийся в те времена фантастикой, читал эту рукопись, и возвращалась она всегда с одними и теми же словами отказа. Редакторы в один голос уговаривали автора слегка попридержать разбушевавшееся воображение. Они считали, что их читатель, хотя и воспитанный на фантастике, найдет, что полет за пределы Солнечной системы — это уж слишком.

Восемь долгих лет мир научной фантастики оставался зажатым орбитой Плутона. теперь уже по воле редакторов, порешивших все как один, что полет к звездам — «это, знаете ли, того...». Как бы ни был беспомощен — и научно и художественно — роман Смита, писатель, право же, выглядит подвижником.

Неважно в конечном счете, на сколько световых лет улетели в космос его герои. Для нашей летописи сейчас не столь важно и то, что их приключения если и заслуживают названия «космической...», то не «оперы», а «оперетты». Существенно другое — выход за пределы системы состоялся.

И началось!..

Электрические, ионные, атомные и даже, если не изменяет память, фотонные межзвездные корабли. Базовые орбитальные спутники и космические «шлюпки» для высадки на планеты. Межпланетные города-станции и целые космические флотилии. Гигантские «корабли-ковчеги» и «индивидуальные» звездолеты-малютки. Десятки проектов, сотни разнообразнейших космических устройств — для поддержания связи (всевозможные радары, теле- и радиосистемы; то, что корабли «носились» с засветовой скоростью, связистов не смущало: радиogramмы, например, продолжали поступать без минутной задержки), для защиты от нападения, для прокладывания курса... Пришельцы, каких свет не выдвигал: добрые, злые и индифферентные. Высадки на диковинные планеты, встречи с аборигенами, космические войны и космические федерации, первые зачатки астроинженерной деятельности...

И все это в первые десятилетия XX века. Ком покатился, остановить его было невозможно.

Для фантастики в буквальном смысле «открылась бездна, звезд полна», и в звездных своих исканиях эта литература откроет своим поклонникам еще немало удивительных чудес. Но это, как говорится, совсем другая история — наступает утро, и наше путешествие заканчивается.

Мы покидаем космическую фантастику в переломное для нее время: уже бродят по земле, бросая упрямые взоры в небо, уже мастерят первые планеры, а затем и ракеты мальчишки, подростки, для которых писали фантасты: Сережа Королев, Юра Победоносцев, Миша Янгель, Алеша Исаев. Мыслями они далеко-далеко, у самых звезд, но каждое утро их ждет повседневная, кропотливая работа — расчеты, лекции, опыты.

Их планеры и ракеты уходят в небо на заре: утро космической эры не за горами.

■ МЕРИДИАНЫ ФАНТАСТИКИ

Хроника событий в мире научной фантастики, зима — лето 1981—1982 годов

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

13 ноября 1981 года советскую научную фантастику постигла тяжелая утрата: не стало Ариадны Григорьевны Громовой, известного писателя, автора научно-фантастических книг «Поединок с собой», «Мы одной крови — ты и я» и других. Ариадна Громова была также видным критиком, теоретиком жанра. Ее публицистические статьи сыграли большую роль в становлении советской фантастики 60-х годов. Ариадна Громова не дожила месяца до своего 65-летия...

6—10 декабря в Таллине проходила очередная Международная конференция по проблемам поиска внеземных цивилизаций (CETI), собравшая десятки специалистов самого широкого профиля из многих стран мира.

5—6 декабря 1981 года и 22—24 апреля 1982 года в Симферополе по инициативе обкома ВЛКСМ проводились областные семинары молодых писателей-фантастов. Участники были приглашены на встречу с учеными — сотрудниками Крымской астрофизической обсерватории. В апрельском семинаре принимали участие писатели Д. Биленкин и Г. Гуревич. Областная газета «Крымская правда» посвятила полосу творчеству молодых фантастов — участников семинара.

Январский номер журнала «Советская литература», выходящего на восьми языках, полностью посвящен советской научной фантастике. В номере представлены произведения П. Амнуэля, Д. Биленкина, К. Булычева, И. Варшавского, М. Веллера, С. Гансовского, В. Григорьева, А. Дмитрука, С. Другаля, В. Колупаева, О. Ларионовой, Л. Панасенко, Р. Подольного, М. Пухова, Б. Романовского, И. Росоховатского, Б. Руденко, В. Рыбакова, А. и Б. Стругацких, В. Фирсова, В. Щербакова. Помещены также статьи и библиографические материалы Д. Биленкина, Е. Брандиса, Вл. Гакова, И. Ефремова, Е. Парнова, А. Федорова, ответы на анкету видных советских

писателей-фантастов, репродукции с картин художников-фантастов и статья В. Кленова о НФ живописи.

28 января исполнилось 75 лет со дня рождения Геннадия Самойловича Гора (1907—1981), видного писателя, автора более десяти НФ книг, многие из которых стали хрестоматийными.

1—2 марта в Москве состоялся пленум Совета по приключенческой и научно-фантастической литературе СП СССР, посвященный роли научной фантастики в современной борьбе за мир и дружбу между народами. Пленум открыл председатель Совета А. Кешоков; с докладами выступили заместитель председателя Совета, председатель советского национального комитета Всемирной Организации Научных Фантастов (ВОНФ) Е. Парнов и доктор философских наук, сотрудник Академии общественных наук при ЦК КПСС Э. Араб-оглы. В прениях участвовали писатели и критики Д. Биленкин, Вл. Гак-ов, Г. Гуревич, А. Казанцев, А. Стругацкий (все — Москва), Е. Бранд-ис и А. Шалимов (Ленинград), В. Михайлов (Рига), Ш. Алимбаев (Алма-Ата), С. Снегов (Калининград), В. Бугров (Свердловск), А. Гро-мов (Кишинев) и другие, а также доктор философских наук, заве-дующий кафедрой научного коммунизма Пермского политехничес-кого института З. Файнбург, доктор исторических наук, заведующий сектором Института социальных исследований И. Бестужев-Лада, эксперт ВААП Б. Ключева.

9 апреля исполнилось 60 лет Евгению Львовичу Войскунскому, известному писателю, автору НФ книг (в соавторстве с И. Лукодья-новым) «Экипаж «Меконга», «На перекрестках времени», «Очень да-лекий Тартесс», «Плеск звездных морей», «Ур, сын Шама», «Неза-хонная планета», «Черный столб».

9 апреля исполнилось 75 лет со дня рождения Ивана Антонови-ча Ефремова (1907—1973), выдающегося ученого и писателя, автора НФ книг «Юрта Ворона», «Сердце Змеи», «Туманность Андромеды» и других. Осенью 1982 года советские любители фантастики отме-тили четвертьвековой юбилей «Туманности Андромеды» — произве-дения, ознаменовавшего собой новый этап в развитии советской научно-фантастической литературы.

12 апреля исполнилось 65 лет Александру Ивановичу Шалимову, автору НФ книг «Когда молчат экраны», «Охотники за динозавра-ми», «Станный мир», «Тайна Гремящей расщелины», «Цена бес-смертия», «Окно в бесконечность».

24 апреля исполнилось 65 лет Георгию Иосифовичу Гуревичу, известному писателю, автору НФ книг «Иней на пальмах», «Прохождение Немезиды», «На прозрачной планете», «Пленники астероида», «Мы — из Солнечной системы», «Месторождение времени», «Темпоград», «Нелинейная фантастика» и других, а также двух книг по теории и истории фантастики — «Карта Страны Фантазии» и «Беседы о научной фантастике» (выходит в 1982 году).

С 25 апреля по 7 мая в нашей стране по линии «Интуриста» гостила группа американских писателей-фантастов, критиков, редакторов и энтузиастов-«фэнов». В состав группы входили известные писатели Джо Холдемэн и Роджер Зелазни, бывший президент Ассоциации «Исследователи научной фантастики США» профессор Джо Де-Болт, редактор-издатель популярной НФ газеты «Локус» Чарлз Браун, американский «Фэн № 1» — издатель, редактор, писатель, коллекционер (обладатель крупнейшего в мире «Музея научной фантастики») Форрест Эккерман и другие. В Москве, Киеве и Ленинграде гости встречались с советскими писателями, критиками, работниками издательства: В. Бережным, Е. Брандисом, Е. Войскунским, Вл. Гаковым, Д. Граниным, Ф. Дымовым, О. Ларионовой, В. Михайловым, Е. Парновым, Р. Подольным, И. Росоховатским, С. Снеговым, Б. Стругацким, А. Шалимовым, В. Шефнером, А. Щербаковым и др. От имени американских фантастов и любителей фантастики г-н Эккерман вручил советским писателям-фантастам памятный приз — макет фантастической звездной базы, выполненный скульптором Д. Марри, работы которого украшают, в частности, Смитсоновский музей истории техники в Вашингтоне.

На IX Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов в Ереване многосерийному фильму «Приключения Электроника», поставленному на Одесской киностудии режиссером К. Бромбергом по мотивам повести Евгения Велтистова, присуждено несколько премий, в том числе премия Министерства просвещения Армении за лучший детский фильм. Картина выдвинута на соискание Государственной премии СССР (так же как и полнометражный фильм режиссера Р. Викторова «Через тернии к звездам», снятый по сценарию Кира Булычева). А армянский короткометражный художественный фильм «Восьмой день творения», поставленный С. Бабаяном по мотивам новелл Рэя Брэдбери, в 1981 году награжден на Международном фестивале НФ кино в Триесте (Италия) специальным призом «Золотая печать Триеста».

15—21 июня в СССР гостил всемирно известный писатель-фантаст Артур Кларк, направлявшийся в Шри-Ланка (писатель живет там

уже более четверти века и совсем недавно принял ланкийское подданство) из Гааги, где ему в торжественной обстановке была вручена ежегодная почетная награда Общества Маркони. Писатель награжден ею за предсказание орбитальных спутников связи, сделанное им в 1946 году. Во время своего пребывания в Советском Союзе Кларк встретился с московскими и ленинградскими писателями, посетил Звездный городок, Министерство связи СССР, Институт космических исследований.

Новости клубов любителей фантастики (КЛФ)

За период с ноября 1981 года по май 1982 года в нескольких городах страны образованы новые КЛФ: в Горловке («Контакт»), Петрозаводске (при Доме культуры и техники), Мурманске, Семипалатинске («Прогрессор»), Магнитогорске («Фантаст»), Краснокамске Пермской области, Волгограде («Ветер времени»), в Тбилиси («Фэзтон»). Теперь, по данным на начало лета 1982 года, общее число КЛФ в стране превысило 40, а в ряде городов успешно работает по два и даже по три клуба.

Весной в одном из самых активных клубов, пермском «Рифее», начато чтение 12-часового курса лекций по истории и теории фантастики в школе изобретательского творчества.

23—24 апреля в Ростове-на-Дону проводился семинар КЛФ, приуроченный к юбилею И. А. Ефремова. Семинар был организован обкомом ВЛКСМ, областной организацией Всероссийского добровольного общества книголюбов (ДОК) и городским КЛФ «Притяжение». На семинаре присутствовали представители КЛФ Вильнюса, Волгограда, Горловки, Днепропетровска, Новосибирска, Перми, Ставрополя, Тбилиси, а также члены московского семинара молодых фантастов В. Бабенко и А. Силецкий. Для участников семинара были прочитаны доклады о советской и зарубежной фантастике, о кинофантастике. Были заслушаны выступления работников Ростиздата и местного отделения ВААП, обсуждены формы работы и межклубного общения.

22 апреля в Свердловске состоялось вручение ежегодного приза «Аэлита», которым на этот раз было решено наградить Зиновия Юрьева. На состоявшемся одновременно с церемонией вручения премии семинаре КЛФ были также вручены премии клубов лучшим произведениям года. На семинаре присутствовали представители КЛФ Абакана, Владивостока, Волгограда, Новосибирска, Перми, Ставрополя, Томска, Хабаровска.

10 августа на заседании организационно-исполнительного бюро Правления ДОК РСФСР был заслушан отчет пермского КЛФ «Рифей». В принятом постановлении отмечался значительный вклад пермских любителей фантастики в дело пропаганды советской литературы, воспитания у читателей материалистического мировоззрения; выработки активной жизненной позиции. Правление ДОК РСФСР одобрило опыт создания и работы клубов любителей фантастики и рекомендовало республиканским организациям оказать всемерную помощь существующим клубам, а также принять меры к созданию новых КЛФ на местах. Намечены конкретные шаги по организации научно-методической помощи клубам со стороны Общества книголюбов.

С целью координации работы клубов, снабжения их научно-методическими материалами, осуществления творческой связи энтузиастов научной фантастики с писательскими организациями Президиум ДОК РСФСР на своем заседании 17 августа принял решение о создании научно-методического совета по пропаганде научно-фантастической литературы, в состав которого вошли известные писатели, ученые, критики, активисты-книголюбы. Председателем Совета избран Аркадий Стругацкий, заместителем председателя — Вл. Гаков.

За рубежом

Австралия

В апреле в Мельбурне проходила очередная национальная Конвенция, на которой премия «Дитмар» за лучший зарубежный роман года была вручена молодому английскому писателю Кристоферу Присту (за роман «Подтверждение»), лучшим австралийским НФ произведением признан роман Дэвида Лэйка «Человек, который любил морлоков».

Болгария

14 февраля исполнилось 80 лет со дня рождения Светослава Минкова, старейшего болгарского писателя-фантаста и сатирика.

На киностудии «София» продолжается работа над двумя полнометражными мультипликационными лентами НФ: «Планета сокровищ» (космический вариант известного романа Р. Л. Стивенсона) и «Близкая даль» (детективно-приключенческая пародия на кинофантастику о «пришельцах»).

Великобритания

Два знаменательных юбилея отметила зимой английская фантастическая литература.

3 января исполнилось 90 лет со дня рождения Джона Роналда Рузла Толкина (1892—1973), выдающегося писателя, автора знаменитых сказочных фантазий — эпической трилогии «Повелитель Колец», книг «Хоббит», «Сильмариллион» и других («Хоббит» и первый том трилогии вышли в СССР). Критики рассматривают творчество Толкина как одну из вершин англоязычной фантастической литературы, а его книги в последние два десятилетия переживают «бум» популярности...

21 января исполнилось 150 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла (псевдоним математика и писателя Чарлза Доджсона, 1832—1898), автора бессмертных сказок об Алисе, оказавших воздействие и на развитие научной фантастики.

Весной на 33-й Британской конференции НФ в Брайтоне вручены национальные премии за лучшее произведение года (премии вручаются английским и американским авторам). Лучшим романом признана книга американца Джина Вулфа «Тень палача» (книга удостоена также и высшей американской премии «Небьюла»), а по классу рассказа премию завоевал молодой английский автор Роберт Холдсток.

Исполнилось 60 лет Джону Кристоферу (псевдоним Кристофера Йоуда), автору НФ книг «XXII век», «Год кометы», «Смерть травы», «Зимняя Земля», «Маятник» и других, а также многих книг детской научной фантастики. Большинство романов Кристофера посвящено теме природной катастрофы и борьбы человечества за выживание.

Венгрия

10 декабря объединение венгерских КЛФ «Вега» начало широкую кампанию по сбору подписей под воззванием за мир, против

атомной угрозы. Все 45 клубов страны активно откликнулись на этот призыв, и за две недели было собрано более 3000 подписей. Список писателей-фантастов, подписавших воззвание, возглавил Петер Жолдош, известный советскому читателю по роману «Сверхзадача».

Польша

12 февраля после тяжелой болезни скончался Чеслав Хрущевский, известный писатель, автор НФ книг «10 000-й год», «Вокруг много чудес» и других. Многие рассказы Хрущевского переведены в СССР.

США

3—8 января в Вашингтоне состоялась ежегодная встреча Ассоциации содействия развитию науки, объединяющей 136 тысяч ученых и 285 научных организаций. На встрече членом Ассоциации избран известный писатель-фантаст, президент ВОНФ Фредерик Пол. В дискуссиях приняли участие как известные ученые, так и писатели-фантасты (Г. Бенфорд, Л. Нивен, Д. Пурнелль, Ч. Плэтт и другие).

2 марта в возрасте 53 лет скончался видный американский писатель-фантаст, один из лидеров нового поколения американской фантастики Филипп Дик, на счету которого десятки НФ книг. Объявлено об учреждении памятной премии имени Филиппа Дика, которая будет вручаться жюри в составе: Урсула Ле Гуин, Томас Диш и Норман Спинрад. Писатель умер, несколько месяцев не дожив до премьеры фильма, снятого по его роману «Снятся ли роботам электроовцы?» режиссером Р. Скоттом. По отзывам прессы фильм постановочным размахом затмит славу предыдущего фильма Скотта «Чужой».

24 апреля в Окленде (Калифорния) на традиционном ежегодном съезде Ассоциации «Научные фантасты США» объявлены новые лауреаты премии «Небьюла». Лучшим романом года признан роман Джина Вулфа «Тень палача», по жанру скорее фэнтези, чем научная фантастика; лауреатами также стали ветеран Пол Андерсон (за повесть «Игра Сатурна») и молодые авторы Майкл Бишоп и Лиза Таттл. Новым президентом Ассоциации стала писательница Марта Рэнделл, на другие ответственные посты избраны представители мо-

лодого поколения американской фантастики — Чарлз Грант, Грегори Бенфорд и другие.

Исполнилось 60 лет Холу Клементу (псевдоним ученого-химика Гарри Стаббса), известному писателю-фантасту, автору НФ книг «Экспедиция «Тяготение», «Огненный цикл», «Близко к критическому» (все изданы в СССР), «Ледяной мир», «Свет звезды» и других. Клемент считается одним из лидеров так называемой «строго научной» фантастики.

26 апреля исполнилось 70 лет Альфреду Ван-Вогту, известному писателю-фантасту старшего поколения, одному из признанных «отцов-основателей» американской фантастики, автору НФ книг «Слэн», «Мир анти-А», «Путешествие на космическом «Бигле» и множества других. Многие рассказы Ван-Вогта переведены в СССР.

Газета «Локус» сообщила, что один из самых известных американских фантастов Фрэнк Херберт подписал контракт на пятую книгу из серии о планете Дюна. Несмотря на то что предыдущая книга «Бог — император Дюны» была прохладно принята критикой (единогласно отметившей, что серия «выдыхается»), Херберт получил астрономический аванс в два миллиона долларов, и можно не сомневаться, что сразу же по выходе в свет роман займет первую строку в списке бестселлеров... Таких примеров можно привести множество, что указывает на все большую «коммерсализацию» книжного рынка, который теперь однозначно ориентирует читателя на имена знаменитостей независимо от действительного качества их последних работ.

10—13 марта в Бока Рэтон (Флорида) состоялась 3-я Международная конференция «Фантастика в искусстве», собравшая около 500 участников, среди которых были известные писатели Харлан Эллисон, Брайн Олдисс, Джин Вулф, Барри Молзберг, Фредерик Пол, Роберт Шекли, Фриц Лейбер, критики, исследователи НФ, а также известный английский драматург Том Стоппард.

С 31 марта по 12 июня в университете штата Калифорния был проведен 2,5-месячный курс по научной фантастике для студентов и преподавателей. Семинары проводились раз в неделю по темам: жанр «литературы ужасов», фэнтези, естественные науки в НФ, космос, НФ кино, НФ живопись, издательские аспекты, проблемы войны и мира в НФ, академическая критика и фантастика. В работе семинаров принимали участие известные писатели-фантасты Роберт Блох, Грегори Бенфорд, Ларри Нивен, Роберт Силверберг, Фриц

Лейбер, Роберт Шекли, Томас Диш, Норман Спинрэд, Гордон Диксон, Джо Холдеман, Фредерик Пол, издатели, художники, критики, кинорежиссеры.

25 мая в Балтиморе состоялась очередная ежегодная конференция в американском Институте авионавтики и астронавтики. В ее рамках работала секция «Миры будущего в фантастике», которую вел известный писатель-фантаст и редактор Бен Бова.

23 июня в Центре исполнительских искусств университета штата Лонг-Айленд впервые была исполнена опера композитора Грегори Сэндоу «Франкенштейн». Либретто по мотивам знаменитого романа Мэри Шелли написал Томас Диш.

ФРГ

Летом немецкоязычная секция ВОНФ, объединяющая писателей-фантастов ФРГ, Австрии и Швейцарии, учредила ежегодную премию имени Курда Лассвица. Первыми лауреатами стали Георг Заунер (за роман «Внуки ракетчиков»), Томас Зиглер и Рональд Хан (за лучшую повесть и лучший рассказ соответственно). Кроме того, премии удостоены Ганс Альперс, Вернер Фукс, Рональд Хан и Вольфганг Йешке — составители «Словаря научно-фантастической литературы».

Финляндия

28—31 мая в Хельсинки состоялась первая национальная Конвенция, собравшая сотню местных «фэнов» и 40 гостей из Швеции. Почетными гостями Конвенции были известные писатели Гарри Гаррисон и Сам Люндвалл. В программу Конвенции входило путешествие на пароме в Стокгольм.

Франция

20 февраля исполнилось 76 лет Пьеру Булю, крупнейшему французскому прозаику, автору НФ книг «Планета обезьян» (переведена в СССР); « $E=MC^2$ », «Сад Канашимы».

21—27 апреля в Метце состоялся 7-й «Фестиваль научной фантастики и воображения», проводимый ежегодно Министерством культуры Франции, городскими властями Метца, различными региональными и общенациональными культурными организациями. Программа фестиваля включала просмотр НФ фильмов из Англии,

Канады, Советского Союза, США, Франции, Японии (фильмы шли в шести кинотеатрах города), два экспериментальных музыкальных представления, выставку «Голографические фантазии», выставку НФ живописи, семинары, лекции, традиционный банкет, на котором вручались различные премии. «Большой приз фестиваля» получил Серж Бруссоло за свой новый роман, а также известный английский писатель Джеймс Баллард за новую книгу «Хэлло, Америка». Гости фестиваля были Фредерик Пол и Майкл Муркок, а также молодой американский писатель Скотт Бейкер, чей роман «Корона симбиота» завоевал во Франции высшую премию в жанре — приз «Аполло».

Югославия

26—28 февраля в Загребе состоялась 4-я национальная Конвенция, на которой присутствовало 120 человек. Премию за лучшую книгу года (премия теперь называется «С. Ф. ера») получил Радван Девлич за роман «Хайка».

Материал подготовлен Вл. Г а к о в ы м

СОДЕРЖАНИЕ

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАШЕЙ ЭПОХИ (ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ) 3

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Геннадий Гор. Минотавр	10
Владимир Михайлов. Карусель в подземелье	80
Роман Леонидов. Шесть бумажных крестов	98

СЛОВО МОЛОДЫМ

Игорь Пидоренко. Все вещи мира	140
Борис Руденко. Убежище	144
Михаил Веллер. Теперь он успевает	162

ЗАРУБЕЖНАЯ ФАНТАСТИКА

Курт Воннегут. Гарисон Бержерон	164
Джон Риз. Дождеолог	170
Генри Каттнер. Пчхи-хологическая война	182

ПУБЛИЦИСТИКА

Вл. Гаков. Рассвет космической эры	200
------------------------------------	-----

МЕРИДИАНЫ ФАНТАСТИКИ	230
----------------------	-----

СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

ВЫПУСК 27

Составитель Светлана Николаевна Михайлова

Главный отраслевой редактор В. П. Демьянов

Оформление В. И. Савелы

Обложка Г. Ш. Басырова

Редактор В. М. Климачева

Мл. редактор Н. П. Терехина

Худож. редактор В. И. Савела

Техн. редактор Л. А. Солнцева

Корректор В. Е. Калинин

ИБ № 5356

Сдано в набор 16.02.82. Подписано к печати 08.12.82. А 13635.
Формат бумаги 84x106¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура жур-
нально-рубленая. Печать высокая. Усл. печ. л. 12,60. Усл. кр.-
отт. 13,02. Уч.-изд. л. 15,83. Тираж 100 000 экз. Заказ 790.
Цена 1 руб.

Издательство «Знание». 101835, ГСП, Москва, Центр, проезд
Серова, д. 4. Индекс заказа 827726.

Киевская книжная фабрика. 252054, Киев-54, ул. Воровского, 24.

1 руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»

